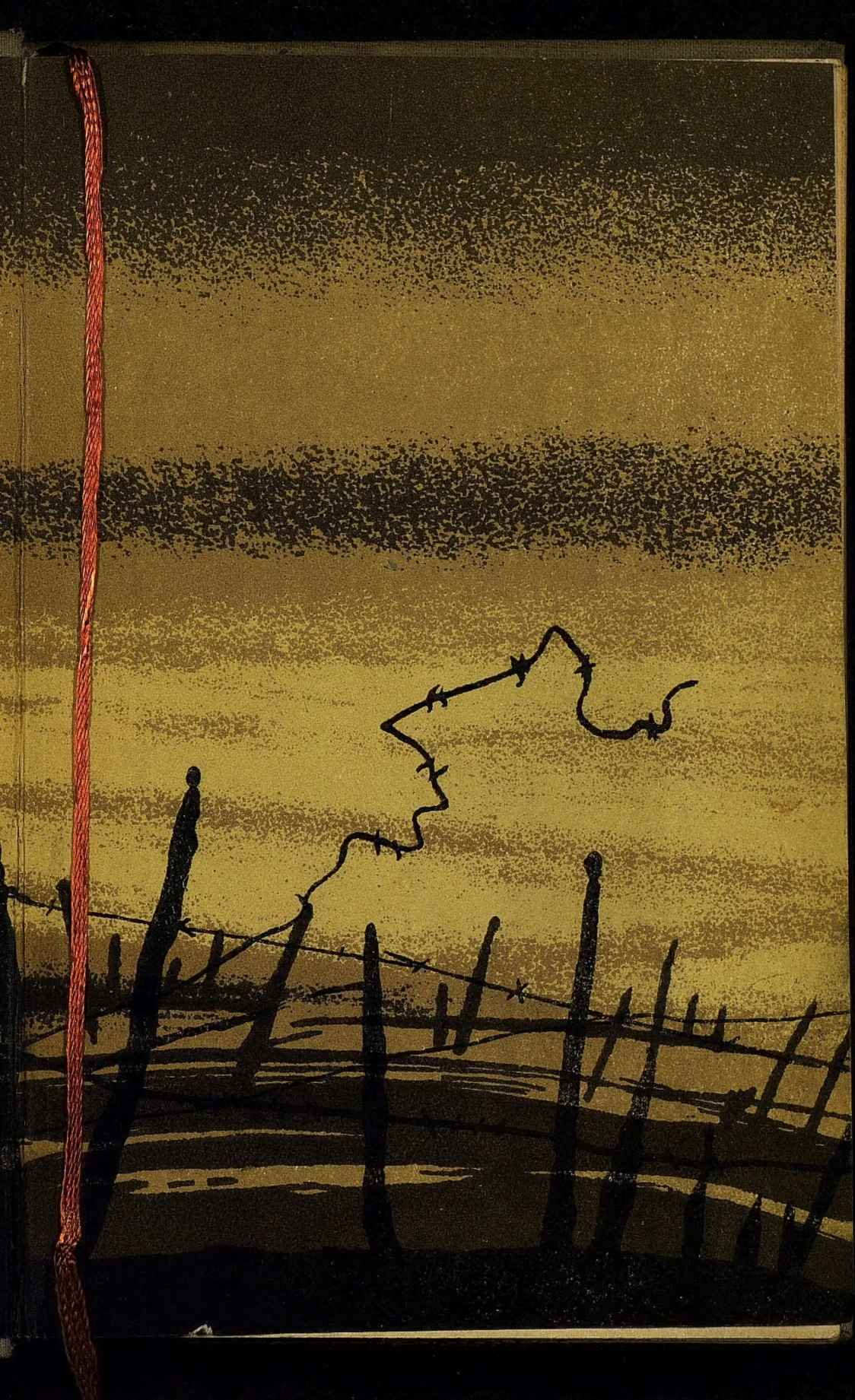
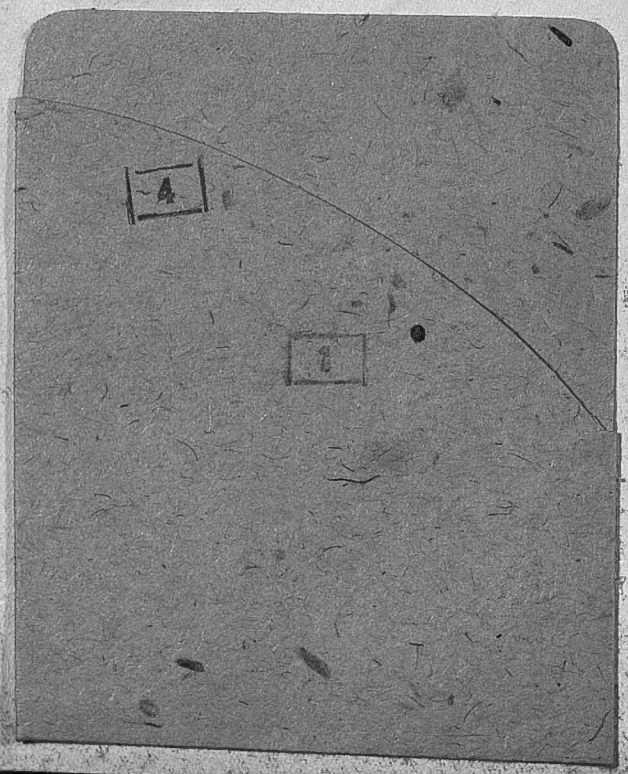
К105
395

И. Г. ШУХОВ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

19[illegible] — КИЇВ — [illegible]40




4
1

К105
395

ИВАН ШУХОВ

Действующая армия

РОМАН

ЧАСТЬ I

Казахстанское издательство
художественной литературы
Алма-Ата—1940

Ст

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
629590

Горе тебе, Вавилон, город крепкий.
Апокалипсис

I

Третий год на полях Галиции, на холмах далекой Восточной Пруссии и в туманных отрогах Прикарпатья запекалась, дымясь на страдальчески скрюченных трупах, людская кровь.

Гулко дрожала под копытами конниц распятая в битвах земля.

Гневно пылали над долинами страшных сражений багровые, в кровавых подтеках, закаты. А сквозь пороховую пургу и шрапнельные ливни все шли и шли боевые соединения наспех переформированных, обреченных на верную гибель армий.

Шел 1916-й год.

Непривычно суровая, затяжная зима стояла во всем Полесье. В Галиции и на Карпатах лежали глубокие, по брюхо лошадям, снега. По дремучим испепеленным лесам бесновались вьюги. Замерзали в сторожевых охранениях солдаты. Погибали в рекогносцировках целые казачьи разъезды. И печальные галицийские поля были усеяны трупами строевых коней и обозных кляч великой русской действующей армии.

По вечерам над цепью траншей, блиндажей и фольварков поднималась гнетущая тишина. Тонкий и острый, как лезвие казачьей шашки, проплывал над мертвыми просторами месяц, и в неверном заколдованном свете его вставали из снежных сугробов косые и грозные кресты на братских могилах. Тяжелыми надгробными плитами ложились на снег траурные тени.

Только одиночный винтовочный выстрел и радовал в такую пору выставленного в дозор казака. Откликалось в ночи глухо пощелкивающее в лесных дебрях эхо. Но замирал где-то вдали неясный тревожный звук, и вновь наступала страшная, щемящая душу тишина, могильное безмолвие глухой зимней ночи.

В конце сентября 1915 года, после длительных и упорных

боев на линии Мазурских озер, командующий 10-й русской армией отдал приказ об отступлении по всему фронту.

Противник, после большого урона, понесенного им в кровопролитных сражениях под Иоганисбургом, вскоре получил значительное подкрепление в составе четырех корпусов, переброшенных с Западного фронта. Эти войска состояли на пятьдесят процентов из частей ландвера, на двадцать пять процентов из ландштурма и на двадцать пять процентов из других войск. К тому же, немецкое командование стянуло к восточно-прусским позициям и все резервные части. Таким образом, укрепив фланги, противник начал деятельную подготовку к развернутому наступлению по всему фронту. Так, правый фланг германской армии начал наступление со стороны Иоганисбурга, а несколькими днями позднее левый фланг перешел в наступление от Тильзита. Для того, чтобы войти в соприкосновение с главными силами русских войск, германскому правому флангу пришлось пройти лесное дефиле в районе Иоганисбурга. При поддержке австрийской армии генерала Данкля, командующий германской армией фон-Бюлов бросил два своих корпуса на прорыв линии расположения армии Ренненкампфа.

Десятая армия, в состав которой входил особый Сибирский казачий корпус Ренненкампфа, ни разу не покидавшая огневых позиций, с первых месяцев мировой войны успешно провела несколько наступательных операций в Восточной Пруссии, захватив несколько стратегически важных пунктов. Но в кровопролитных сражениях за овладение Ангербергом, Догезеном, Гальдапом, Сувалками и прочими, отлично укрепленными городами и местечками войска Ренненкампфа понесли немалые потери. Измотанные в беспрерывных боях и походах части 10-й армии нуждались в длительном отдыхе и подкреплении. Однако на все категорические требования корпусных генералов о немедленной переброске на Прусский фронт резервных пополнений, командующий армией неизменно отвечал столь же категорическим отказом. Отказ свой он оправдывал то инертностью ставки главнокомандующего, то отсутствием в тылу надежных шоссейных и грунтовых дорог, без которых, по его словам, немыслима своевременная переброска на огневые позиции прифронтовых резервов. Это привело к тому, что корпус генерала Булгакова пытался по всем дорогам и тропам пробиться через густые заросли Августовских лесов на восток. Между тем выходы из Августовских лесов германскими войсками были уже закрыты. А переправы через реку Бобр обстреливались германской артиллерией. Таким образом и 20-му корпусу Булгакова, и 10-му корпусу Ренненкампфа оставался только один выход — во что бы то

ни стало пробиться в направлении местечек Сопоцкин—Бартники. Для того, чтобы спасти последние части своего корпуса, Булгаков принял героическое решение: отказавшись от самоокапывания и пользуясь для укрытия лишь особенностями местности в районе Бартников, колонны 20-го корпуса выбрались на опушку Августовских лесов. Германские пулеметы, гаубицы и полевые пушки поражали беглым огнем русскую армию. Но русские продолжали наступать. Все поле битвы усеялось грудами тел. И к двум часам дня участь боя была решена. Последняя попытка Булгакова пробиться со своим корпусом к Гродно не удалась... Об этом героическом сражении русских немецкая газета писала: *„Честь 20-го корпуса была спасена, но это ему стоило семи тысяч человек, легших на пространстве двух километров. Надо сказать, что вся эта попытка прорыва являлась чистым безумием, но в то же время и героическим подвигом, который показал нам русского солдата в том же освещении, каким он являлся во времена покорения Плевны, Кавказа и штурма Варшавы*". Два полка 20-го корпуса, пробившиеся в тот момент, когда они были окружены армией, вписали блестящую страницу в военную историю России. Когда же окруженными оказались все части 10-й армии и был обнаружен глубокий заход неприятеля в наш тыл, начальники наличного состава армии сошлись в Августове на военный совет. Вопрос стоял один: пробиваться или сдаваться? И было решено:

пробиваться, защищаясь до последних сил.

Войска отлично понимали, что устоять теперь перед натиском противника будет трудно. В полках начали бродить слухи о серьезных разногласиях между корпусными генералами и командующим фронтом в вопросах тактики и стратегии. Слухи об измене Ренненкампфа дошли уже до Петрограда, где также открыто говорили, что вместе с командующим Восточно-Прусским фронтом в заговоре замешан и сам военный министр Российской империи Сухомлинов и что по тайному сговору Сухомлинова с Ренненкампфом армия обрекается на верную гибель.

24-го сентября пал Ченстохов, а на следующий день — Краков. И вся двухсоттысячная русская армия, принимая бои, двинулась в отступление.

Австро-германские части повели наступление двумя колоннами. Так, корпуса фон-Бюлова охватили арьергардный фланг русской армии с запада. Австрийская же армия под командованием генерала Данкеля стала замыкать правофланговое крыло русских с востока. Положение окруженных русских войск менялось ежечасно. Некоторым из полков приходилось сра-

жаться одновременно в четырех направлениях: с фронта, с тыла и с обоих флангов.

Покидая пределы Восточной Пруссии, правое крыло русской армии потеряло связь с левофланговыми боевыми соединениями и поставило в крайне тяжелое положение весь, находящийся в авангарде особый Сибирский казачий корпус в составе 29-й стрелковой дивизии и четырех полков линейного казачьего войска. Это был тот корпус, который выдержал за трое суток отступления пятьдесят две атаки, прорвал австро-германское окружение близ местечка Торно и с большими потерями все же выбрался из огненного кольца и начал продвигаться сквозь августовские дебри к намеченному командованием пункту. Следом за 20-м корпусом в этом же направлении стали мало-помалу стягиваться и все остальные, разобщенные при отступлении боевые соединения.

Шестеро суток пробирались через непроходимые болота, через трясины и зыбуны армейские части, потрепанные в последних боях, измученные, голодные, давно не знавшие ни сна, ни покоя.

Под ногами угрожающе колыхалась, плыла и дрожала предательски замаскированная болотной осокой, кугой и мхами неверная земля. То и дело, оступаясь, проваливались, тонули люди и строевые казачьи кони. Погружались в бездонные топи тяжелые артиллерийские гаубицы.

В великом и страшном безмолвии двигались эшелоны русских войск. Люди шли в непогодь, в проливные осенние дожди, в стужу, в страшную неизвестность. Люди шли молча, закусив страдальчески спекшиеся губы, полузакрыв воспаленные бессонницей, великой тоской и страхом глаза. И лишь изредка шелестел, как лист на придорожных осинах, невнятный в ночи — но чуяли офицеры — тревожный ропот:

— Это куды жа нас завели-то, братцы?

— Цыц, ты. Их высок благородие командующий фронтом знат...

— Подыхать-то ведь нам с тобой в этих дебрях придется, а не командующему!

— Ну-ну. Не каркай там у меня, на ночь глядя...

— Каркай не каркай, а могила тут, братки, должно быть, выпала верная....

— Што там говорить. Хана просто, воспода ребяты.

— Хана, хана... — покорно вздыхая, повторял это слово кто-то из казаков так тупо и безучастно, что подслушивающим офицерам становилось не по себе.

А когда, с грехом пополам, добрались, наконец, до облюбованного командованием места, то и тут не до сна было первые дни и ночи, ни до отдыха, ни до покоя. Не успели

спешиться казаки, как начались лихорадочные работы по укреплению зимних позиций. И днем, и ночью, по пояс в воде, под проливным чужестранным дождем со злобной яростью работали давно утратившие былой человеческий облик люди. Вместе с саперами казаки и солдаты рыли глубокие траншеи, строили на скорую руку землянки и блиндажи, сооружали фортификационные укрепления. И только в первых числах декабря, когда пал первый прочный снег и тотчас же ударили рождественские морозы, обрели, наконец, измотанные люди давно желанный покой, звериный сон и заслуженный отдых.

Но все проходит.

Прошла и у людей, только что переживших все ужасы последних боев, тупая, смертельная усталость. Покинуло их и то страшное равнодушие к жизни и смерти, которое тяготело над каждым, чудом уцелевшим казаком и солдатом. И, отоспавшись в жарко натопленных землянках, выжарив на кострах одолевшую вшу, народ заметно окреп, подтянулся, повеселел. А там мало-помалу некоторые из разухабистых казаков начали уже тяготиться однообразием позиционной службы, погоревывать по минувшим сражениям, по горячим рукопашным схваткам, тосковать по тревожным сигналам полковых трубачей и по гулкому топоту копыт с гиком атакующей конницы...

II

4-й Сибирский имени Ермака Тимофеевича линейный полк, в котором служили казаки с Горькой Линии, из станиц Пресновской, Пресногорьковской, Становой, Новорыбинской и Кабановской, нес на зимних августовских позициях оградительную службу. Основной задачей этого полка была борьба с дезертирами.

Уже ко второй половине зимы 1916-го года случаи бегства с фронта, особенно среди деморализованных пехотных частей, с каждым днем увеличивались до угрожающих размеров. Первое время, пока бежали солдаты еще поодиночке, казаки относились к своим обязанностям ревностно, свято и порядок, согласно приказа, блюли: пойманных доставляли неукоснительно в штабы полков, в караулах вели себя примерно, строго и зорко. Позднее, когда тронулись солдаты целыми косяками, по-взводно, то былую охоту задерживать таких дезертиров у казаков вдруг отбило. Если кто из наиболее ретивых служак и норовил теперь задерживать беглецов, то те немедля пускали в ход оружие, и подобные стычки с солдатами нередко заканчивались для казаков печально: дезертиры обезоруживали преградивший их путь казачий разъезд, а бы-

вали случай, что с наиболее горячими патрулями рассчитывались солдаты верным своим штыком или меткой пулей. Все это привело к тому, что сквозь пальцы начали посматривать на распоясавшихся солдат и припуганные ими офицеры.

Так началось великое разложение фронта.

Затяжное, вымученное безделье на позициях еще пагубней отражалось на пошатнувшихся моральных устоях армии. Суровая вьюжная зима, оторванность войск от всего близкого и родного, неясность боевых задач, тревожные слухи о предательстве Сухомлинова и Ренненкампфа — все это порождало в озлобленных за годы войны казаках и солдатах смутные предчувствия неминуемых катастроф, тяжкие сны по ночам и ничем неистребимую тоску по далекому родному краю.

Особенно тяжко переносили эту позиционную зиму казаки. Для них, издревле свыкшихся со строевым конем, с постоянным галопированием и сложным маневрированием по всему фронту, труднее всего было теперь отсиживаться месяцами в тесных, грязных и дымных позиционных землянках.

По вечерам, убрав на коновязях лошадей, валялись они по бревенчатым, скудно устланным болотной осокой нарам, коротали выхолощенное время, как кто умел. Резались, накурившись до одури, в козла, в дурака, во всяк свои козыри, в железку, в очко. Проигрываясь, спускали с себя последние подштанники. Затевали, как в молодости, как в далеких своих станицах, нивесть почему междоусобные драки.

И только в просторных, как родимые степи, песнях и отводили душу. Певали они чаще всего в сумерках, при скорбном свете жировиков, под глухие подвывы вьюги. Пели станичники, уронив на плечи чубатые головы, горестно прикрыв глаза. О, как горько волновали их в ту пору нехитрые узоры слов, как близки были сердцу рыдающие переливы сотенных подголосков, поднимающих песню на головокружительную высоту и несущих ее на полковых штандартах сквозь великие битвы, сквозь лихие казачьи невзгоды, сквозь беды, сквозь горе, сквозь вьюжную эту, беснующуюся за окошком позиционной землянки враждебную мглу!..

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ

Соберемтесь-ка, казаченьки,
Во единый мы кружок.
Да споем про девку красную —
Про лазоревый цветок.
Эх, ты, молодость игровая, —
Буйный ветер в ковыле!
Эх, ты, девка чернобровая,
В кашемировой шале!
Вот идет она, качается, —

Горький стебель-полынок,
За ковыль-траву цепляется
Расписной ее платок.
Вот идет она, пригожая, —
А за нею — сотня вскачь,
На снега лицом похожая,
А губами — на кумач.
Казаки в строю бесnуются,
Да ребятам невдомек:
Кем она интересуется,
Кто ж собой ее завлек?
— Где ж ты, суженый да ряженый?! —
Прокатился в сотне гул.
Карабин его разряженный
Ей подносит есаул.
Подвели коня горячего —
Вихрем пыль из-под копыт.
— Это што тако бы значило?! —
Вдруг красотка говорит.
— Сотня, смирно! — приосанился
Есаул и ей в ответ:
— Разрешите вам, красавица,
Передать от нас привет...
Из похода, из сражения
Не вернулся лишь один...
Приказал он с уважением
Передать вам карабин;
Саблю гнутую, точеную;
Со степным тавром коня;
Плеть из таволги крученую;
Серебром отороченные
Полковые вензеля...
Вот седло его печальное
С медной птахой на луке...
Вот колечко обручальное,
Што носил он на руке...
Все доспехи, все отличия
Приказал он передать
Вам — за чудное обличие,
Вам — за косы за девичие,
За походку и за стать...
Только он уж вам не встретится:
Кудерь свял и чуб зачах...
Темной ночью не засветится
Жар в косых от зла очах.
Он лежит плашмя подкошенный
Пулей в битве роковой.
Запыленный, запорошенный
Иностранною пургой.
Он один лежит. И бесится
Чортом меченым пурга:
Ни друзей вокруг, ни месяца,
Ни подруги, ни врага...
Он один. Под окрик ворона
Над ним вьюги голосят.
Волчьи стаи в его сторону
Глазом огненным косят.
Без поры и безо времени

Наш товарищ боевой
Ногу выбросил из стремени
В снег зарылся головой...
Ты ж, подруга его верная,
Нас прости за горький сказ.
Красоту вашу, наверное,
Видим мы в последний раз...
Потому што ранней зорькою
Мы в поход уйдем опять,
Штобы жизнь казачью горькую
В чистом поле растерять...
Што ж, прости — прощай, красавица! —
Отдал честь ей эшелон.
— Красота ль твоя нам нравится,
Да любовь наша кончается,
Принимай земной поклон... —
Полк уходит. А девичие
Затуманились глаза.
Словно молньей обличие
Озаряет ей гроза.
Вон стоит она, печальная;
На губах вишневый сок.
И слеза ее прощальная
Глухо падает в песок...
Вон стоит она былинкою,
Краше песни и вина:
На груди под пелеринкою
Брошка-бабочка видна...
Прошумели птицы-стрепеты.
Поднялась прострел-трава.
Нами ль чаши с горем не питы?!
Нас ли вы, казачки, встретите
У родимого двора?!

III

Казак 2-й сотни Агап Бушуев, лежа на нарах рядом с одностаничником Корнеем Шебановым, слушал песню, и тоска тихо и властно обнимала его. Сколько волнующе горьких воспоминаний воскресало в этот сумеречный, овеянный февральской вьюгою час! Полусмежив отяжелевшие веки, слушал Агап скорбную, выношенную в древних казачьих походах песню, и всегда вспоминалась ему в такую пору погожая степная осень. И слышал он далекий прощальный клич журавлей. Ощущал на губах соленую накипь блуждающих в родимых просторах ветров. Нежно и ласково никла к щеке невесомая, сияющая паутина. И, как в далеком детстве иль юности, дремотно и сладко кружил ему голову горячий запах придорожных пустошных полыней. А за всем этим сложным наплывом звуков, красок и запахов неясно выступало, мерещилось в прокуренной мгле избы до боли знакомое, смутно розовеющее неярким девичьим румянцем лицо...

За окнами бушевала метель.

Казаки пели вполголоса об осиротевшей казачке.

А Агап Бушуев, слушая эту песню, думал о далекой своей станице, о доме, о жене. Невеселые слухи доносились до него с родимой стороны. Жаловался в письмах Агапу родитель, Платон Тимофеевич Бушуев, на пошатнувшееся хозяйство, роптал старик на обременительные войсковые поставки и сборы в пользу действующей армии, горевал о недосеве, об осиротевшей пашне, сетовал на падеж скота. Кроме того, недоволен был старик и младшим сыном Агеем, который и прежде-то был не особо ретивым к работе, к домашности, ко двору, а теперь, в канун полковых сборов перед досрочной мобилизацией и отправкой его наряда на фронт, и совсем отбился от рук, ушел от родительского повиновения, озоровал, проявляя непочтительное отношение к начальству, бесшабашничал, пил.

Перечитывая скупые на радости отцовские письма, чуял Агап, что не сладко жилось теперь старикам и там, в далеком, глухом тылу, в умиротворяюще спокойных линейных сибирских станицах. Но не только одни эти стариковские обиды волновали Агапа при чтении отцовских писем, — нет, иной горькой правды искал он упорно в них.

Еще с полгода тому назад, в осадных боях под Сувалками дошел стороной до Агапа недобрый слушок о сомнительных вольностях жены его, доселе верной и преданной ему Марины. В сотне брехали, что спуталась будто она без Агапа с каким-то не то приблудным к станице цыганом, не то с интендантским чиновником и собирается сбежать из станицы в глубинную степь. Агап хорошо знал цену подобной брехне озлобленных на все чистое и недоступное, изголодавшихся по бабьему теплу казаков и потому не придавал на первых порах слухам этим особого значения. Ему давным-давно было известно, что диковато яркая, степная красота Марины, за которой воровски выслеживал в девках не один казак, и теперь еще не давала покоя многим одностаничникам.

Вот почему на все полушутейные, полузлобные намеки однослуживцев о Марине отвечал Агап оскорбительным равнодушием и вскоре отбил охоту чесать языки многим сотенным сквернословцам.

Мало-помалу разговор о Марине в сотне затих. Но рана, полученная в стычках с одностаничниками, в сердце Агапа не заживала и все чаще и чаще тревожила его. И Агап ревниво вынашивал глубоко запрятанную боль, как носят иногда застрявшую под кожным покровом пулю. Иногда эта боль стихала в нем, становилась неощутимой, и он забывал о ней. В такие минуты чистый и ясный облик женщины вставал перед ним из потоков пролитой на его глазах крови, из окоп-

ной вони и грязи, из орудийного грохота и порохового дыма. Смуглое от древних ченгисовских кровей лицо казачки смотрело на Агапа большими, непотухающими от слез и скорби глазами.

Такой же вот показалась ему Марина и сейчас.

Агап лежал навзничь, не двигаясь, с полузакрытыми глазами и в полусне, в полунаяву затаенно любовался примерещившимся мягко округленным смуглым лицом женщины. Он видел тускло отливающие черной смолью, гладко расчесанные на прямой пробор, собранные на затылке в тяжелый узел женские волосы и непокорно взбившийся на ее висках дымчато нежный пушок. Под смелым росчерком ее бровей ощущал он неясную слабую дрожь длинных, слегка изогнутых на конце, полусмеженных ресниц. Прочным мглистым степным загаром отсвечивала правая ее, крапленная родимым пятном, щека. И невнятная, как намек, таилась в губах улыбка...

— Ура, воспода ребята! — раздался вдруг чей-то высокий, по-бабьи певучий голос. — Вот это, я понимаю, вша-аа!

Агап невольно открыл глаза.

Напротив, за косым столом, сидел озаренный шафранным светом жировика маленький, белобрысый казак Евсей Вашутин. Он был без рубахи и, восторженно улыбаясь, внимательно разглядывал на собственной ладони свою добычу.

Тотчас же с нар, как угорелые, повскакивали казаки и, окружив Евсея, стали любоваться бойко юлившей на маленькой ладони его наредкость большой вшой. Мгновенно со всех сторон посыпались изумленные одобрительные возгласы:

— Вот это — да-аа!

— Знаменитую выпас ты, Евсей, дуру!

— Што ты, язви те, кобыла! Аргамак, чисто...

— Ты, смотри, поосторожней с ней, Евсей, обходись-то. Как бы она тебя не царапнула — улягнуть может.

— Фактура — может. Поберегись, станишник.

— Животина с норовом.

— Капризна...

— Какой масти, ребяты? — крикнул с нар вечно заспанный казачишка Смолин.

— Это конь вороной. Сбруя золотая... — пропел в ответ фальцетом сотенный подголосок Спирька Гагарин.

— Садись — прокачу, краля дорогая! — подхватил вслед за подголоском запевала Исай Хаустов и, придерживая обеими руками давно утратившие былой цвет шаровары, лихо прошелся на носках вокруг стола иноходью, желая, видимо, изобразить из себя злого, степных кровей, иноходца.

Больше всех умилялся своей находкой сам Евсей Вашутин.

— Сурьезная вша. Куды я теперь с ней денусь? А бить, воспода станишники, подобную кралю все-таки жалко... — задумчиво и, казалось, вполне серьезно говорил он, покачивая ее на ладони.

— Да зачем же бить-то? Ты спятил?! — горячо возразил ему Исай Хаустов. — Оно хоть ты у нас скупярдяй всей сотне известный, но тут, я думаю, за своим добром не постоишь. Пожертвуй сию животную мне. Уважь по дружбе, станишник...

— Тебе? — недоверчиво спросил Евсей Вашутин.

— Так точно...

— Да на кой она тебе? Пошто — тебе?

— А пото, што я ее в дело употреблю...

— Как это так — в дело? — заинтересовался Вашутин.

— Очень просто, — так же вполне серьезно ответил ему Исай Хаустов. — Вот явится завтре к нам на коновязи их благородье сотенный командир наш подъесаул Лепехин, а я как раз дневалить буду. И как это только начнет он, кобель, ни за што, ни про што с матери на мать нас пушить, — тут я ему невзначай в касторовый чистобор ее на выпас и суну...

Казакам это очень понравилось.

— Правильно, Хаустов! — дружно закричали они.

— Вот это придумал!

— Пущай на офицерских кровях похарчуется...

— Да ты бы ему, Исайко, ишо с десяток набросил для приплоду...

— Своих нехватит, у меня займи. Я для воспод офицеров последнего лишусь чисто...

Шум поднялся невероятный.

Кто-то недовольно заерзал на нарах и глухим, надтреснутым со сна голосом пробубнил:

— Ну, попала опять вожжа под сурепицу. Чорт взял. Нашли, слава богу, тоже утеху...

Но ворчливого бормотания полусонного человека никто не услышал. Сгрудившись около полунагого Евсея Вашутина, казаки продолжали шуметь, долго еще буровили какую-то околесину и до тех пор беззлобно, невесело, грубо подтрунивали друг над другом, пока не прошел запал. И необычайное возбуждение, внезапно вспыхнувшее в этом сумрачном логове, так же внезапно и погасло. Вот так же мгновенно вспыхивает и гаснет в знойный июльский полдень нивесть откуда взявшийся на пыльной степной дороге горячий песчаный смерч.

Казаки умолкли.

И снова вдруг стало тягостно тихо. Снова угрюмо и не-

хотя расползлись по нарам обитатели этих халуп. И снова минутой спустя вибрировал тяжкий, с горестным высвистом, затяжной храп.

Пришибленно сгорбившись над столом, маленький и жалкий Евсей Вашутин равнодушно продолжал в глубоком молчании пощелкивать ногтем свою добычу.

А за окнами плыл отдаленный, глухо рыдающий гул. То бушевала в Августовских дебрях февральская вьюга; стонали открытые жерла гаубиц да тяжко, с надрывом, гудел темный, дремучий лес.

Не спалось в эту ночь Агапу Бушуеву. Да и одному ли Агапу? Знал он, что многие притаились, притихли в этой черной гробовой тишине, и многих давил своей стопудовой тяжестью горючий камень отравленной страшной непогодью тоски.

Не спал и Корней Шебанов. Но лежал он так тихо и неподвижно, а дышал так ровно, мирно и глубоко, что Агап не рискнул потревожить его, хотя и мучительно тянуло, точно после первого опьянения, на разговор, на откровение. Только в беседах с Корнеем, в бессвязных воспоминаниях о далекой станице, о светлых степных озерах, о доме, о пашнях, о жене, — только в этом и искал теперь Агап спасения от лютой тоски, от бессонных ночей, от тяготивших его в такую пору тревожных сомнений и горьких дум.

Переплелась крепким жгутом, затянулась в калмыцкий узел дружба этих двух казаков. Так переплетаются глубоко под землей корни двух одиноко маячащих в степном просторе берез, чтоб поваднее было деревьям бороться с шальными буранами, а коли не хватит мочи, то вместе сложить скрещенные ветви свои на неласковую землю, задохнуться в ледовой пурге, упасть...

Вот так же рядом, бок о бок и росли они, погодки,—Корней Шебанов с Агапом Бушуевым. Вместе страшились, бывало, в далеком детстве верблюдов, дождей и гроз. Вместе ушли из станицы в полк. И вместе делили теперь лихие невзгоды за всю боевую, скупую на счастье и радость, казачью жизнь.

Только этой вот дружбой временами, казалось, и держался еще в строю Агап Бушуев. И только близость Корнея Шебанова помогала подчас Агапу побороть тот дикий, животный страх, который испытывал он каждый раз, идя в рукопашную рубку.

Правда, никто б не сказал про Агапа, что был он трус. Нет, за годы войны, за все самые страшные сражения и битвы на Прусском фронте, в каких довелось побывать ему, проявил он немало геройства и удали, а за подвиги под Голь-

дапом одел даже георгиевский, первой степени, крест. Впрочем, он и сам иногда любил прихвастнуть своей доблестью, и если его спрашивали молодые, еще некрещенные боевым огнем казаки, страшно ли впервые сходиться с врагом в клинки, то он, как и все, с притворной небрежностью отвечал одно и то же: «Чепуха это все. Привыкнешь!»

Так отвечал молодым казакам Агап Бушуев — привыкнешь! Но сам за два года беспрерывных боев так привыкнуть к этому и не мог и отлично знал теперь, что никогда, пожалуй, не привыкнешь. Знал он, как замирает, на мгновение останавливается сердце и как объятое ледяным холодом сжимается оно в такие минуты в комок. Знал он, как в глазах, покосившихся от ужаса и решимости, на какую-то долю секунды меркнет весь божий свет и как горит до боли зажатый в ладони эфес занесенного над головою клинка, когда готовишься ты, слегка привстав на стременах, стремительно ринуться, очертя голову, в чудовищный смерч рубки. Да и не потому ли и не решаются сказать такой правды бывшие в боях, не раз меченые огнем и кровью люди, что слишком страшны, мгновенны и воистину неисповедимы эти секунды?...

Не говорил никому этой правды и Агап.

Он хвалился бесстрашием, а сам, плохо веруя богу, горячо, неумело, наивно и требовательно просил его по ночам о пощаде. Он молил исцелить его грешную душу от лютой тоски. Но тоска не покидала, и нехватало у него против нее никаких заклинаний, никаких молитв.

IV

...И сейчас, лежа на нарах, Агап смотрел, не мигая, болезненно расширенными зрачками куда-то в одну точку, в небытие и невнятно нашептывал спекшимися губами чужие, не трогавшие ни сердца, ни разума слова полузабытых молитв.

Вдруг где-то совсем близко зарыдала сова, и от пронзительных безутешных всхлипов ее у Агапа с такой болью сжалось сердце, точно коснулись его ножом. Тогда он повернулся, ткнулся лицом в жесткую переметную суму, крепко стиснул пылающие виски черствыми ладонями и, в надежде заснуть, забыться, до боли зажмурил глаза. Но сна не было.

На минуту умолкнув, вновь где-то уже совсем рядом застонала сова, и, словно вторя хищным причетам ее, монотонно подвывала полночная вьюга. В заоконной кромешной мгле гудели открытые жерла орудий, как гудит в ночи в осеннюю пору степной телеграфный столб. И в такую пору готов был Агап броситься со всех ног на коновязь к своему коню и,

наспех оседлав его, мчаться, привстав на стременах, бог весть куда...

Наконец, полчаса спустя, он не выдержал одиночества и, несмело коснувшись рукой до плеча Корнея, тихо спросил:

— Спишь?

— Нету, братуха... — отозвался с глубоким вздохом Шебанов.

— Што так?

— Не удается...

Помолчали.

Потом, повернувшись лицом к Корнею, Агап вполголоса заговорил:

— ...Сон мне сызнова вчерась нехороший приснился. Понимаешь, Корней, вяжем это мы с Мариной пшеницу. И — не поверишь — столько лежит вокруг нас снопов, что позакрывали они, как бараны, всю степь по закрай черного неба. Лежат вокруг снопы. А на каждом снопу — по ворону. И не успеем это мы с ней нового снопа затянуть — глядь,—а птица уж тут как тут и вот кружит над башкой, и вот кружит, и кружит... Да хоть бы каркнула там раз, што ли! Так нету этого: шабаш! Молчит... Кружится над головой и так крылом свистит, аж оторопь нас с бабой берет, во рту холодеет... Вяжем мы с бабой хлеб. Пшеница тяжелая. Колос к колосу. Молчим. Тишина в степе, как на кладбище. В ушах звенит. Вяжем. А воронье вслед за нами снопы наши точит и точит...

— Да-а, невеселая притча, Агап... — глухо отозвался Шебанов и, немного помешкав, добавил: — Вот неровен час, достоимся мы до лихой поры в этих лесах, до чего-нибудь довоюем... Не хуже твоих снопов с нашим братом получится, ежели уши развесим.

— А што? Што такое? — с тревогой спросил Агап.

Но Шебанов опять ответил не сразу. Он поворочался с боку на бок, тяжело передохнул и еще тише и таинственнее шепнул в самое ухо насторожившемуся Агапу:

— Спи. После как-нибудь один на один с тобой потолкуем. Повыжди маленько...

Сказано это было таким тоном, что Агап, хорошо зная скрытный, далеко не болтливый характер Корнея, понял, сколь что-то серьезное и значительное кроется за этой недомолвкой, за приглушенным голосом, за загадочным полунамеком. Но, несмотря на новую тревогу, на смятение, зароненное Корнеем в сердце Агапа, допытываться он у него ясного ответа на свой вопрос не рискнул: чувствовал, что сейчас это бесполезно. И только для того, чтобы поддержать разговор, задумчиво сказал после минутной паузы не то Корнею, не то самому себе:

— Снится вот она мне, понимаешь ли, каждый день почему-то, да и только. А письма так вот и не дождусь. Так вот его и нету...

— Хе! Слыхали, станишники? — раздался вдруг откуда-то из угла насмешливый желчный голос. — Слыхали, он ишо и по сию пору на письма от ней надеется?!

— Эх, и смех и грех с нами чисто... — отозвался со вздохом кто-то справа от Агапа.

— Там его бабой, говорят, полюбовники нахвалиться не можут, — продолжал из угла все тот же желчный, приглушенный голос. — Она там аж восподина офицера дикой кровью с ума свела, а законному супругу тут все ишо письма от ней снятся. Ну, ну. Жди, станишник, конешно. Жди. Уж она, придет твой час, тебе распишит... — пообещал Агапу притаившийся в темном углу однослуживец.

Тотчас вспыхнул и погас все в том же углу землянки тоненький похотливый смешок. Потом послышалось в удушливой, пропитанной тлетворными запахами тишине чье-то воровски затаенное дыхание, и Агапу показалось, что на одно мгновение притихла за окошком даже метель.

— Это кто сказал? — сухим от злобного накала голосом негромко спросил Агап и, приподнявшись на локтях, насторожился.

Но никто не отозвался, никто не откликнулся на спокойный его и потому так страшно прозвучавший в тишине вопрос.

Попрежнему чуть внятно, блекло и немощно чадил на столе одинокий жировик. Неясно выступал из темноты оранжевый остов докрасна раскаленной железной печки. Мирно потрескивали догорающие угольки. Тонко и жалостливо брюзжала на ветру отклеившаяся на оконной раме брюшина.

Агап долго сидел на нарах, опершись на согнутые в локтях руки, втянув в плечи голову, точно приготовившись к прыжку. Ему было отлично известно, что сказал это о Марине прославленный в сотне сквернослов, красивый на стать и облик казак Илья Караулов. И пророни бы тот сейчас еще одно слово, драки бы не миновать. Однако Караулов, чувствуя это и зная бушуевский нрав, затаился, притих и смолчал.

— Ага, зарылся?! Труса спраздновал, сволочь, — обрадованно сказал Агап, хотя момент для расправы был уже упущен, и запал в нем угас. Но перед тем, как заснуть на рассвете тревожным и чутким на побудку сном, Агап с удивительным спокойствием, легко и просто решил карауловскую судьбу так: «Вот поедем на днях в рекогносцировку, отобью я тебя от конной группы поглубже в лес и зарублю».

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Таков был приговор Агапа Илье Караулову.

Агап знал, что рука у него не дрогнет, и потому вдруг стало на сердце так спокойно, легко и радостно, словно внезапно ощутил он после тяжкой, изнурительной болезни упругого загудевшее в крови выздоровление, словно все мучительные сомнения были решены.

V

Дней через пять, когда находился Агап Бушуев в дозоре, встретил он в сумерках притаившегося близ бруствера Корнея Шебанова.

Встреча была неожиданной. Агап знал, что утром Корней был откомандирован начальником штаба полка, есаулом Синицким, в штаб 10-й армии с донесением, адресованным в личные руки Ренненкампфа. До местечка, где был временно расположен штаб армии, лежал окольный, чуть ли не стоверстный путь. Вот почему столь быстрое возвращение Шебанова удивило Агапа, а неожиданное появление Корнея в этом, не совсем обычном для свиданий месте встревожило, внутренне насторожило его.

Заметив знакомую рослую фигуру воровски озирающегося по сторонам, закутанного в башлык одностаничника, Агап сначала даже растерялся, опешил.

Но Корней жестами поманил его к себе.

Агап с несвойственной ему нерешительностью приблизился к земляку, и тот, заметно взволнованный и непривычно возбужденный, вместо приветственных слов, которых ожидал от него Агап, первым долгом, понизив и без того глуховатый голос, спросил:

— Ты один?

— Один... пока. Только што ушел отсюдова в блиндаж вахмистр, — скороговоркой ответил Агап, все еще с тревогой приглядываясь к заиндевевшему лицу товарища.

— Ага... Это лучше. Здорово, — сказал, сунув рывком ему руку, Шебанов.

— Здорово был... Да ты што, с полпутя воротился, што ли? — спросил Агап.

— Сейчас напрямки из штаба армии...

— Скоро, брат, што-то.

— Как скоро? Тещи там не имею. Сдал донесение под расписку адъютанта командующего и ходу...

— Ловко, станишник! — изумился Агап.

— Долго ли тому, кто умеет...

— Фактура. Да оно ведь и строевик-то у тебя — ветер.

— Ветер. Ветер... — задумчиво повторил Шебанов.

Агап заметил, что Корней не переставал воровски озирать пепельную от вечернего сумрака лесную долину. Наконец, видимо, окончательно убедившись в том, что они с Агапом действительно одни, он заговорил порывисто, горячо, оживленно:

— Ты знаешь, Агап, я вот тут неподалеку, в лесу, понимаешь ли, спешил... Ух, аж сам упрел, дьявол. Во баня! Скажи, как я ишо строевика не запалил?! А тут вот и темляк у нагайки где-то оборвать меня чорт угораздил. Вот видишь... — виновато улыбаясь, показал он отороченный медной лентой черен нагайки.

Но Агап уже чувствовал, что дело тут вовсе не в темляке и не в нагайке и что за столь возбужденным, притворно пустяшным и внешне беспорядочным набором слов кроется нечто недоброе, о чем еще пока не рискует сказать Корней.

— Ты лучше бы вот про новости рассказал. Небось, вынюхал што-нибудь там в штабе... — нетерпеливо попросил Агап.

— Новости? Да-а... Новостей у меня сегодня, понимаешь ли, полны переметные сумы. Из-за новостей-то вот я и летел как угорелый, — с веселой непринужденностью и в то же время с плохо скрываемой тревогой в голосе сказал Шебанов.

— Што ж там опять? — насторожился Агап.

Корней вновь зорко огляделся по сторонам и, цепко схватив Агапа за правую руку, полушопотом, точно задыхаясь, сказал:

— Слушай-ка, Агап. Сам знаешь, перед тобой я сроду не таился. Ничего я не привык перед тобой скрывать. Вот и сейчас все скажу... Мы ведь с тобой сквозь всю кровь и огонь прошли рядом. С малых лет я в тебя верую. Вместе вот третий год и вшу на позициях кормим. Словом... друг ты мне али нет? — горячо дыхнув Агапу в лицо и крепче стиснув в могучей пятерне худую узловатую руку его, спросил полушопотом Шебанов.

— О чем разговор, Корней? С измальства верней меня друга не было, — с волнением, но твердо ответил Агап.

— Знаю, знаю... — глухо обронил Шебанов. И вдруг, стремительно выдернув из-за пазухи увесистый бумажный сверток, решительно протянул его Агапу. Потом совершенно спокойным, исключающим какие бы то ни было возражения тоном сказал:

— Держи. Крепко. Это листовки. Письма. Это партия большевиков нам написала.

— Кому? — ничего еще не понимая толком, спросил Агап.

— Нам. Нам с тобой. Всем казакам и солдатам действующей армии. Понял? Во как. Здесь, брат, нашей пролитой кровью вся правда записана... Словом, прочитаешь. Поймешь. Слава богу — грамотный,—смутно улыбнувшись, Шебанов на секунду, переведя дыхание, задержал прямой испытующий взгляд на друге. Потом, то и дело приглядываясь к окружающей обстановке, продолжал шопотом:

— В одном фольварке доверили мне эти письма наши ребята. Товарищи. Поручили во что бы то ни стало доставить на передовые позиции, в наш полк. Надо было потихоньку от господ офицеров разбросать среди наших станичников, да и баста... Ну я, конешно, взялся. Пообещал. Но вот оплошал маленько... — конфузливо улыбнулся опять в давно небритую бороду Шебанов. — Оплошал, — повторил он. — Плоховато мы береглись там, должно быть, и вот влипли... Пронюхали одни суки за нами и решили, наверно, сцапать с поличным. Всю дорогу шли за мной по пятам трое вершных. Но я, не будь дураком, тоже их раскусил и дал деру. Спасибо, строевик не подвел. Укачал я от них вперед верст на десять. Пальбу открыли — промазали... Но, понимаешь, Агап, не ровен час — могут замыть меня эти холуи, зачем не видишь, и тогда я — поплыл... У меня обратный пакет к начальнику штаба полка. Не успеешь спешиться, думаю, и сгребут. Голого-то накроют—чорт их бей. Сам понимаешь, нашему брату теперь ништо не страшно. А вот бумажки эти должны быть срочно пущены в дело. Сегодня же ночью надо будет разбросать листки по позиции. Таков наш долг. Понял?.. Если же меня заметут, останешься ты. Ты несешь ночной караул, и тебе вполне сподрушно... Только на тебя одного надеюсь... Только тебе одному во всем полку пока верю.

— Это... это все правильно, Корней, конешно... — начал было Агап, слегка заикаясь от волнения.

— Все, все правильно, Агап, — поспешно перебил его Шебанов, дружески хлопнув по плечу, и, приблизившись вплотную, уже более требовательно и строго заключил:

— Если ночью я не вернусь, — считай арестованным. Так и домой при случае отпиши. А листки перед сменой незаметно развей около землянок. Да смотри у меня, осторожно работай. Штобы шито и крыто было... А ну, с богом. Валяй. Давай двигай. Смелей. По-казачьи. Действуй...

И не успел вконец растерявшийся Агап раскрыть рта, как Корней одним порывистым движением руки сунул сверток в руки одностаничника, и, ни слова не вымолвив на прощанье, как привидение, исчез в лесу.

С минуту Агап стоял как вкопанный. Вся эта неожиданная встреча, с еще более неожиданным концом ее до того

ошеломила, выбила его из былого душевного равновесия, что он, только несколькими минутами спустя, начал мало-помалу воспринимать возбужденным сознанием слова, сказанные второпях Шебановым.

Наконец, точно очнувшись от какого-то забытия, он нетерпеливо перегрыз на свертке шпагатную бечевку и развернул туго закрученные в трубку листки.

Белые четвертушки бумаги были еще влажны, и шел от них, доселе незнакомый Агапу, острый, спиртовый запах сырой типографской краски.

Агап присел на лафет гаубицы. Он осмотрелся, прислушался к дремотным позевываниям пробуждающейся ночной метели и, бережно расправив на коленке один из листков, близоруко прищурившись, увидел жирные, косо поставленные печатные строчки. Потом, откашлявшись, он полушопотом — как привык еще с детства — стал читать.

Агап был не боек в грамоте. Но листовку эту он прочитал в один прием, залпом, без передышки. И простые, бесхитростные слова поразили его неслыханной правдой.

Он читал, незаметно для себя повышая на каждом слове вибрирующий, как натягиваемая струна, голос, и каждое из этих слов падало в сердце зло обжигающей искрой.

Он читал, и мелкая, зябкая дрожь от худых неуклюжих пальцев, стремительно нарастая, переходила к локтям, в сутуло приподнятые плечи, в полусогнутые острые колени, а после последней, похожей на боевой трубный клич, строки его трясло всего, как в лихорадке.

«Одумайтесь, товарищи трудовые казаки!» — настойчиво звучала теперь в ушах Агапа одна и та же фраза. И ему уже казалось, что не в листовке он вычитал эту фразу, а слышал чей-то волнующе близкий, проникновенный призыв этот давным-давно, и только в сию минуту горячие слова этого призыва коснулись его сознания.

...И вспомнился Агапу Бушуеву такой случай. Как-то раз после одной из страшных трехчасовых рубок в рукопашном бою под Гольдапом ворвался он в авангардной колонне казаков на плечах неприятельских драгун в дымящийся от огнеметных снарядов город. Было жарко. Звенела, стонала, выла под кованым конским копытом и бешено мчалась навстречу земля. В глазах рябила искрящаяся полумгла: не то это была пыль, поднятая конной атакой, не то дым от бушующего фронтового пожарища.

Во рту у Агапа было сухо и горько, точно наглотался он желтой полынной пыльцы. Голову обносил горячий, тошнотный ветер, и Агап едва держался в седле. От беспрестанной безумной работы клинком правая рука Агапа отяжелела, по-

висла, как плеть, и тупо ныла в предплечьи. Так с пересохшими от жажды и ужаса губами, не помня себя, мчался он во весь опор вдоль вертлявой и узенькой, одетой в булыжник, улицы и вдруг на полном карьере спешился около толпы солдат.

Оказалось, что ребята наскочили на разгромленный винный погреб, и теперь, только что вырвавшись из лобовой атаки, они выворачивали окровавленными штыками днища у поставленных на-попа среди улицы винных бочек и тут же, припав к дубовым закрайкам, жадно глотали терпкое, древнее вино.

Кто-то толкнул Агапа к одной из раскрытых бочек. Перегнувшись всем корпусом через борт посудины, он припал темными, обуглившимися губами к прохладной, янтарно-желтоватой, молодо играющей золотыми бликами жидкости и алчно пил ее до тех пор, пока чья-то могучая рука с силой не отшвырнула его за шиворот в сторону.

Отпрянув от бочки, Агап пошатнулся, но не упал. Он добрел до покорно стоявшего в стороне коня, взялся левой рукой за луку, но поднять ноги в стремя не мог. Тогда, прислонившись к горячей, взмыленной шее боевого друга, поднял он глаза, и вот впервые за годы войны увидел Агап над собою такое высокое, до звона прозрачное, умиротворяющее голубое небо. И, запрокинув отяжелевшую голову, он долго, не мигая, не отрываясь, смотрел сияющими глазами в этот неомраченный земными нечистями небесный простор.

Охваченный непривычным, неизъяснимым восторгом, смотрел Агап на небо и видел в нем в эту минуту только белое, похожее на легкий газовый девичий шарф, облачко. Легко уносимое ветром, стремительно уходило это облачко туда, далеко на восток, в недоступную для Агапа родимую сторону. Трепетно сияя на солнце девственной белизной, уплывало оно, легкое и маленькое, постепенно становясь все менее приметней, пока не погасло, не рассеялось в нежно голубоватой дали, как рассеивается и гаснет дымок от разорвавшейся на большой высоте шрапнели.

...Такое же сложное чувство бурного опьянения, острой тоски и тревожной радости ощущал Агап и теперь, беспокойно вертя в руках эту маленькую бумажку.

С удивительной четкостью и последовательностью воскресали в памяти прочитанные слова, и Агапу казалось, что всю эту листовку от точки до точки мгновенно запомнил он наизусть.

«Это же нашей кровью написано!» — вспомнились ему слова Корнея Шебанова. И, потрясенный до глубины души обличительной силой, великой простотой, правдивостью и

страстью прочитанных строк, Агап впервые за всю свою жизнь проникся таким уважением к печатному слову и держал теперь в руках этот невзрачный, серенький листок бумаги, точно навеки дорогую, заветную находку. С таким внутренним трепетом, с такой чистой любовью, с такой верой относился он только к двум вещам: к прядке маринных волос, которую ревниво хранил он в нагрудном кармане гимнастерки со дня разлуки, да к почерневшему от времени медному крестику — походному материнскому благословению...

«Ну, скорей бы стемнялось!» — нетерпеливо озираясь, подумал Агап. Он был охвачен теперь только одной мыслью о немедленном и решительном действии. И не предостереги бы его Корней, не напомни бы он ему об осторожности, Агап, пренебрегая личной опасностью, сейчас же бросился бы со всех ног по землянкам и вручил однослуживцам это замечательное письмо. Пусть-ка они почитают, пусть поволнуются на его глазах, пусть переживут такое же чувство, какое испытывал Агап.

Так, полный смятения и решимости, переживал сейчас Агап нечто вроде того, что испытывал он каждый раз в ожидании условного сигнала атаки: ему не сиделось в эту минуту на лафете, как не сиделось перед боем в седле.

Он встал, рассовал часть листовок по карманам шинели, остальные снова свернул в трубку и, крепко стиснув ее в руке, прошелся вдоль мертво зияющих орудийных жерл.

Вокруг было пустынно и тихо.

По-лисьи, мягко и лживо, кралась Полесьем студеная зимняя ночь. Тоскливо, невнятно ржал на дальних коновязях чей-то продрогший, застоявшийся конь.

И Агап, беспокойно шагая по рыхлому, за день наметанному снегу, вновь и вновь передумывал, перечитывал наизусть письмо, принимая его слова за собственные, глубоко выношенные в душе мысли. И с непостижимой стремительностью проходили перед ним беспорядочные воспоминания. И, может быть, только сейчас, за какое-то одно неуловимое мгновенье впервые увидел он всю свою, ярко озарившуюся в сознании жизнь, увидел такой, какой была она на самом деле. А щедра была она, оказывается, на черные дни, на лишения, на беды и обиды, да поскупилась на счастье, запрятала от Агапа и последние, похищенные этой ужасной войной радости. И если прежде, годами вынашивая накипевшую в сердце злобу и ненависть против неведомых, безжалостно исковеркавших судьбу его темных сил, Агап не угадывал, не мог распознать их облика, то теперь неожиданно столкнулся он с этими силами лицом к лицу и потом мгновенно просветлел от решимости, сразу же, казалось, исцелился от тяготившей его все эти

фронтовые годы тоски и готов был уже к смертельной, мстительной схватке с новым, настоящим и страшным своим врагом...

VI

Было уже совсем темно, когда Агап, все еще ежась то от затихающей, то от вновь нарастающей внутренней дрожи, притулился за щитом гаубицы и закурил. Курил он с привычной фронтовой осторожностью — в кулак.

Вдруг послышался мягкий, невнятный шорох.

И не успел Агап сунуть за борт шинели свернутые в трубку листовки, как перед ним вынырнула угловатая, похожая на квадратную глыбу, фигура полковника Дашкова.

Отпрянув от щита, Агап выпрямился, насторожился, однако рук по швам, как полагалось, не опустил, зажатой меж пальцами папиросы не выбросил и во фронт перед командиром полка не встал. Он скорее почувствовал, чем услышал, шаги приближающегося к нему полковника. Но, минутой спустя, он уже отчетливо видел в темноте большое квадратное лицо Дашкова и его всегда слегка искривленные желчной улыбкой сухие тонкие губы да ядовито поблескивающее на орлином носу квадратное пенсне. Агап видел теперь его всего — квадратного, тяжелого, и потому так сдавил зажатые в левой руке листовки, что хрустнули и тонко заныли в суставах пальцы.

Секунды две-три гробовой тишины.

И вот блекло-лимонные лучи света от карманного электрофонарика трепетно дрогнули на снегу и, лихорадочно перечеркнув крест-накрест Агапа, на мгновенье задержались на окаменелом его лице, а потом, неясно озарив всего с ног до головы, упали на левую его руку и словно обожгли ему стиснутую в кулак кисть.

— Как стоишь перед командиром полка? — вполголоса, как бы задыхаясь, спросил полковник Дашков Агапа и скомандовал: — Смирно!

Агап выпрямился, но согнутой в локте и чуть подрагивающей руки не опустил и еще крепче стиснул зажатые в кулаке листовки. Желтое пятно света ослепляюще рябило в глазах и мучительно жгло онемевшие пальцы.

— Ты кто такой? — спросил прежним тоном полковник Дашков.

— Я есть казак, ваша высоко благородье... — с вызывающим достоинством ответил Агап Бушуев.

— Отвечай точно. Полк? Сотня? — раздраженно повысил голос Дашков.

— Четвертый Сибирский. Ермака Тимофеевича... вторая сотня, — не теряя спокойствия, отрапортовал Агап явно взвинченному полковнику.

— Фамилия? — продолжал допрос Дашков.

— Бушуев...

— Что ты здесь делаешь?

— Несу сторожевое охранение...

— Хорошо... А что это у тебя в руке? — кивнув на левую руку Агапа, уже совсем по-иному, мягко спросил полковник и, сделав решительный полушаг вперед, тоном притворного равнодушия попросил: — А ну, покажи-ка мне это самое, батенька...

Но Агап, резко подавшись всем корпусом к Дашкову, властно отстранил его от себя зажатым в правой руке карабином и твердо сказал:

— Никак нет, ваша высоко благородье... Так што не просите. Не утруждайте себя. Этого я вам не покажу.

— Што?! Не покаже-шь?! — прошептал, отступая на полушаг, Дашков.

— Так точно. Не покажу.

— Ах, вот оно что! Вот как... — изумленно прошептал, озираясь вокруг себя, Дашков. — В таком случае я тебе приказываю... приказываю немедленно проследовать впереди меня в штаб. Слышишь? Я приказываю, — повторил Дашков.

— Я нахожусь на посту. А потому подчиняюсь только их благородию, караульному начальнику, — ответил Агап Бушуев и, не дав возразить что-либо полковнику, продолжал: — Хоть оно, конешно, ваша высоко благородье и есть полковник, но снять меня самовольно сей момент с поста не имеете права. Я — старый казак и полевой устав, да еще при боевой обстановке, на-зубок знаю... — не теряя последнего самообладания, с издевательским спокойствием произнес Агап.

Сраженный находчивостью рядового казака, Дашков заметно растерялся. Он запальчиво передернул квадратными плечами, сорвал резким жестом с орлиного носа и сунул в нагрудный карман касторовой офицерской борчатки квадратное пенсне. Затем беспомощно пошарил вокруг себя испуганным расторопным взглядом, а потом уже, не выпуская из левой руки мелко подрагивающего фонарика, судорожно, неверным движением правой руки начал отстегивать кобуру маузера.

И вот, вовсе не думая до сей секунды о подобной развязке, подавляя в себе чудовищным напряжением воли приступы затемняющего глаза бешенства, в какую-то, быть может, одну сотую долю мгновения Агап решил сразу все. И яростно простонав сквозь больно прикушенные губы, он рванулся вперед и стремительным, наотмашь, ударом приклада разом

вышиб из нелепо взметнувшейся над головой руки полковника Дашкова тяжелый хобот маузера.

Полковник, поперхнувшись жалким подобием крика, присел, ткнулся головой в рыхлый сугроб, но тотчас же, ловко ускользнув из-под второго удара, вскочил на ноги и, почему-то низко пригнувшись, бросился наутек.

И опять только какую-то долю секунды замялся Агап в нерешительности. Обескураженный своим промахом и, видимо, не ожидая, что полковник ударится в бегство, он на мгновенье сдал, запнулся на перечеркнувшей сознание молниеподобной мысли: «Уйдет. Все пропало... Влипли!»

Но тут же, покачнувшись точно под чьим-то могучим толчком, он выхватил из ножен клинок, косо занес эфес привычным жестом на уровень лба и слепо, уже ни зги не видя перед собой, ринулся вслед за Дашковым.

Сколько времени — минуту, две, три или целую вечность длилась эта погоня, Агап не представлял, не знал, не помнил. Он и бежал-то, должно быть, наугад, только каким-то звериным чутьем след в след полковнику и опять скорее ощутил, чем увидел, в кромешной мгле пришибленно сгорбленную, по-медвежьи пурхающуюся в глубоком снежном сугробе фигуру. «Ага — мой! Не уйдет!» — прошептал Агап и ощутил, как жгучей струей прошла через него радостная уверенность.

И вот еще одно усилие, еще прыжок — два — три, и он, настигнув полковника, со всего размаха, со свистом хлестанул клинком вдоль большого мягкого, хрустнувшего под стальным лезвием тела.

Еще секунда — и Агап, круто развернувшись, кренясь корпусом влево — так приучила его к этому рубка в седле,— коротким, порывистым ударом накосо раскроил Дашкову обнаженную, наголо выбритую голову...

VII

А в полночь, когда сменялись сторожевые охранения, все караулы и посты, когда замертво уже спали в землянках свободные от нарядов казаки, воровски крался в эту минуту, притулясь к приземистым стенкам позиционных логовищ Агап Бушуев.

Был он без папахи, с растрепанным, припорошенным сединою и снежной заметью чубом. Неслышно скользя от землянки к землянке, он, как поджигатель, торопливо совал в притворы дверей, в разбитые оконные стекла пригоршни смятых листовок. Делал он это осторожно, с оглядкой, но совершенно спокойно и вполне уверенно.

Лицо Агапа выглядело в эту минуту строгим, сосредоточенным, вдохновенным. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом спекшихся губ таили еще недавно пережитое им великое потрясение.

Покончив с листовками, Агап, никем не замеченный, неслышно вернулся в свое жилье и, сбросив шинель, повалился на нары. И только тут почувствовал он смертельную, свинцом разлившуюся по жилам усталость и сладковато-тошнотный привкус на языке. В ушах нарастал тупой, ноющий звон. И расходившееся вдруг сердце, подобно ключу полевого телеграфа, выстукивало неровную, мелкую дробь.

Агапа мучала жажда.

Он попробовал встать напиться, но голова закружилась так, точно поднял его кто-то на гигантских качелях и с огромной высоты опустил вниз. Тогда покорно опустившись на нары, он, не смыкая глаз, неподвижно пролежал, так и не задремав, всю львиную долю на редкость глухой мартовской ночи.

А на рассвете воротился в землянку Корней Шебанов. Продержанный в полковом штабе всю ночь, он после перекрестных допросов был отпущен.

Шебанову показалось, что Агап спит, и, несмотря на то, что Корнею мучительно хотелось узнать от него сейчас о судьбе листовок, он все же не решился разбудить его и потому с такой трогательной осторожностью примостился рядом с ним на нарах, приглушенно вздохнул и затих. Однако минуты две-три спустя, он убедился, что Агап не спит. Тогда Корней не выдержал, стремительно повернулся к нему лицом, горячо дыхнул ему в самое ухо и шопотом спросил:

— Ну... как дела?

Агап нащупал могучую, в застаревших мозолях руку Корнея, крепко стиснул большие узловатые пальцы одностаничника в худой горячей своей ладони и, немного помолчав, ответил:

— Все в порядке...

Не разнимая рук, они замолчали.

VIII

Весна 1916 года на Горькой Линии была неожиданно ранней и тревожной. Рано загромыхали над степью разрушительные ливни и грозы. Рано закуковали в голых, траурно черных лесах кукушки. Зловеще рыдали, хохотали, аукали в оранжевых сумерках вечеров хоронившиеся в крепостных бурьянах совы. Глухо подвывал на закатах в камышовых ло-

говах зверь. По ночам рокотал над станицами, хуторами, пикетами и редутами тяжкий, будто подземный гул. То лопались набухшие льды по окрестным озерам. Ревела, кромсая голубые льдины, дикая лесная вода. Но страшнее всего были полуденные мартовские грозы. В степи еще лежал кое-где недоласканный вешним солнышком снег, а в небе вдруг сгущались кромешные темные тучи и грохотал гром. Казалось, что изломанное на громадные глыбы молнией небо с треском и грохотом обрушивалось на дрогнувшие кровли станиц. И поднималась тогда над степью ледяная пурга, гибельная для застигнутого в пути человека, губительная для тебенюющих на подножном корму табунов.

В степях ждали джут — величайшее бедствие для кочевого народа. В русских селениях страшились недорода и иных неминуемых бед.

Старики отсиживались в эту тревожную пору в станичном правлении и слушали по вечерам, как золотушный, голубой от лишаев и чесотки, писарь Саня Скалкин монотонно перечитывал вслух газетные сводки, штабные сообщения и депеши военных корреспондентов, рассказывающих о положении в действующей армии. Станичники слушали терпеливо и равнодушно, хотя и не верили, пожалуй, ни одному газетному слову. Так, газеты под ура русскому императору голосили о новых, успешно выигранных русским командованием операциях под Гродно, Гольдапом и Перемышлем на фронте Австро-Германском и под Эрзерумской крепостью и Ардаганом — на Кавказском, а злобно скупые письма нижних чинов из действующих армий обоих фронтов говорили другое. И чувствовалось, что полны были эти письма иной, суровой и горькой казачьей правды.

Затянувшаяся война, безотрадные вести с передовых позиций, пошатнувшиеся за последние три года без надежных сыновних рук, брошенные на стариков да на баб хозяйства, непосильные войсковые поставки и сборы и, наконец, недобрая эта, полная дурных предзнаменований, весна, — все это порождало в душах старых станичников невеселые предчувствия, скорбные размышления и мрачные догадки о грядущих, еще более тяжких, безрадостных днях.

Хмуро косясь на бушевавшую за окнами непогоду, тревожно прислушиваясь к хищным воплям рыдающих на закате сов, старики пророчески говорили:

— Ну, добра, воспода станишники, теперь не жди...

— Што там говорить. Прогневали, видно, мы, воспода ребята, господа бога.

— Картина ятная.

— Грозы, как перед ферганским походом...

— Ураганы, как во втором происшествии...

И только один Маркел Шебанов, со свойственной ему издевкой, говаривал:

— Эх, поменьше бы вот вы, воспода станишники, барахлили, на ночь глядя, вот это бы да! Соберетесь и буровите абы што. Бубните, как сычи на могилах. «К худу. К худу!» А куды жа ишо хуже-то, ребята? Войне—ни конца, ни краю. Сынов наших старших бьют, полонят, калечат. Да и до малолеток, зачем не видишь, тоже доберутся...

— И добрались уж! — озлобленно откликался Платон Бушуев. — Хвати меня, скажем. Мне бы вон попрежнему-то второе дите только об эту пору привелось в полк снаряжать, а тут вот до поры до времени на строевого коня сажать приходится...

— И посадишь!—с неприкрытым злорадством подзадоривал старика Маркел Шебанов.

— Посажу, понятно. Мы казачьего строя ломать непривышны...

— Ну, ну. Сади, восподин станишник, конешно. Только я тебе не позавидую... — горьковато ухмыляясь в холеную — волос к волосу — бороду, отзывался бывший гвардеец.

Вот такой разговор происходил в сумрачной, пропахшей казенным сукном и мышами станичной казарме промеж стариков и в этот непогожий, гулкий от далеких гроз и ветров мартовский вечер, когда бились в оконные стекла обледеневшие тополя, когда неистово рыдали печные трубы.

Старики, как всегда, сидели, кто где сумел примоститься: на тяжелых, древних войсковых скамьях, на широченных подоконниках, а многие и прямо на столетнем дубовом полу по-домашнему уютно, вразвалку. Там, в глубине темного зала на столе перед писарем жарко пылала тусклым огнем фигурная, в медной оправе, лампа, и тяжелые блики света хищно играли на высоком сводчатом потолке.

Двое из стариков, доверчиво прижавшись бочком к ласково теплой печке, мирно дремали. Складно, тон в тон, похрапывали они, пуская на мятые бороды светлую, по-детски прозрачную слюну. Это были самые старые казаки в станице. Один — Артемий Никоныч Вашутин, по прозвищу Фон-барон. Другой — маленький ростом, но не по годам юркий, расторопный, веселый на взгляд дед Арефий. Сколько им было лет — сказать трудно. Точно этого в станице никто не знал, да и сами-то они далекий год своего рождения давно запамятовали. Однако известно было только одно, что обоим им перевалило за сто, и, по словам стариков, были они погодки одного наряда. Оба деда участвовали в Хивинском походе, брали в 1871 году под командой фон-Кауфмана Фергану,

и за отвагу, проявленную в кровопролитном сражении под стенами вышеупомянутой крепости, получили наши герои по полному банту отличий и были занесены в списки георгиевских кавалеров. С тех пор и в родной станице, и на всей Горькой Линии звали воинственных дедов все от мала до велика кратко и выразительно — кавалерами.

Несмотря на преклонный возраст, кавалеры держались еще крепко. Прожив долгую и нелегкую жизнь, не растратили они в походах и битвах последних запасов сил, сберегли на закате дней своих ясность мысли. Вот почему не пропускали они ни одного станичного схода, принимали живейшее участие во всех спорных общественных делах, и одностаничники с уважением выслушивали их, дорожили их мнением. Правда, водилась за обоими кавалерами одна слабость: о чем бы не повели они свою речь на сходе, всегда, при любых обстоятельствах они считали необходимым прежде всего сослаться на свой хивинский поход и предупредить одностаничников о том, что дело это их высокопревосходительство, покойный генерал от кавалерии фон-Кауфман, рассудил бы, разумеется, точно так же, как думают сию минуту и они, боевые георгиевские кавалеры.

Как правило, наши герои являлись на станичные сходы прежде всех, при первом же окрике десятника. Хватнув по цыгарке суворовского табачку, от которого драло глотки даже самым отпетым трубокурам, кавалеры, — было ли это зимой или знойным летом, — все равно усаживались на издревле излюбленное свое место около печки и уютно дремали. Глядючи в эту минуту со стороны, казалось, что их не поднять и пушкой. Но это только казалось. На самом же деле герои были необыкновенно чутки на побудку, как бывают чутки только тертые казаки да степные собаки.

Умиротворяюще тихий, глубокий сон кавалеров длился до тех пор, пока какой-нибудь междоусобный спор одностаничников не обретал характера взаимных угроз и назревающей драки. В такой момент оба наши героя вскакивали, как ужаленные, и, угрожающе подняв над головами гнутые, похожие на древние офицерские сабли костыли, тотчас же водворяли в казарме примерную тишину и порядок. Потом один из них, пробившись к писарскому столу, молодцевато выпятив грудь и осуждающе строгим взглядом окинув присмиревших одностаничников, говорил:

— Их высокопревосходительство, покойный боевой генерал от кавалерии фон-Кауфман сказал бы вам, воспода станишники, так, как говаривал он нам и нашему войску при покорении города Ферганы в одна тыща восемьсот семьдесят первом году...

И оба кавалера, поддакивая один другому и грозно потрясая похожими на офицерские сабли костылями, долго и обстоятельно говорили при всеобщем почтительном внимании о том, как бы решил этот спор фон-Кауфман и как бы вместе с ним хотели они примирить разгорячившихся одностаничников сами. Из уважения ли к преклонным годам кавалеров, из-за того ль, что советы их и в самом деле всегда были неожиданно просты и мудры, — как бы то там ни было, но в большинстве случаев самые спорные дела решались вескими словами наших героев, а за это народ и уважал и побаивался их.

Словом, точно так же случилось и в этот мартовский вечер, когда после взаимных жалоб на нужду, на смертную тоску и старческое одиночество вдруг поднялся такой грохот и шум, что вместе с проснувшимися георгиевскими кавалерами вскочил, как оглашенный, никогда не просыпавшийся доселе на сходах самый смирный в станице, слегка туговатый на ухо старик Тихон Ишков. Это был тот самый Тихон Ишков, у которого погибли в прошлом году на Кавказском фронте при штурме Ардагана оба сына.

Шум и в самом деле в казарме стоял невероятный. Кавалеры пробились сквозь сгрудившуюся вокруг писарского стола толпу вперед. И тогда дремотно слезящимся, старчески тусклым глазам представилась следующая картина. На столе в густом табачном дыму стоял во весь рост еще более поголубевший от чесотки и от дыму станичный писарь Скалкин и, потрясая какой-то бумагой, норовил угомонить, перекричать разбушевавшихся одностаничников. Но немощный голос писаря заглушали травленые казачьи глотки. Почернев от крика, жмуря покосевшие от гнева глаза, не слушая и не понимая друг друга, старики вопили:

— Вот это дожились, воспода станишники!

— Довоевались...

— Мало им, што сыны наши кровь свою на военном театре третий год проливают, так тут ишо с нашего брата — старое дело — последние подштанники содрать норовят.

— Правильно. Дождемся такой поры.

— Мы хлопотали воспомоществование, а он на нас новую контрибуцию наложил.

— Не туда штемпель поставил...

— Усоборовал... .

— Што-оо?! Это кого? Кого... в душу мать?! — взвизгнул во всю свою птичью глотку поднатужившийся писарь. — Это их высокопревосходительство-то?! Это самого наместника

всего степного края так, можно сказать, пушить изволите в присутственном месте? Ась?!

— Его самого...— мрачно подтвердили братья Кирька и Оська Карауловы.

— Та-ак?! — зазаикался, судорожно хватая косым маленьким ртом воздух, перепуганный, побледневший писарь и вдруг— откуда только и голос взялся — загремел басом:—Молчать! Смир-рно! Под военно-полевой суд захотели, сукины дети?!

И на мгновенье в казарме стихло. Но только на одно мгновенье. Зато потом дали станичники простор своим испытанным глоткам.

— Ого, видали его, воспода ребята?! — рявкнули в голос братья Карауловы.

— Вот ить напужал, аж в пупу заныло... — ввернул Тихон Ишков.

— Ты шибко-то рта не разевай на нас, восподин письмоводитель. А то ведь мы и за душой в нутро к тебе слазить можем.

— Нашел кого тоже полевыми судами пужать!

— Мы сами ежли лисой где пройдем, там три года курицы не несутся.

— Так вот и их высокопревосходительству, генералу Сухомлинову, по беспроволошному телеграфу ответ наш обратно отбей.

— Правильно. Так вот и донеси ему про нас на гербовой бумаге.

— Хватит. Ни гроша больше не дадим. Верно я реву, воспода ребяты?

— Правильно, восподин хорунжий.

И пока ошарашенные неистовым криком одностаничников престарелые герои наши едва уразумели спросонок, в чем дело, казарма уже содрогалась от рева и грохота. А в ночи за окнами бушевал, кромсая обледеневшие ветви тополей, крутился, как взбешенный конь на одном копыте, страшный ветер. Внутри же казармы, уже засучивая в пылу рукава зипунов и потертых мундиров, неистовствовали готовые к драке, прослезившиеся от обиды, гнева и крика старики.

IX

А весь сыр-бор разгорелся из-за полученной в этот вечер в станичном правлении депеши, подписанной наместником степного края, наказным атаманом Сибирского линейного казачьего войска, акмолинским генералом-губернатором, Сухомлиновым. Это был ответ наказного атамана казакам пяти линейных станиц, рискнувших в канун рождества минувшего

года подать на его атаманское имя пространное прошение. В этой петиции, скрепленной подписями выборных казачьих старшин и пятью голубыми печатями станичных правлений, старики, не скупясь на подробности, описали Сухомлинову всю незавидную свою жизнь. Как известно его высокому превосходительству, война затянулась. Дотла выжгли прошлогодние суховеи скудный посев — без сыновних рук былой пашни не скоро подымешь. А тут еще, как снег на голову, дополнительная мобилизация четырех казачьих нарядов. Все это, говорилось в реляции, довело многие семьи до полнейшего разорения. И вот, покинутые на произвол судьбы своими мобилизованными сынами некоторые из престарелых, в прошлом премного заслуженных перед богом, царем и отечеством, линейных казаков терпят теперь позорнейшую для оного звания нужду. Снарядив на последние гроши и отправив на фронт на одном кругу по два, а то и по три чада, родители сих доблестных воинов не только не в состоянии платить войсковые сборы, но и сами нуждаются в незамедлительном вспомоществовании. А потому, зная о том, как неусыпно и ревностно печется наказной батюшка-атаман за судьбу и благополучие своего верноподданного войска, и порешили они, собравшись на межстаничный круг, старые люди пяти линейных станиц, покорнейше просить о милости его высокопревосходительство, который, как смеют надеяться отцы доблестных казаков, уважит их следующую просьбу, а именно: решит ли он самолично, войдет ли с ходатайством на высочайшее имя, но освободит стариков от подушного войскового сбора — это раз; снабдит из казначейских амбаров линейный народ по весне семенной и фуражной ссудой — два; отдаст по войску указ: отныне, дескать, принять за счет казначейства все снаряжение досрочно призванных в этом году на поле брани молодых казаков, снабдив оных казенным конем, полной амуницией и шашкой...

Ответ наказного атамана на эту реляцию был немногословен. В депеше, оглашенной станичным писарем, говорилось:

„За подачу подобных прошений в другое время я бы вас, старых дураков, публично высек запятая главарей и зачинщиков лишил бы казачьего звания и сгноил на каторге точка Сейчас же ограничиваюсь немедленным взысканием всех войсковых сборов в тройном размере, что и приказываю привести в исполнение атаманам линейных станиц в недельный срок со дня получения на руки сей депеши точка“.

— Ого! От такой точки зубы смерзнуться могут! — надрывались от крика взволнованные старики.

— Не подчиняться такому указу, воспода ребяты!

— Правильно, кум.

— Нас на храпок-то, ваша высока превосходительство, не скоро возьмешь.

— Эка ведь тоже пригрозил рыбе морем, а нашему брату — горем...

— Он думает, раз генерал, так на его и управы у нас не найдется.

— Извините, ваша высока превосходительство!

— Не на таких нарвался...

— И на тебя указы найдем.

— Но уж и нашел тоже. Выше наместника для нас власти нету, — заявил до сего отмалчивавшийся Тихон Ишков.

Веснущатый, коротконогий, стремительный в движениях, точно заводной, старикашка Архип Кречетов вдруг сорвался с лавки, как ужаленный, и, ринувшись на Тихона с кулаками, завопил, жмурясь:

— Што ты сказал?! Как это так — выше наместника власти нету? Да ты што — ночью родился? В Кульджинский поход не хаживал? Полковой службы не проходил?

— Ну и што тут такого — проходил... — смущенно пробормотал Тихон.

— Как, што? А устав о чем говорит? А на словестности в городе Верном воспода урядники чему нас с тобой, дураков, учили?

— На словестности-то действительно учили. Это мы знаем. Да разве весь артикул скрозь запомнишь?! — ответил со свойственной хитрецой Тихон Ишков.

— Ого! Слыхали, воспода старики? Нечего сказать — казак! — крикнул уже фальцетом Архип Кречетов, и, волчком пройдясь мимо невозмутимого Тихона, он с диковинной, птичьей легкостью прыгнул на лавку.

Кречетов простер над обнаженной своей, пепельно седой головой худую узловатую руку и, полусмежив веки, неожиданно притих, замер. Так, не двигаясь, не мигая и почти не дыша, стоял он до тех пор, пока не угомонились, наконец, не притихли, не замерли в свою очередь и старики. И только в то мгновение, когда в нарастающей тишине можно было услышать стук собственного сердца, вновь раскрылись кречетовские уста.

— Казаки! Воспода ребята! Станишники! — сказал он торжественно и глухо. И уже, переведя дух, сделав, как опытный говорун, секундную паузу, еще тише, почти полушопотом, произнес:

— Кто это сказал, што у нас с вами не найдется теперь защиты? Нам ли с вами реветь об этом? Нам ли, линейному,

войску Ермака Тимофеевича, не перед кем в черный день преклонить колена? Нам ли некому ударить в грозный час челом? А?

Тишина.

Оратор испытующе строго всмотрелся воспаленными от волнения глазами в суровые, почти иконописно строгие облики одностаничников и, величественно потрясая сложенными в крестное знамение перстами, так же тихо и медлительно спросил:

— А про их императорское высочество, про наследника престола — августейшего атамана всех казачьих войск всея Российской империи вы забыли?!

Тишина.

— А к самому императору заказаны казакам пути?! — так же торжественно и тихо, в тон Кречетову, произнес георгиевский кавалер Фонбарон Вашутин.

— О монаршей воле не помните? — тотчас же подал голос и другой кавалер, дед Арефий.

Глубокое молчание.

Глухой, подавленный, тяжкий старческий вздох в глуби казармы.

И оратор Архип Кречетов, почтительно поникнув, снова прикрыл воспаленные глаза. И оба кавалера, мгновенно присанившись, вытянулись, как в строю. С минуту они стояли неподвижно, как стояли, бывало, на полковом плацу в присутствии фон-Кауфмана, и тускло поблескивали в тревожном казарменном полусвете их выпяченные вперед, наглухо заметенные вековой сединою бороды.

И только там, за окнами станичной казармы, бушевал с нарастающей яростью страшный, срывающий с крыш жестяные покровы ветер и плыл откуда-то издали неземной, глуховатый, утробный гул. Может быть, это лопались льды на окрестных озерах. Может быть, в этот час разрушались и падали в крепости под ураганом древние прадедовские редуты. Может быть, то шел из глубинных степей стеной еще более страшный, трубящий на тысячи верст ледяной буран.

За окнами бушевала метель. В снежном дыму, в голубом ледовом огне крутилась земля. О, как глух, печален и страшен был в эту минуту предсмертный крик погибающего в ночи и метели зверя!

Но тихо было в станичной казарме.

Очень тихо.

Словно загипнотизированные, стояли, печально поблескивая седыми чубами, насторожившиеся, точно на вечерней полевой молитве, господа старики.

И вот вдруг, как по набату, вмиг всполошился, встал на

дыбы, загремел в сотни глоток, заглушая пургу, народ. Злобно, с яростью, радостно рявкнули в голос перекошенными от гнева ртами казаки:

— Пр-рравильно, воспода ребята!
— Дело ревем, воспода старики!
— Хабарыснем, станишники, в столицу!
— К самому августейшему атаману!
— Во дворец...
— К монарху...
— В Петроград...

Тогда на круг, к писарскому столу вылетел не то сам собою, не то кем-то вытолкнутый из толпы Тихон Ишков. Он был незавиден на рост и облик, этот приписной к станице, пришлый откуда-то из-под Курска казачишка, так и не сумевший вылезти из беспросветной нужды с молодых лет по сию пору. В полк уходил он когда-то на чужом коне, купленном ему вскладчину тремя состоятельными станичниками, братьями Боярскими. А вернувшись из полка, Тихон несколько лет отрабатывал своим благотворителям позаимствованную у них амуницию и строевую лошадь, а позднее тянул из года в год батрацкую лямку ради двух своих, ныне павших под Эрзерумом, сынов, сборы которых на действительную службу и на фронт вконец разорили и без того нехитрое хозяйство Тихона Ишкова. Но, несмотря на все это, старик держался на станичных сходах с достоинством, принимал участие в решении всех спорных общественных дел наряду с коренными казаками станицы. И только один грешок мешал нашему приписному казаку возыметь среди равных ему, небалованных судьбой одностаничников должное уважение: недолюбливал его мир за непостоянство, хитрецу и чудовищное раболепие перед династией скотопромышленников Боярских. Кричал Тихон Ишков на сходках редко. Но если уж выскочил на круг и завел за здравие, то все уже заранее знали, что кончит он, разумеется, за упокой. Так вот и сейчас. Стремительно вылетев из толпы на круг, Тихон, испуганно оглядевшись по сторонам, решительно заявил:

— Нет. Стоп. Не след делать этого, воспода старики...

Он осекся, еще раз пугливо присмотрелся к переднему углу, где, скрытые сумраком, молча сидели все трое братьев Боярских, и потом полушутя, полусерьезно отдал команду:

— Стоять смирно! Слушать, што я зареву. Небось, всему обществу интересно знать, што я думаю? Верно? Ага. Тогда так. Вот што я вам на эту музыку отвечу. Зря вы затеваете, воспода парни, несподрушное это дело. Круто кашу больно завариваете. Боюсь, как бы аппетит нам с вами во дворце не испортили. Попробуй-ка тогда рыскни — век-повеки не рас-

хлебаешь... Эх, язви те мать, воспода ребята, а и крутой же народ мы с вами, линейное казачество! Посулил нам наказной атаман плетей — неймется. Давай сунемся ишо к самому императору, не перепадет ли и там на бедность, кстати...

— Тих-он! Братец! — раздался вдруг из сумрачного угла мягкий, приятный, баюкающий голос старшего из братьев Боярских корявого Афони.

Тихон насторожился. Прикрыл левый глаз. Прислушался. Выждал. И снова, растерянно заозиравшись по сторонам, забормотал:

— Ага! Я, Афанасий Силыч. Так точно...

— Тихо-он! Тебя ли я слышу! Твои ли это речи, браток! — осуждающе строгим, вкрадчивым голосом сказал, приподнимаясь с лавки, Боярский Афоня.

— Так точно — я, Афанасий Силыч...

— Но ведь так можно и до оскорбления императорской фамилии добарахлиться! — заметил, вынырнув из-за спины Боярского, школьный попечитель Анемподист Корольков.

— Так точно. Вполне можно добарахлиться и до этого. Все возможно, — неожиданно признался попечителю Тихон Ишков.

— С чего же это ты тогда такое буровишь-то, восподин казак? — спросил попечитель.

— Как — с чего? Да разве ж я против прошения? — удивленно откликнулся Тихон Ишков так, словно он и на самом деле не мог вспомнить сию минуту, о чем с такой горячностью говорил пятью минутами назад. И тут же, под чуть внятные понукания, одобрительные кивки и улыбки братьев Боярских, школьного попечителя и других состоятельных, особняком державшихся на сходе казаков, отрезал:

— Правильно, воспода станишники. Немедля подать прошение на высочайшее имя. Я первый под такой просьбой императору подпишусь. Будьте покойны, старики. Их высочество нас ублаготворит... Дело только за письмоводителем. Правильно я теперь реву, станишники, али нету?

— Пр-рравильно! — дружно поддержали вспотевшего Тихона несколько охрипших голосов.

— В таком случае, давайте Луку Стабровского — раз, — считая по пальцам, начал уже отдавать распоряжения Тихон Ишков. — Ведра два первачу для общества — два. Трахнем для храбрости по сороковке. А там тяп-ляп, да и клетка — хоть завтра же их императорскому высочеству наше прошение на гербовой бумаге в державные руки включай!

— Резон лупишь, восподин казак, — радостно завопил самый длинный из одностаничников, Кирька Караулов.

— Без двух ведер тут не разыграшься... — поддержал Кирьку кавалер Фонбарон Вашутин.

— Урр-раа! — заголосил во всю глотку, обрадовавшись предстоящему общественному запою и чуть не грохнувшись спросонок с печки, станичный десятник Буря.

— Вытребовать сюда Луку! — повелительно крикнул Афоня Боярский.

— Луку! Давай Луку! — хором подхватили господа старики.

— Ясное дело — Луку. Он тебе все наши беды и обиды скрозь чувствительно опишет.

— Там такой будет слог, — самого императора слеза прошибет!

— Министры заплачут...

— Хе! Ишо бы не заплакать. Ить он жа у нас в полку пять лет за самого командира сотни подъесаула Стрепетова любовные письма всем его кралям в городе Верном писал!

— А кульджинскую консульшу кто отбил у графа Расторгуева посредством любовных писем для вахмистра Разнина, помните? Он же — Лука!

— Што там говорить. В слове он варнак известный. Недаром жа ему покойный генерал Скобелев особое благодарствие перед строем за живописный почерк вынес...

И, забыв о грозной депеше Сухомлинова, а равно и о предстоящем прошении на высочайшее имя, наши господа старики снова с былой горячностью и разгоревшейся страстью занялись обсуждением знаменитого письмоводителя. Кузнец Лавра Тырин, нелепо размахивая длиннейшими своими руками, кричал:

— Главное дело, станишники, в том, што он, туды его мать, аж сонный прошения пишет!

— Ну, уж это ты хватил, Лавра, — не поверил ему Тихон Ишков.

— Што-о?! Я вру?! Да вот тебе, истинный Христос, своими глазами видел. Сгореть мне на месте... — клятвенно осенив себя размашистым крестным знамением, решительно заявил Лавра Тырин. — Слушайте, воспода станишники, дальше... Тяпнули это мы с ним в канун покрова по бутылке. Закуска была небогатая — захмелели. А к нему и пристань о ту пору ни с тем делом один богатый кыргыз: сочини ему прошение к мировому судье, да и баста. Выслушал его Лука. Развернул лист гербовой бумаги. Обмакнул перо в хрустальну чернильницу. Подумал. Прилег грудью к конторке и захрапел. Глянул я на него, а он, сукин сын, спит и пишет. Да как ишо, скажи, бойко выводит-то: «Смею доложить вашему высокому

благородью» и так и далее. Аж свист, понимаешь, из-под пера идет. Вот ведь как, подлец, набил руку!

— Ну и слил ты, восподин кузнец, опять пулю! — не без восхищения покачал головой писарь Скалкин.

— Не веруешь?

— Не верю, — признался писарь.

— А я верю. Все может быть, — веско подтвердил кавалер Вашутин. — Мастеровой человек и во сне может што угодно сработать. Ты хвати нашего покойного генерала от кавалерии...

Но поговорить кавалеру не дал вмешавшийся в разговор Кирька Караулов.

— А што вы думаете, воспода парни, зря его генерал Скобелев в Петербург из Кульджи за собой сманивал? А? — торжественно крикнул Кирька. — Да такому письмоводителю аж в кабинете его величества при собственной канцелярии императора всегда свободная ваканция будет!

— Ну ишо бы не быть! — отозвался Лавра Тырин. — Ему ить сам князь, их сиятельство Трубецкой, говорят, телеграмму отбивал, воспода ребята. Приезжай, говорит, Лука, я тебя начальником всей своей письменной конторы исделаю. Квартировать у меня при дворце будешь. Харч, дрова, керосин — мои готовые. Жалованье — двести целковых в месяц, конешно, кладу из казны особо.

— Ох ты, едрит твою капалку! И што ж это он отказался-то? — искренно сокрушился кавалер Вашутин.

— Отказался дурак. Я, говорит, свою родную станицу никогда на ваш Петербург не променяю. Сердцем, говорит, к степям прирос — не оторваться. Так вот по проволошному телеграфу и ответил их сиятельству обратно...

Между тем пока старики со свойственной им ребяческой наивностью расхваливали в пылу новой затеи на все лады знаменитого письмоводителя и врали друг перед другом о мнимых заслугах его чуть ли не перед самим императором и его двором, Буря уже успел раздобыть в шинке на благо общества пару ведер профильтрованного на древесном угольке прозрачного самогона. И, долго не мешкая, примостившись с посудиной у печки, стал, благословясь, десятник наделять одностаничников положенной мерой.

Чаркой, как и всегда, служила помятая, тронутая ржавчиной баночка из-под монпансье «Ландрин», которую вот уж несколько лет ревниво приберегал Буря у себя в станичной сторожке для столь редких за последние годы мировых пиршеств и общественных запоев. Лукаво прищурив левый, клейменный бельмом глаз, Буря, стоя у печки, черпал наметанно ловким движением руки из ведра тяжко пошатывающуюся

там жидкость, деловито протягивал мерку очередному станичнику и молча, с напускным равнодушием следил потом, как тот, не спеша, благоговейно, с достоинством глотал даровое угощение. Выпив положенное, старик, звучно крякнув, почтительно уступал свое место безропотно ожидавшему очереди кандидату. Пили господа старики без суетни, чинно и мирно, в том строгом порядке, который обязывал каждого знать свой черед, не нарушая его даже в пьяном виде. Таков уж был неписанный закон, свято соблюдаемый линейными казаками спокон века...

X

Было уже далеко за полночь, когда не в меру расторопный в таких случаях Буря едва только успел ублаготворить одностаничников по второй чаре, а в горьком от табачного дыма сумраке станичной казармы потянуло мало-помалу хмельным говорком, — как вдруг в эту самую благотворную минуту показался в дверях хваленый письмоводитель. Надо сказать, что, вопреки обыкновению, был он на сей раз решительно трезв, а посему необычайно суров с виду и несговорчив.

Скупо, сдержанно раскланявшись с притихшими стариками и пробормотав нечто невнятное в ответ на нестройный их приветственный гул, письмоводитель Лука Стабровский прошел мимо почтительно расступившихся перед ним одностаничников к писарскому столу, молодцевато щелкнул стоптанными подборами, выпрямился и, слегка запрокинув назад седеющую с холеным чубом голову, замер, как на картинке. О, это был вполне привлекательный по облику, бравый и, пожалуй, еще нестарый казак! Таких и в самом деле рисовали на цветных ярмарочных картинках — пятачок за штуку, — лить не вылить с него. Потому-то тайно и любовались им в эту минуту многие разморившиеся от казарменной духоты, от пережитых треволнений и злой огненной водки старые казаки, умиленные его выправкой, веселым чубом и ладно сбитой фигурой.

Минутой спустя, выждав пока улеглось среди стариков хмельное волнение, Лука тоном человека, избалованного всеобщим вниманием сказал:

— К вашим услугам, господа станишники. Слушаю вас.

Старики возбужденно задвигались, зашумели. Однако одним слабым, небрежным движением руки Лука навел в казарме порядок и потребовал, чтобы суть дела выложил ему кто-нибудь один. Старики погомонили еще с минуту и единодушно доверили высказаться за общество Платону Бушуеву, который скупо, но с толком рассказал письмоводителю об их затее.

Внимательно выслушав Бушуева, Лука выдержал паузу, а потом молодо тряхнул нечесанным чубом, приосанился и сказал:

— Ну, што ж, в добрый час, господа старички... Затея великая. Мы, линейные казаки, наши деды и прадеды вполне достойны того, штобы в черный день бить челом самому императору... За мной же дело не станет. Всей душой буду рад и премного доволен послужить в такой час родному обществу. Реляцию я на основании устава о подаче прошений на высочайшее имя, конешно, напишу. Это мне полбеды. Тут у меня все будет согласно узаконенной свыше формы, по артикулу. Но знаете ли, господа старики, каков мой совет? — спросил Лука затаивших дыхание станичников.

— Вникам, восподин письмоводитель, — приглушенно и почтительно прогудела в ответ ему казарма.

— Видите ли, — продолжал, помолчав, Лука, — я полагаю, што наша реляция должна быть вручена императору нами лично. То есть обществу следовало бы избрать из своей среды соответствующую депутацию для подачи прошения и направить ее с таковыми полномочиями в Петербург.

— Вот это — да! — раздался изумленный голос Кирьки Караулова.

— Вот это — дело! — подхватили восторженно старики.

— Лучше и не придумать нашим умам, воспода ребята...

— Куды там!

— Дело ятное, надобно бить челом императору лично...

— А кого ж пошлем-то мы? Кто рыскнет возложить на себя тако великое дело? Лука Прокопич! Восподин письмоводитель?! — умоляюще глядя на него, растерянно бормотал хмельной и взволнованный кавалер Вашутин.

— Кому выпадет такая честь?

— Кого облечем таким высоким доверием? — наперебой спрашивали Луку растроганные до слез и еще более захмелевшие станичники.

— Я лично полагаю, — сказал Лука, — што для исполнения подобной миссии избрать надобно будет двух смышленных, бывалых и тертых казаков. Конешно, штобы опять же они, явившись во дворец, вели себя там по артикулу и тонкое обхождение с господами министрами и разными фрейлинами двора имели... Ну, а на кого падет выбор — это уж святая воля самого станичного общества... — заключил Лука, по-военному отступив от центра. И, скромно примостившись в углу на лавку, он как ни в чем не бывало, притворно равнодушный к вспыхнувшему в казарме шуму, ловко, словно балуясь, принялся крутить вокруг указательного пальца цыгарку.

Вопреки обыкновению, вопрос о составе депутации на сей

раз был решен без скандальных пререканий, взаимных угроз и рискованных кулачных жестов, точно были это не выборы, а совершался какой-то полусвященный обряд. Все разом сошлись на двух бесспорных кандидатах. Первым из них был Лука Стабровский, вторым — Маркел Авдеич Шебанов.

Кандидатуру Шебанова предложил Лука.

— Учтите, господа старички, — сказал он, выставляя Шебанова, учтите, што Маркел Авдеич в бытность свою на действительной службе состоял три года в драбантах у бывшего нашего консула в Кульдже князя Трубецкого. В настоящее время, как вам должно быть известно из газет, их сиятельство князь Трубецкой является командиром императорского конвоя. А это уже в нашем деле плюс. Ибо через посредство князя нам легче будет войти с ходатайством на высочайшее имя. Кроме того, у Шебанова имеется на примете в Петрограде и еще один важный человек, коему Маркел Авдеич тоже прислуживал в свое время в городе Кульдже, когда после отъезда князя Трубецкого в Петербург он, этот самый человек, заменил собой консула. Вот забыл ведь, как же это его фамилия-то? — обратился Лука к Шебанову.

— Ась? Это барина-то моего? — оживленно окликнулся на вопрос вопросом Шебанов. И, поднявшись, поспешно сорвав с головы папаху, ответил: — Кухнов. Господин Владислав Петрович Кухнов.

— Да, да. Кухнов. Господин Кухнов вот и именно... — подтвердил Лука и продолжил: — Насколько я не вру, то этот самый господин Кухнов состоит сейчас на службе в министерстве иностранных дел, в должности старшего делопроизводителя протокольного отдела. Я тоже немного знаком был с Кухновым. А особенно мы частенько выпивали с его лакеем Осипом, — хитро улыбнувшись, подмигнул ухмыляющимся одностаничникам разговорившийся письмоводитель и в том же добродушно-шутейном тоне ввернул вдобавок: — К слову сказать, я, грешным делом, немножко в сердцах был в те поры на нашего Авдеича. Вот, скажи, везло гвардейцу! Интересная, понимаете ли, история. Мы ведь чуть на дуэли саблями с ним не порубились!..

— Тожа вспомнил, чудак... — смущенно, пряча свою улыбку, пробормотал, отводя от Луки глаза, Шебанов.

— В чем дело-то вышло у вас. Уважьте, восподин письмоводитель, нас, стариков, расскажите... — заинтересовались братья Карауловы, хотя оба они никак не являлись стариками, а отвертелись от всеобщей мобилизации, накурившись, говорят, перед призывом до одури какой-то травы, и потому были оба забракованы тремя врачебными комиссиями вчистую.

— Покорнейшая просьба, Лука Прокопич, от общества, —

расскажите, из-за чего вражда-то такая у вас вышла, — не отставали старики.

— Да што вы пристали-то, как банный лист к голому месту?! — с притворной строгостью крикнул кузнец Тырин. — Расскажи да расскажи! А што там рассказывать? Ясное дело, што из-за какой-нибудь крали счета друг до друга имели...

— Ого, Маркел? — Оживился Тихон Ишков. — А вот это бы интересно прослышать на сон грядущий.

Тихон, как и все прочие, отлично знал, о чем заводилась речь, и не меньше уже ста раз слышал от Луки эту историю. Однако сейчас настаивал больше всех на рассказе.

Помрачневший Маркел Шебанов осуждающе строго заметил:

— Эх, хватило бы уж вам абы што буровить-то, воспода станишники! Што ты, язви те мать, за народ?! Да время ли сейчас точить балясы? Ты скажи, как возьмутся молоть без ветру и про любое дело забудут... Старики вы, станишники, али малые дети?

— А ты уж и в обиду? — не унимался письмоводитель. — Да што здесь такого-то? Ведь это к слову пришлось только. Ну как же тут, господа станишники, не позавидуешь, когда ему сам господин Кухнов на двенадцать ден собственную барыню, Наталью Казимировну, доверил?!

От гулкого грохота господ стариков на мгновенье, казалось, померкла даже настольная писарская лампа.

— Вот именно! — кричал фальцетом сквозь смех Лука. — Был такой грех. Выпало Маркелу Авдеичу счастье. Он ее по поручению господина Кухнова в Петербург из Кульджи сопровождал...

Новый взрыв хохота заглушил голос письмоводителя.

— Вот, небось, дама была довольная! — крикнул с печки, успевший уже выспаться, Буря.

— Сама, хвати, выбирала! — охая от утробного смеха, перекликались в досиня накуренном сумраке старики.

— Видать, не дура была. Подыскала гвардейца.

— В пропорцию...

— В мягком купе, небось, ехали?

— Вот урвал с молоду-то парень!

— Ничего не скажешь, сумел пристроиться к госпоже станишник!

Трудно сказать, чем бы кончилось это буйное, вдруг забушевавшее в казарме веселье, если бы не вмешался сам виновник его, Маркел Шебанов. С трудом сдерживая себя от нарастающего внутри тяжелого, как пламя, гнева, он, злобно покусывая крученый свой ус, молча, исподлобья, с деланным равнодушием долго смотрел на озорующих стариков. А по-

том, наконец, не выдержав, прыгнул на скамейку и, почернев от натуги, угрожающе занеся над толпой здоровенный литой кулак, крикнул:

— Молчать!

И странно — тотчас же, словно поперхнувшись собственным криком и смехом, старики умолкли.

В глухой, разгоряченной тишине слышалось только чье-то учащенное от былого надсадного смеха, бешеное, как у загнанной лошади, дыхание. И стало вдруг так тихо, как бывает тихо только в пустынной степи после выстрела на рассвете...

— Э-хо-хо... — сокрушенно вздохнул Маркел Шебанов. — А ведь совестно яровать-то бы нам на старости лет, воспода ребята. Как вы думаете, отцы доблестных русских воинов? Ась?.. Собрались вот и ржете, как жеребцы на отгуле, и в какую для нас минуту!.. — напомнил он, погрозив прокопченным махоркой пальцем.

Шебанов постоял, переступил с ноги на ногу — видно было еще хотел сказать что-то. Но, оглядев пристыженных одностаничников суровым, осуждающим взглядом, он молча опустился со скамьи и удалился на прежнее свое место, в угол.

Настроение у всех явно упало.

Напрасно пытался развеселившийся письмоводитель поднять былой дух у притихших, обидчиво нахмурившихся стариков доселе испытанной побаской и острой шуткой, — ничто уже, казалось, не в силах было теперь вернуть им прежнего расположения. Был ли виной тому пошедший на убыль хмель, отрезвил ли их вдруг суровый тон Маркела, — только держались они теперь так, словно пришибло их ощущение каких-то недобрых предчувствий, словно свалилось на старчески опустившиеся плечи одно общее тяжкое горе...

Так как других депутатов в намеченную депутацию для подачи прошения не было, то старики решили, не метая баллотировочных шаров, закрепить выбор уполномоченных специальным приговором станичного общества, скрепленным личными подписями всех присутствующих.

Когда же под диктовку Луки Стабровского приговор станичным писарем Скалкиным был написан, господа старики, выстроившись гуськом, стали поочередно подходить к писарскому столу и с какой-то тревожной, всех обуявшей поспешностью оставляли на меловом александрийском листе тяжелую вязь своих подписей, а неграмотные — их было втрое больше — ставили на бумаге косые, неуютно сбивающиеся в кучу, как на забытом погосте, мрачно чернеющие кресты.

Отказались от подписи этого приговора только братья Боярские, владелец станичных боен Александр Стрельников,

попечитель Анемподист Корольков да еще с десяток состоятельных, всегда особняком державшихся при решении таких вопросов на станичных сходах одностаничников. Даже не объяснив причины своего неожиданного для всех отказа, они всей толпой, скупо раскланявшись с обескураженными стариками, ушли. Это обстоятельство тоже удручающе повлияло на ошарашенных станичников, и они, закрепив голубой станичной печатью доверительную свою бумагу, даже не сказав своим выборным обычных в таких случаях напутственных слов, молча, с вороватой расторопностью побрели один за другим по домам.

Тяжко сгибаясь в три погибели под свирепым, сшибающим с ног ледяным ветром, плелся в эту ночь к своему затерявшемуся в кромешной мгле двору и Платон Тимофеевич Бушуев. И плыли во след старику откуда-то издалека глухие трубные звуки, да бросал его в дрожь и оторопь гул разбушевавшегося в степях урагана.

Плелся, объятый метелью, старик по пустынной станичной улице, и крепкую думал он в эту ночь думу. С трудом переваливая через огромные, мертвые, как степные курганы, сугробы, шел он, казалось, наугад, чутьем, ощупью. Так идет по степной дороге застигнутый непогодой пилигрим. Так идет оглушенный колокольным набатом вьюги, одинокий странник, пути которого неисповедимы...

А неделю спустя, снабдив Маркела Шебанова и Луку дорожными и кормовыми ресурсами из средств казначейства и отслужив на старинной крепостной площади длинный, с акафистом, напутственный молебен, проводили господа старики своих депутатов с петицией к императору в далекий Петроград.

XI

К югу от станицы Пресновской, там, за далекими, задумчиво голубыми перелесками, лежит великая древняя степь. До боли в глазах сверкают там в знойную летнюю пору ковыли и озера, а зимой — непорочные, иссиня-сахарные снега. Гулко и радостно гудит на рассвете под некованым конским копытом широкий караванный тракт. Неподвижным и тусклым становится ночью шафранный зрачок притаившегося в придорожном бурьяне зверя.

Бесшумно, дремотно, медлительными кругами спускается в предзакатный час на обжитый курган степной орел. Грозно равнодушный к окрестному величию и покою, опускается он из-под поднебесья на вершину скифской могилы и долго чис-

тит и точит потом об осколки гранитной гробницы свой стальной, окантованный траурной прошвой клюв.

Джигитует в родимых просторах пропитанный солью озер и дыханием пустыни ветер. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти, кочуют из края в край над этой землей, проходят под легкими поднятыми парусами величественные в своей чистоте и недоступности облака.

Загрубела обильно политая кровью племен, утрамбованная копытами скифских конниц земля. Почему-то, как бубен, звенит она на рассвете под ногами горячего иноходца. Потому и бушуют здесь в летнюю пору диковинно яркие травы и пылают тяжелые, как пламя в дыму, степные тюльпаны. А в конце февраля от канонадного грохота и гула буранов шалеет укрывшийся в камышных логовах, оглохший от страшного шума зверь. Кромешно темной стеной, с бешеным ревом, трубными воплями и свистом стремительно мчится из-за далекого горизонта пурга. И горе тебе, человек, попавший в такую пору в эти первобытные степные просторы!

Может, так же вот и тысячу лет назад пылали в этих местах чудовищные цветы и бушевали бураны и травы. Великие предания, песни и были хранит в себе эта степь. И только суровые гребни курганов да простроченные ковылем, повиликой и бессмертником, камни гробниц напоминают о битвах и сечах воинственных предков, о кровавом марше прошедших здесь диких племен и орд.

Так же вот и отатаманила, отказаковала в этом краю и некогда пришлая с прикаспийских пустынь, с Дона, с Волги и Яика казачья вольница. И только по полузабытым, глухим и тревожным походным песням ее и можно еще судить о том, как отгораживались на Горькой Линии частоколом, водой и рвами от немирных соседей-кочевников казаки, как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне существующие земляные крепости, маяки и редуты.

Хаживали, судя по песням, эти хмельные от вольности ребята в глубинную степь. Сторожили на древних торных дорогах заморских купцов и не миловали кистенем и пищалью иноземных предводителей караванов. И не гнушались станичники ни серебром, ни парчей, ни шелками, ни смуглыми от неярких степных кровей полоненными дикарками. Потому-то и течет до сих пор по жилам сибирского линейного казачьего войска глухая, властно зовущая в кочевые дали кровь. Потому-то и нередки среди линейных станичников диковато шустрые на взгляд и облик казаки да не по-здешнему темноликие казачки.

Но все прошло. Поросло все прострел-травою.

И остались от предков в наследство линейным станицам

одни земляные валы, полувыравненные временем рвы да изрытые ядрами крепостные мащины.

Крепостные завалы и рвы!

О, любимое место для нехитрых детских забав и игрищ. Недоступно оно лютым вешним ветрам, что приходят сюда из далекого Прибалхашья. Есть тут где укрыться станичным казачатам от дождя, от стужи, от грозы, от любой непогоды. Если грянул вдруг, искромсал на куски тяжелое черное небо гром, — живо, вмиг под любую полуразрушенную мишень, и сиди себе потихоньку, жди пока не умчится Илья на огромной чугунной своей колеснице куда-нибудь подальше от крепости, в соседнюю станицу, за озеро, в степь.

А можно спрятаться еще и в полом, похожем на часовую казачью будку, памятнике на генеральской могиле. Вот тут-то уж совсем хорошо, если бы только не было немножко страшно. Хоть он и похож на сторожевую казачью будку этот, обшитый железными плитами и смешно осевший набок памятник, но ведь стоит-то он все-таки не где-нибудь там в степном казачьем лагере, а на настоящем крепостном кладбище, на могиле! Правда, внутри склепа самая настоящая, обыкновенная, слегка поросшая кипцом, повиликой и щеткой земля, и могильного холма не видно. Но могилой, как там ни говори, тут все же пахнет! А потом, ежели набраться смелости и прилечь ухом к земле, то можно услышать глуховатый, недобрый подземный гул. Так может гудеть только могила. И гудит она вовсе не зря, нет. Это сердится на казачат мертвый генерал от инфантерии граф Сан-Донато. Да еще бы ему на них не сердиться! Понатаскали они ему в фамильный склеп всякой дряни. Тут тебе и горшечные черепки. Тут и горелые четвертные гвозди. Тут и выкопанное на пожарищах, сплавленное в чудесные разноцветные камушки стекло. Обломок сегмента от сенокосилки. Комок вару. Резная корона от водосточной трубы. Конские бабки. Чорт его знает, чего только тут не найдется! А какой-то озорник сидел, сидел, ждал пока дождик кончится. Скучно. Он — раз с себя миткалевые шароварики — и шумно на генеральской могиле опростался. Приспичило же, варнаку, тоже! Вот это уж совсем зря. Такого баловства даром ему его высокопревосходительство, генерал от инфантерии граф Сан-Донато, разумеется, не простит. Да и накрой бы за таким делом озорника погодки, ему бы и от них попало на пряники. Это хорошо, что мертвый граф видит из могилы правого и виноватого. А вдруг он не разберется, да ка-ак тяпнет за босые пятки того же, скажем, Силку Бушуева?! Что тогда?!

Правда, на кого другого, а уж на Силку-то Бушуева покойному генералу от инфантерии обижаться нечего. Всем, конеч-

но, известно, что Силка боек на руку, и, несмотря на малый свой рост, прослыл среди сверстников своих за отчаянного драчуна и забияку. Но зато уж, если ему приходилось искать в генеральском памятнике приюта от непогоды, тут становился наш Силка тише воды, ниже травы и сидел себе на корточках всегда смирно, благоговейно, почти так же, как учила его мать стоять во время богослужений под темными сводами станичной церкви: в такую минуту курносое, доступное всем ветрам, густо крапленое мелкими веснушками лицо его вдруг обретало строгое молитвенное выражение, и он казался самому себе самым безобидным и смирным казачонком в станице. А на такого-то совсем не за что бы сердиться мертвому графу!

Говоря между нами, Силка любил этот памятник, хотя в душе и побаивался его. Но оттого-то всегда влекло и манило каждого казачонка в этот одинокий, мрачноватый генеральский склеп, где было таинственно и загадочно, сумрачно и прохладно, как в пустой предвечерней церкви. Все внутри этой черной, похожей на старого монастырского трапезника, будке было загадочно и необыкновенно. Глухие таинственные шорохи и похожие на чье-то далекое подавленное рыдание звуки плыли и растекались где-то внутри тяжелых железных стен. Таинственно шуршал и шептал о чем-то близ склепа сухой прошлогодний репей. Таинственно и печально брюзжал на крыше клочок оторванной ураганом жести. Загадочно светился в темном углу склепа необыкновенный крылатый жук. И даже такое, до боли знакомое, простое, родное, привычное небо над степью, — если смотреть на него сквозь крошечную дырочку, пробитую гвоздем в одной из стен склепа, — даже и оно, милое, погожее синее небо, казалось отсюда необыкновенным и таинственным.

Хорошо очутиться внутри генеральского склепа вдвоем. Возьмись за руки с товарищем, примостись с ним на корточки и посиживай да поглядывай, как бойко плящет на крепостном редуте крупный, в горошину, звонкий дождь. И как, наверное, обидно дождю, что не настиг он в чистом поле перехитривших его прытких и вертких ребятишек, улизнувших из-под самого его прохладного крыла под надежную защиту памятника.

Точно в дыму, плывет и качается под проливным, расточительным вешним ливнем степь. На мгновенье от проливного дождя становится даже темно, и так радостно и жутко на сердце, что хочется броситься со всех ног в эту померкнувшую степную даль и бежать, бежать, захлебываясь собственным криком и ливнем:

— Дождик, дождик, припусти! Мы поедем во кусты богу

молиться, царю поклониться! Царь, царь-сирота, открывай нам ворота ключиком-замочком, шелковым платочком!..

И вот, вдруг забыты все ужасы, таящиеся в сумрачном склепе. Забыт мертвый генерал с горшечными черепками, с гвоздями, с конскими бабками. Как хорошо, оказывается, засучив шаровары повыше колен и задрав до самого подбородка штопаную, в горошек, рубаху, лететь, сломя голову, навстречу бушующему ливню по грязной степной дороге, мчаться, скользя и падая в глубокие, теплые и мутные весенние лужи.

Напрасно вы думаете, что, жмурясь от страха и восторга и радостно взвизгивая, мчится по тракту в станицу Силка Бушуев. Нет, ошибаетесь: это вовсе не он. Это летит перепуганный грозою и ливнем, сорвавшийся с коновязи строевой конь. Видите, как высоко запрокинул он свою красивую точеную голову?! Чувствуете, как работает он своими тонкими, упругими, точно вылитыми из стали, ногами, поливая своего приотставшего друга потоками грязи, фонтанами бьющей из-под звонких кованых копыт?! Слышите, как тревожно храпит он своими широкими, розовато влажными, бархатными ноздрями?!

Ах, какой удивительный это конь!

Вот это он, безусловно, возьмет сторублевый приз на смотровых лагерных скачках... Будет знойный, прогорклый от полынного аромата и суховеев, погожий день, и вся станица, от мала до велика, вывалит на крепостной редут. Полковой горнист протрубит сигнал о параде. Музыканты оденут на шеи медные хомуты пронзительных труб, и круглый, как божья земля, барабан деда Тараса дико и властно загрохочет в каленом степном просторе.

И когда зарыдает золотой кларнет в печальном и торжественном марше «Тоска по родине» и старый барабанщик смахнет с мохнатых седых ресниц слезу, тогда выведут под уздцы его, злого, еще не остывшего от бега коня на просторный лагерный плац. И, зябко подрагивая от волнения своими поджарыми бедрами, требовательно кося агатово-огненный глаз, пройдет он в такт боевому маршу мимо разных там генералов, есаулов да атаманов. А степные конокрады, ярмарочные бездельники, казаки и цыганы с тоской и завистью будут смотреть, как поблескивают на солнце точеные раковины его копыт, как нетерпеливо просит он у своего седока повода, как играют под тонкой кожей его напряженно и радостно упруго пульсирующие золотистые жилки.

Ах, какой это конь!

Вот он мчится сейчас в стремительном звоном намете вдоль улицы, сквозь частую сетку дождя. Промелькнула пожарная площадь и головокружительная каланча с бычьим пузырем на

макушке, и веселый канареечный дом целовальника, и маслодельный завод, и колодец. Еще два квартала — и дома.

Потом, на секунду прислушавшись,—что-то замешкались там хозяева, долго не открывают, — он, осыпанный мелкой дрожью, пронзительно и тонко ржет на всю крепость.

И тогда на этот певучий и страстный зов иноходца отзывается из-за ворот знакомый, густой, добрый голос:

— Што за оказия?! — изумленно и озабоченно говорит, наверное, самому себе Платон Тимофеич Бушуев. И, лукаво прищурившись, он нарочно долго кряхтит, якобы с великим трудом отодвигая тяжелую задвижку на воротах.

Отцу, разумеется, и в ум не пришло, что это вовсе там не какой-то залетный степной рысак волнуется и бьет копытами в ворота, а самый настоящий, только промокший до нитки Силка. Ого, вот тебе и на, да его, оказывается, даже и родная мать не узнала! Ведь это она наставительно строгим, но только одной ей присущим грудным теплым голосом говорит отцу откуда-то из глубины сумрачных, пахнущих мятой и другими травами сенок:

— Ты смотри, поберегись там у меня, старик. Конь ржет што-то незнакомый и, должно быть, с норовом. Как бы ишо он тебя вгорячах-то не улягнул!..

— Я уж и то остерегаюсь, старуха,—отвечает ей отец и, чуть приоткрыв с преувеличенной осторожностью ворота, робко выглядывает в притвор.

Окантованное прочной проседью лицо отца обретает сначала пугливое, сумрачное выражение. И только за хитроватым прищуром глаз да под табачно-песочными усами и замечает Силка вечно таящуюся там, ловко припрятанную улыбку.

И не успевает отец раскрыть изумленного рта, как Силка стремглав шмыгает промеж широко расставленных отцовских ног и мчится во весь опор через сенки, мимо встрепенувшейся матери, летит карьером в горницу. Вот тут-то уж, на широкой, расписанной розами софе, и можно будет передохнуть, отдышаться, посидеть — ежели уж на то пошло — и нагишом подождать, пока мать, незлобно бранясь, выжимает до нитки промокшие шароварishки и вылинявшую, выгоревшую на солнце будничную рубашку. Ну, а там, глядишь, пройдет разбушевавшийся ливень. И тогда, кусок в зубы, да потихоньку сыпь через створное окошко, через палисадник, и поминай потом, как тебя звали до самых аспидно-черных сумерок...

Но до вечера еще далеко. А умытое вешним ливнем солнце припекает все ласковее и жарче. Правда, ноги уже точно налиты оловом — не поднимешь. Но если поразмяться как следует,

то они, пожалуй, еще поработают. И можно сбегать еще до заката в курью. И наесться там до отвалу прошлогоднего чакану и дикого луку. И разорить на крыше станичного правления и на колокольне гнезда галок. И попробовать маленько белены для того, чтобы похохотать потом немножко от этой веселой травы. А потом, если не полениться да захватить с собою железные лопатки и тяпки, то можно будет отправиться на крепостной редут и порыться там в столетних валах на счастье.

Вы, наверное, не знаете, сколько чудесных подарков и радостей хоронится в недрах древней, веками спрессованной земли. А стоит только там порыться поглубже и непременно наткнешься то на гнутую старинную саблю, то на фигурное стремя из бронзы, то на медную бляху и корявое пушечное ядро, а то и на тяжелую, литую из чистого серебра ханскую звезду!

А старый барабанщик, дед Тарас, и бывший гарнизонный горнист, кавалер дед Аре фий, совместно со своим другом кавалером Фонбароном Вашутиным — они тоже, как малые дети, пропадают в погожую пору целыми днями на этом редуте. Уютно примостившись за ветряком, мирно посиживают они на припеке, отогревают на солнце скупую кровь и рассказывают в сумерках присмиревшим от ужаса казачатам о том, как поймал атаман-казак Ива Черный Ус в этих самых валах лютую кокандскую ведьму и как летал он на ней в подземное царство молчаливого мудреца Тарангула, и сколько страху натерпелся в волшебных чертогах храбрый казак, и как он едва улизнул оттуда при помощи разных там заклинаний, заговоров и чернокнижных молитв.

Хорошо сказы сказывать дедам! Ничего им не страшно, должно быть, теперь, когда оттопали они родимую землю, когда исколесили они в походах великие степные просторы и вдоль и поперек, когда были они и в кульджинских, и в мервских, и в сергиопольских походах. И бил дед Тарас в свой барабан у чугунных ворот Хивинского царства, а гарнизонный горнист, кавалер дед Аре фий, поднимал тревожными трубными звуками казачьи полки в горячих песках Бухары, и в отрогах небесных Тянь-Шанских гор, и при осадах Коканда, Кастека и Узун-Агача. И поили они своих строевых коней и в колодцах мертвых пустынь Туркестана, и в стремительных реках голубой и пыльной страны Семиречья. И были наши деды, как говорится в присказке, бабьим пальцем мечены, чортом покалечены, ведьмами ворованы, колдунами кованы. Потому и хорошо им теперь рассказывать почерневшим от страха внучатам разные небылицы и не замечать на старости лет, как холодеют от ужаса у Силки

виски, как приятно и жутко разговаривают в лихорадке мелкие его и острые, точно у степного зверька, зубы...

— Едет ведьма на косе. За ней чорт на колесе. Если ты, казак, не трус — выдь навстречу, Черный Ус! — говорит старый барабанщик.

— Черный Ус ка-ак захохочет. Да ка-ак свистнет. Да ка-ак вскочит! Сквозь метель и сквозь буран скачет к чорту атаман... — продолжает, грабастая сумеречный простор кащеевыми руками, кавалер дед Арефий.

И не видать, должно быть, конца страшному дедовскому рассказу. А на веках у Силки уже лежат тяжелые медные пятаки, и весь он сидит, точно скованный, зябко поеживаясь не то от холода, не то от поработившего его страха.

И вот уже подернулась сумраком степь, и стала вдруг она совсем незнакомой, чужой, таинственной. А в прогорклой от кизячного дыма мгле того и гляди, что увидишь со свистом летящую через крепость на огненном помеле кокандскую ведьму. И не приведи бог нечаянно оглянуться в эту пору на угрюмо маячивший в траурно-темной дали генеральский памятник. В нем зажигается каждую ночь с наступлением сумерок сам собою светильник, и до рассвета кто-то поет там печально и глухо не то старинные казачьи походные песни, которые любил, говорят, когда-то мертвый генерал, не то какие-то духовные псалмы.

Хорошо бы, конечно, послушать, о чем напевает в склепе неведомый тихий голос. И если подрасти еще маленько, то можно и на это храброе дело рискнуть. А пока не следует заглядываться по сторонам — благо отяжелевшие веки сами собой слипаются, и давно уж им приказано совсем сомкнуться и спать.

И ноги почему-то деревенеют все больше и больше, еле передвигаясь за барабанщиком и горнистом след в след.

И возвращаются из крепостных руин в сонную станицу, разбредаются они, старые, очень старые казаки и малые казачата, по домам, каждый своей дорогой. Бредут они в глубоком раздумьи, погруженные каждый в свой особенный мир.

Теперь Силке только надо пробраться невредимым через темные, пахнущие парным молоком и сухими травами сени, где тихо от притаившихся в углах призраков. И если пройти через эти сени на цыпочках и не открывая крепко зажмуренных глаз, то все будет хорошо. И тогда можно спокойно примоститься рядом со спящим на голбце отцом, крепко прижаться к большому теплому телу родителя, и там уж ничто тебе нипочем.

И Силка в потемках чутьем и ощупью находит на голбце доверительно откинутую руку отца и, кубарем свернувшись,

ложится с ним рядом. И ребенок жадно вдыхает родной сложный запах волосатой, теплой и доброй родительской руки — запах печеного хлеба и пота, запах камышных озер и пригретой солнцем земли.

А отец, неосознанно ощутив сквозь сон волнующую близость сына, не просыпаясь, заботливо прикрывает его полой ветхого зипуна и одним неясным, слабым движением руки сладко прижимает это кровное, маленькое, хрупкое тело к своей груди.

И тогда, может быть, только какую-то долю секунды, бессознательно насторожившись, слушает притихший у отцовской груди Силка, как невнятно шумит, шелестит и барахтается что-то там за окном в теплой и темной ночи. И бог знает, откуда возник этот слабый, баюкающий, дремотный шорох.

Может быть, это резвится, играючи в кустах жимолости, ночной зверек — ласка, тот самый белый зверек, который приносит, прижившись к дому, покой, достаток и настоящее счастье.

А, может быть, роясь в поисках червяка в ароматной, рыхлой земле, это озорует какая-то птаха.

Или это, может быть, шелестит копеечной листвой добрый силкин погодок — самая малая и самая белая в палисаднике березка — та, которую посадил, говорят, в день рождения Силки, его отец.

И, может, шепчет в эту минуту силкин погодок на веселом своем языке засыпающему у родительской груди близнецу такое: «Спокойной ночи тебе, дорогой мой сверстник и друг! Спокойной ночи, мой беззаветный товарищ! Спокойной ночи...»

А в это время там, в глухой и далекой степи, начинает уже невнятно светлеть недоступная кромка мглистого неба. То занимается где-то за тридевять земель новый, грядущий в степные просторы день, и благословляет он наших сверстников на новые радости и удачи.

XII

Все тут было как в песне.

Колдовал в облаках неяркий ущербный месяц.

Уходил в жемчужную полумглу широкий пустынный шлях.

Горько пахло сухой прошлогодней полынью. Плыл с окрестных озер приглушенный, тревожный и радостный шум: великая кипела в эту минуту там, в камышах, у птиц работа. Это трудились они, возвратясь из далеких странствий, над строительством надежных и теплых гнезд.

И, как в песне, скакал в этот поздний полуночный час казак через долину, через родимые края. Скакал казак, припа-

дая к окантованной медью луке. Скакал казак. И нетерпеливо, проворно и зло работал он мягкими, смазанными ворванью поводами, горячил подборами смотровых сапог своего коня. И, едва касаясь земли звонкими, обточенными рашпилем копытами, нес его конь туда, в глубинную степь, где залегли под увалами закутанные в вишневые сады хутора и села переселенцев с далекой Украины.

Скакал казак напрямки, через полынные пустоши, через ковыльную целину, без дороги. И чем ближе был украинский хутор и белая хата с заветной вербой под оконцем, тем сильнее и горше билось под новенькой гимнастеркой молодое горячее сердце казака.

А на окраине хутора, за ветряком, поджидала его, чутко прислушиваясь к ночным шорохам и звукам, дивчина Ксана Руденко. И ростом она была не то, чтобы велика, и годами не так уж богата. И ни нарядом, ни именем, ни говором, ни повадками, — ничем не напоминала она станичных девчат и невест.

В бордовом, по-бабьи повязанном кашемировом платке, в коленкоровой кофте с вышитыми гарусом розами на груди и на пышных буфах, в легких сафьяновых полусапожках на кованых каблучках, — во всем этом непривычном для казачьего ока наряде и ждала наша дивчина припоздавшего в пути казака. И то ли ради воскресного дня, то ли ради него, залетного гостя, одела она на смуглую шею самые что ни на есть лучшие свои, дутые из цветного стекла бусы, а в тяжелую русую косу заплела полдюжины ярчайших, играющих в радугу лент.

Нарядилась так Ксана Руденко еще перед самой обедней, с утра. И как только глянула на себя в осколок зеркала, так потом на весь день замерла и притихла. Никогда еще не примечала она за собою такой дивной красоты и такого тревожного в очах блеска, что стало вдруг отчего-то сумно на сердце.

И, может быть, потому, оставшись в прохладной, чисто прибранной хате, впервые за все свои семнадцать лет вдоволь наплакалась она в это пустое, праздное, до боли яркое утро. А потом целый божий день так и не знала Ксана Руденко, куда же ей деться от смутной тревоги, тяготившей ее собственной красоты. И, едва выждав сумерек, пробралась она за хутор к одинокому ветряку и стала поджидать в темноте своего казака.

Поджидала наша дивчина затерявшегося в чистом поле казака. До боли в очах вглядывалась она в ночной простор степи. Чутко прислушивалась: не гудит ли под кованым конским копытом пустынный шлях, не плывет ли над степью приятный и легкий звон цепного повода недоуздка...

Поджидала дивчина залетного казака и дивилась сама собою. Чудно ей было теперь подумать о том, как совсем еще недавно страшилась тайно выйти она в такую позднюю пору за окраину хутора не то что одна — нет, а даже в кругу дивчат. Ни, не дай боже! Как же можно шляться в полуночный час вдали от родного хутора, в степи? Как же можно, если слухи ходили, бродили окрест по ночам беглые с действующей армии солдаты, шлялись близ шляха цыганы и конокрады. А то и свои хуторские хлопцы могут насмерть напугать. Да мало ли там какая нечистая сила сторожит одинокую дивчину в глухой степи в такой неурочный час!

Но свела судьба Ксану Руденко с лихим казаком этой весной на шумной станичной ярмарке. И не узнавала после этой встречи наша дивчина сама себя. Ах, зачем только сдуру, нечаянно приветила она его неясной своей улыбкой! И зачем эта великолепная ярмарочная карусель, и это полдневное солнце, жарко игравшее в позументном ее убранстве?!

И все это было, как во сне.

Как во сне, было Ксане Руденко и сумно, и радостно вдруг очутиться лицом к лицу с этим картинным парнем. И никогда уж теперь не забыть ей ни табашного кудеря, что упал на его висок, ни взбекренившейся над пышным чубом касторовой казачьей фуражки, ни тяжелых, будто кованых его бровей, ни тревожной и смутной, как у колдуна, улыбки...

Улыбался Ксане Руденко молодой казак.

И Ксана Руденко откровенно улыбалась в ответ казаку. И позабыла она в такой момент обо всем на свете: и про собственную бричку с картошкой, что доверил ей во временный караул отлучившийся по базарным делам отец; и про то, что волы не поены; и про то, что в толпе ярмарочных зевак толкался около карусели хуторский хлопец Микола Чумак и любовался на всю эту живописную картину.

А когда взыграла на высокий лад тростниковая дуда и горестно приник головою к плечу слепой скрипач, а веселый лилипут свирепо, с веселым отчаянием забил своим крошечным кулачком по звонкому бубну, — вдруг закачалась, поплыла, закружилась вихрем святая земля, и прикрыла тогда от страха Ксана Руденко пепельные свои ресницы.

— Ой, мамо, мамо!

Уж не подхватили ли это нашу дивчину нечистые силы?! Не поднял ли ее над всей ярмаркой, не понес ли под самые облака недобрый и буйный ветер?! Вот он свистит в ее ушах, звенит бирюзовыми ее сережками, рвет и треплет в косе бордовые, поднебесные, фиолетовые и оранжевые ленты. А там, где-то высоко-высоко, вверху над головой заливаются до слез в бахроме и стеклярусе бухарские колокольчики. Поют

карусельные сваи и тросы. И то замирает, то снова начинает оглушительно грохотать в крошечных руках карлика трензевый бубен.

И не слышно уже ни скрипки, ни тростниковой дуды. И ничего уже нельзя понять ни в этом волшебном грохоте и свисте, ни в самой себе... И, как на пасхальных качелях, до боли сжимается, замирает, останавливается у Ксаны Руденко сердце. И, как на качелях, готова она, дрожа от ужаса и радости, броситься сейчас плашмя на руки к казаку, только бы не сорваться в эту минуту в бездну, только бы удержаться в этой чертовой люльке, только бы не потерять совсем и без того вскружившейся головы...

Но не успела Ксана Руденко подумать об этом, как, сама не понимая того, чудом вдруг оказалась с казаком рядом: то ли она бросилась, зажмурив глаза, к нему, то ли он пересел в ее беседку. И, прижавшись плечом к плечу, мчались они теперь, сломя голову, неведомо куда. Летели сквозь какой-то ликующий вихрь бахромы, позумента и гаруса. И плевала теперь Ксана Руденко на то, что на всю эту музыку пялил свои алтынные очи Микола Чумак, поскликав к каруселе со всего базара хуторских хлопцев.

Нет, ничего не видала наша дивчина в этот момент, кроме веселого казачьего чуба, хоть и широко открылись большие ее, посиневшие, как вешний степной вечер, глаза. И хоть голосил ей в лицо и вслед что-то непристойное Микола Чумак и горланили, насмехаясь над нею, хлопцы, — ничего не слышала Ксана Руденко, кроме вполголоса сказанных на ухо слов казака:

— Ты откудова будешь такая... а?

— А вам-то що до мэнэ за дило? — шептала в ответ казаку и сама дивилась своей храбрости Ксана Руденко.

— Стало быть, интерес при себе какой-то до вашего обличья имею... Откройтесь мне. Не томи. Монпасьей угощу. Вот пожалуйте... шадринский пряник на чистом меду. Получайте. Кушайте за наше с вами добренькое здоровье... — ворковал ей на ухо Агей Бушуев.

И, придерживая дивчину одной рукой за крутое, горячее плечо, другой — вытащив из кармана парадных, с лампасами, шаровар огромный медовый прянник и круглую жестяную баночку со слитыми монпансье, все это роскошное ярмарочное угощение решительно сунул в маленькие девичьи руки.

— Подчуйтесь. Не стесняйтесь с меня, дорогая незнакомка. Я ж до вас от всего казачьего сердца... — не унимался Агей и привлекал к себе дивчину все надежнее, все смелее.

А она, машинально приняв даровое лакомство и, из приличия, конечно, даже не дотронувшись до него, кружилась

уже ни живой, ни мертвой. И, не смея поднять больше досиня раскаленных глаз на своего расточительного ухажора, скупо, с притворной досадой отвечала на настойчивые его расспросы.

— Ну, признайся ж, дальняя будешь? — все горячее и злее нашептывал в порозовевшее девичье ухо Агей Бушуев.

— О, якый, кажу я, вы любопытный!

— Очень даже... — почему-то смутившись, признался Агей и зачастил: — Ну, скажи ж мне, за ради бога. Не таи же. Слышишь? А то ведь сейчас и карусель встанет... Очень дальняя?

— Отсюдова не видать...

— Да я ж не шутейно, барышня, вас пытаю. С хутора, што ли, родом-то будешь али отрубная?

— Ну — с хутора. И шо тут такого?

— С какого хутора-то? Ответь ты мне сердечно.

— Да шо вы до мэнэ прийсталы! Ну, с Ольговского... — ответила она с напускным раздражением.

— С Ольговского?! — крикнул, на секунду даже отпрянув от Ксаны, Агей и, точно узнав в ней давнишнюю свою подругу, так крепко стиснул ее за плечо, что она даже глухо ахнула и впервые посмотрела на него в упор полным изумления и неизъяснимой радости коротким, тотчас потухшим взглядом.

—С Ольговского?! — повторил Агей и опять зачастил в еще более порозовевшее девичье ухо: — Так ведь — это ж рукой подать! Двадцати пяти верстов от станицы не будет. О, да я ж до тебя каждую субботу на вершной могу катать, зажмурясь!

— Эге! Якый вы, козаче, прыткий...

— Ей-богу! — ажно перекрестился на глазах у честной толпы Агей. — Да ты не думай. Конь у меня строевой, резвый... на таком рысаке приза брать вполне возможно. Он только по причине раковин в задних копытах в действующую армию под братенком не ушел... Да ведь я ж на нем как урежу — в один секунд, можно сказать, против твоей хаты — как в песне — по всем правилам полевой службы спешусь... Ну? Согласная ты на такой уговор, хохлушка?

— Ни. Ни. Ни, — испуганно забормотала Ксана.

— Да ты не бойсь, не пужайся меня. Вот дура... Да ведь нас с вами никто не увидит, барышня. Я ж могу до вас по секрету. Согласно правил военного времени — только ночью...

— Ни. Ни. Ни, — упрямо твердила Ксана. — Ни. Не надо говорить мэни такого. Не надо. Не кликай лиха. Не доводи мэнэ до такой беды, козаче... — почти умоляюще полушептала она. И смуглое, в глухом жарком румянце лицо ее

вдруг обрело следы мертвенной бледности и так нездорово и ярко блеснули глаза, точно мгновенно наполнились они горячими, готовыми вот-вот брызнуть слезами.

И впервые, робко приглядевшись к мелькающим мимо ярким праздничным нарядам, к чужим и знакомым лицам, — только сейчас поняла наша дивчина, что давным-давно, оказывается, замолкла тростниковая дуда, а слепой скрипач мрачно канифолил смычок, и карлик, потихоньку бранясь про себя, торопливо привязывал к бубну оторвавшийся трензель. Карусель кружилась в странном безмолвии все тяжелее, все медленнее, точно это была какая-то огромная подбитая птица, бессильно размахивающая своими цветными крыльями. И пышный, расточительно украшенный галуном и стеклярусом оранжевый шатер все дремотней, все тише и тише позванивал шеркунцами и бухарскими колокольчиками.

И стало вдруг Ксане Руденко так неуютно, так тяжко и скучно на сердце, что, едва удержавшись от беспричинных неожиданных слез, выпрыгнула она на ходу из люльки и, не подняв смущенной головы, нырнула в крикливо яркую ярмарочную толпу и бросилась со всех ног к своей бричке. Непонятный, непривычный страх завладел в этот миг ею. И захотелось ей немедленно вырваться из этой веселой от безделья и праздности толпы, уйти куда-нибудь в степь, на лихой ветровой простор, на волю. Убежать, скрыться куда угодно, только бы не видеть больше темных, с поволокою, казачьих глаз, только бы не слышать колдовского, хмельного и властного его голоса...

А он — как на зло — разыскал-таки под вечер спрятавшуюся под бричкой нашу дивчину и сказал ей вполголоса мимоходом такое:

— В субботу наведаюсь. Выходи вечерянкой за мельницу. Встренемся там с вами, барышня, вполне секретно...

Ничего не ответила в этот момент казаку Ксана Руденко. Но с какой невыносимой тоской, с каким страхом и болью ждала она субботнего вечера и первой зеленой звезды, что зажигалась в оконце родимой хаты, и первой протяжной песни дивчат, уходящих с хлопцами на ночные игрища... И как только потускнели, поблекли розовые от заката закрайки степных озер и прокричала впервые вдали ночная птица, в этот назначенный час, холодея от страха и радости, и пришла к заветному, милому ветряку Ксана Руденко.

Так случилось с месяц тому назад.

И с тех пор все субботние вечера и воскресные ночи проводила наша дивчина на окраине хутора вдвоем с казаком и вполне, как он говорил, секретно.

Вот так же вполне секретно встретились они и в сегод-

няшнюю ночь. Чуть заслышав во мгле дробный топот копыт бушуевского коня, замерла Ксана на мельничной лесенке, как неживая.

А всадник, щегольски спешившись перед нею, стремительно окольцевал правой рукой горячую девичью шею, и замерли они, не дыша, в воровском, беззвучном затяжном поцелуе.

Теплые, обнаженные по локоть руки девушки доверительно легли на плечи Агея. Она прижалась головою к прохладной его груди и притихла, точно прислушиваясь к набатному гулу молодого казачьего сердца. А он жадно целовал полуоткрытые ее глаза, остуженные росою виски, влажную косу, целовал и нашептывал в девичье ухо что-то такое, чего не слышал и не понимал даже сам...

И ничего не слышала и не понимала в такую минуту и Ксана Руденко. Как слепая, покорно подошла она вслед за Агеем к его коню.

И Агей, мгновенно вскочив в седло, легко поднял ослабевшую дивчину на уровень своих плеч и, точно полонянку, усадил ее на седло с собой рядом. Маленькая и хрупкая, она полулежала в казачьем седле, прижавшись пухлой щекою к груди Агея и цепко ухватившись тонкой рукой за его плечо.

И поехали они в мглистую степь.

Конь брел через придорожную полынную пустошь мерным, дремотным шагом. Кругом было пустынно и тихо. Высоко, стороной, в обход хутора, проходил в необжитых просторах тонкий ущербный месяц. Мягко поскрипывало под нашими седоками новое, приготовленное к дальним походам седло.

И Агей, бережно придерживая обеими руками притаившуюся у него на груди девушку, не отрываясь, смотрел потускневшими от счастья и горечи глазами на мягкий профиль смуглого ее лица, затаенно любовался тяжелой, влажной ее косой и роскошными, шелестящими от одного дыхания лентами, любовался и вполголоса говорил не то дивчине, не то самому себе:

— Вот и мой пробил час. Через девять ден наказной атаман назначил смотр нашему эшелону. А там — зачем не видишь — и в поход. В действующую армию. И тогда расстанемся мы с тобой, моя хохлушка, возможная вещь, что навсегда. Навеки.

— Мабуть, навсегда. Мабуть, и на вики... — чуть внятно шептала Ксана Руденко, еще тесней и теплее прижимаясь к его груди.

— А кабы не поход да не сражения, — одевать бы тебе, барышня, газовую фату и роскошное подвенчальное платье... Слышишь?

— Слыйшу. Слыйшу. Говори. Говори, козаче... — просяще шептали девичьи губы.

— ...одевать бы тебе газовую фату и разные цветы на заколку, и роскошное подвенчальное платье, и шлейф до него в три аршина, — упоенно продолжал Агей Бушуев. — И постановили бы нас с тобой рядом под золотые венцы, и понадевали бы нам на головы великолепные короны. И повел бы нас с тобой станишный наш поп Филимон вокруг да около серебряного аналоя. И начались бы у певчих про нас с тобой разные пенья да песнопенья. И одел бы нам на руки батька червонные кольца. И такая бы разыгралась потом на нашем брачном пиру кадрель, такое бы забушевало в сибирской степе гульбище, такого бы дали сваты наши жару и пару, аж весь бы божий свет закружился в очах у линейного населения! Эх, уж вот задали бы мы бал — чорт бы с печи упал. И подрались бы в пылу и хмелю сваты и сродники наши вполне полюбовно. И песняка бы рванули хохлы со станишниками такого, штобы все какие там ни на есть лампы и «молньи» во всех горницах разом потухли! И началось бы вокруг нашей с вами пары ликование, рыдание и целование. И не расстались бы мы с тобой с того часу, цветок мой лазоревый, вовеки. И дыхнуть бы я на тебя не посмел, на живописный твой стан, на приятное твое обличье... И ничего для меня не значит, что чужих ты, скажем, кровей. Плевал я на всякие суды да пересуды про то, што ты по натуре хохлушка. Нет, не сомневайтесь собой и происхождением своим, дорогая моя полынка! Да я ж вас в собственные метрики запишу. Казачкой станешь. Все устроено будет вполне законно, по артикулу. Оказачитесь вы за мной, барышня, в полной форме... Не томись же со мной. Не пужайся моего сословия. Свыкнешься. Слюбишься...

Так говорил в эту ночь своей возлюбленной дивчине счастливый молодой казак Агей Бушуев. Так говорил он ей, едучи с нею в седле по глухому пустынному полночному полю.

Было очень пустынно вокруг. Очень пустынно. И очень тихо. Попрежнему высоко, стороной шел в необжитых просторах тонкий ущербный месяц.

Так говорил Агей Бушуев Ксане Руденко и потом, уже на рассвете, лежа с утомленной от жарких ласк и крепких объятий девушкой на раскинутой близ степного кургана походной попоне. Так говорил он ей, хотя и отлично знал, что не суждено им будет одеть под троицу золотые венцы, не носить роскошные, подбитые алым бархатом короны и не кружить за станичным попом Филимоном вокруг да около серебряного аналоя.

Нет, не до газовой фаты, не до роскошного подвенчального платья было теперь Ксане Руденко. И не до свадебных пиров и гульбищ было в такую минуту молодому, подтянутому, готовому к далеким и трудным походам казаку. Знали оба они, что подходит к концу короткое, воровски припрятанное от людского ока их счастье. Похищала у них это счастье война. Разлучала их действующая армия. И ни зги, ни просвета не было видно для Агея Бушуева там, впереди, куда уводила его из родимых мест досрочная мобилизация. Потому-то он вдруг и умолк, не зная, что можно сказать в горький час расставания своей возлюбленной.

Молчал линейный казак Агей Бушуев.

Молчала и возлюбленная его Ксана Руденко.

И все скупей, все грустней и невнятнее светил издали тонкий ущербный месяц. Шла неслышно на убыль теплая, дивная майская ночь.

А взгрустнувший казак и заплаканная дивчина, тесно прижавшись друг к другу, молча лежали среди тонко позванивающих в предрассветном сумраке ковылей. Лежали они, не двигаясь, почти не дыша. И было похоже, что прислушивались они в эту минуту к глухим и неясным пророчествам темной своей судьбы.

Тихо было в степи.

Очень тихо.

XIII

В канун вешнего Николы всполошило бушуевский дом недоброе известие. В этот умиротворяюще тихий предпраздничный день пришли в станицу Пресновскую из действующей армии тревожные письма. И в каждом из этих писем сообщалось о том, что в ночь на 17-е апреля 1916 года без вести пропали двое казаков — Шебанов Корней и Агап Бушуев. А в некоторых письмах прямо говорилось о том, что оба одностаничника бежали с фронта.

Одновременно с письмами казаков в станичном правлении была получена официальная бумага из штаба 4-го Сибирского георгиевского Ермака Тимофеевича казачьего полка, подтверждающая дезертирство упомянутых казаков. Начальник штаба полка есаул Катанаев ставил в известность станичного атамана о факте побега этих двух казаков и предупреждал последнего, что, ввиду павшего на них подозрения в убийстве полковника Дашкова, оба вышеозначенные дезертиры, в случае их обнаружения, подлежат немедленному аресту и преданию военно-полевому суду. В постскриптуме есаул Катанаев рекомендовал станичному атаману привлечь к ответу за

сыновнюю измену царю и отечеству и родителей дезертиров, избрав для оных меру наказания по усмотрению самого станичного общества.

Эта черная весть поставила на ноги всю станицу.

В полдень на всех перекрестках, в крепости, у станичного правления, на площади, — везде и всюду толпились ошарашенные старики. Беспокойно сновали по улицам одетые перед полковым смотром в походную форму молодые казаки. Шмыгали из двора во двор юркие, податливые на сполох бабы. Стоял по улицам возбужденный, глухой, подавленный разговор.

Тихо было только в доме Бушуевых.

В просторной, чисто прибранной горнице собралась вся немногочисленная, скликанная бедою бушуевская семья. Был здесь, казалось, сразу постаревший, на глазах осунувшийся Платон Тимофеич. Сидела с ним маленькая, высохшая от скорби родительница Агафья Андреевна. В сборе были и все трое детей: возмужалый от походной полковой формы Агей, шустрая, изумленно смотревшая на мир семнадцатилетняя Иринка и непривычно тихий до робости Силка. Тут же была и сноха Бушуевых, ипокровная, не по-бабьи гибкая станом, жена Агапа — Марина.

Все сидели молча, поникнув, не проронив ни слова.

Присмирел, точно чужой вдруг стал в этом доме, Силка. Сияя от счастья и радости, он только что шумно ворвался в горницу с ведром выигранных у сверстников бабок. Но едва переступив порог, он понял, что старшим не до него. И потому, мгновенно забыв о бабках, неслышно пробрался он к сундуку, осторожно примостился на нем рядом с Мариной и помрачнел, как все старшие, насторожился, притих. Не мигая, смотрел бушуевский последыш своими огромными чистыми глазами на оскорбленно сгорбившегося отца и чувствовал, что случилось что-то недоброе. Недаром же так безучастно и тихо роняла мать в концы старенького кашемирового подшалка знакомые Силке, соленые на привкус, теплые слезы. Так беззвучно плакать могла она только в минуты большого горя.

И Агея теперь не узнать: нехорошим, чужим, блуждающим взглядом смотрел он, потупясь в пол, и вяло покручивал пальцем хмельной свой табашный кудерь.

Поникнув, робко поглаживала смуглой ладонью, заплетенные в два ручья, каштановые свои косы Иринка.

Тревожно блестели у Марины темные глаза, и трудно было понять: не то полны они были в эту минуту горячих невыплаканных слез, не то так горели от скрытой внутренней радости...

В доме было так тихо, как бывает тихо только в канун больших праздников. Пахло свежей известкой, геранью, лампадным маслом и еще не просохшими, чисто выскобленными сосновыми полами. Печально и тонко, очень печально и тонко позванивали где-то на кухне водяные капли, мерно падающие в порожний оцинкованный таз из медного, ярко начищенного рукомойника. Строгий, почти монастырский уют и почти до скуки келейная чистота была здесь во всем, от тускло поблескивающих, крытых эмалью, потолков, до коленкоровых с прошвой оконных занавесок.

Домочадцы сидели молча, погруженные в самих себя, забыв друг про друга. И никто, кроме Силки, даже не заметил бесшумно вошедшего в горницу дряхлого заспанного кота. Кот постоял в нерешительности среди пола, недоуменно поглядел из-под дремучих седых бровей на притихших хозяев и, видимо, ничего не поняв толком, вышел все тем же дремотным и скучным шагом вон.

Так, быть может, и просидели бы до самого вечера бушуевские домочадцы, если бы не ворвался в дом станичный десятник Буря и не всполошил бы одним своим видом и без того перепуганной семьи. Босый, в драных форменных шароварах с выцветшими лампасами, весь какой-то необычайно взъерошенный и измятый, Буря влетел в горницу так, словно занесло его в гулко распахнутые двери ураганом. Он хлопнулся с разбега рядом с Платоном Тимофеевичем на софу и, не успев отдышаться, беспокойно озираясь и точно прислушиваясь к собственным словам, вполголоса зачастил:

— Вот грех какой. Вот происшествие. Нажил, должно быть, Агап-то Платоныч в действующей армии лихой беды. Скоро-то не расхлебаешь, одностанишник... А какой казак был! Хват. Орел ведь, чисто!

И, перейдя на полушопот, скороговоркой сообщил:

— Сейчас сам атаман военного отдела в станишное управление прибыл. Шальной. Спаси, матерь божья. Чуть не нагишом, понимаешь, в присутственно место явился. Прямым маршем из бани. Аж банный лист в бороде застрял. Прилетел. Орет. Мать. Перемать. И так, стало быть, и дальше. Совсем ошатунел. Носится по казарме, как конь из-под сбитого казака. Не подступись. Ослеп от ярости. То ли с жару, как бы это с их благородьем, што ли... Крутится перед миром, а у самого прореха в касторовых шароварах настежь, и, почитай, вся стремялюдия на виду. Некоторых воспожей женьшин, конешно, в сумленье вводит. Беда. Спасибо, драбант при их был. Сашка Курташ. Трезвый. Так он изловчился и так это с вывертом, на ходу незаметно, сукин сын, их благородию форменны пуговки застегнул, привел это место в божий по-

рядок... Вот норов! Гужи рвет. Спаси, матерь божья, што только за происшествие там у нас сей секунд происходит!

— Што ж, небось, их благородье меня требуют? — не глядя на Бурю, глухо осведомился Платон Тимофеич.

— Форменно. Вот и именно — тебя, восподин станишник, и... вместе с сынком приказано в срочном порядке к станишному управлению доставить... — отрапортовал Буря с некоторым испугом и как бы с радостью. Он тут же вскочил, вытянул руки по швам и, точно на часах, замер. По всему чувствовалось, что десятник только и ждал от старика этого прямого вопроса, так как сам не имел храбрости заявить об атаманской воле, испытывая некоторую неловкость, невольно очутившись в роли конвоира отца и сына Бушуевых.

— Батюшки светы! Старик! Сыночек!.. Да за какие это такие грехи-то опять нас терзают?! Господи! Милостивый! — звонко всплеснув сухими ладонями, протяжно и страшно, как над усопшим, вдруг заголосила Агафья Андреевна. И было похоже, что только сейчас, сию вот минуту, поняла она смысл случившегося, и, не найдя больше слов, растерянно заметалась от старика к сыну.

— Ка-ак ты сказал? Вместе... с сыном? С Агеем? — прошептал с тревожным изумлением старик, не спуская дико округлившихся глаз с бесстрастного, точно воскового лица Бури.

— Так точно, восподин станишник. Вместе. А потом ишо и сношку вашу приказано с собой захватить... — неожиданно для самого себя выпалил Буря и тут же потупился, встретившись с прямым взглядом Марины.

— И меня?! Здравствуйте, ваше благородье, я вас не узнала... Вон чего! И бабу ему подай на расправу! — преувеличенно громко и, казалось, даже обрадованно сказала, будто тотчас же очнувшись от какого-то глубокого забытья Марина.

На секунду Буря даже опешил и от тона, каким Марина произнесла эти слова, и от ярко блеснувшей на вишневых губах этой женщины улыбки. И, глядя на нее в упор, он смешно и жалко помигивал своими бесцветными, полуосыпавшимися старческими ресницами и не знал в эту минуту, куда деть своих босых, неспокойно переступающих на цветной половичке ног. Однако, оправившись от великого смущения и радости, Буря с несвойственной ему решимостью и повелением вдруг заявил:

— Я знать ничего не знаю. Не мое это дело. Да. А приказано их благородьем — собирайтесь. Да живо. Без разговоров!.. — отрезал Буря и сам удивился тому, как это мог он выговорить такие грозные слова.

— Ого! Да и ты у нас, господин десятник, выходит, с бабами-то храбрый?! — притворно изумившись, сказала Марина и, порочно улыбнувшись неяркой, смутившей Агея улыбкой, так посмотрела на Бурю, что тот даже прикрыл глаза.

Тогда Марина, повернувшись к свекру, подчеркнуто спокойно и строго добавила:

— Я не знаю, как вы с Агеем, папаша, будете являться по атаманскому указу али нет, — мое дело сторона. Только я к ним не пойду. Не обессудьте уж меня, восподин десятник. Не могу пойти. Не таковская.

— Бог с тобой! Сношка... Маринушка! — задыхаясь от страха и слез, умоляюще проговорила Агафья Андреевна. — Опомнись! Да мыслимо ли нам, в такой час, перечить самому отдельскому атаману?!

— В какой час, мамаша? — с тем же спокойствием и наигранной наивностью спросила свекровь Марина и, опередив ее, добавила: — С каких это пор жена за мужа стала ответчицей? За какие грехи? Али я его звала, али я его соблазняла?

— Ну, насчет соблазну ты помолчи маненько, дорогая сношка... — раздраженно заметил, сурово покосившись на сноху, свекор.

— А ты, окаянный, што лезешь?! Тебя ишо не спросились, перестарка... — неожиданно зло огрызнулась Андреевна, прицыкнув на мужа, и ласково, с трогательной теплотой и почти мольбою в дрогнувшем голосе вновь принялась уговаривать Марину: — Опомнись, сударынька. Не наводи ты на лишний грех их благородье...

— Я знаю... — перебила всхлипывающую, беспомощно и жалко суетившуюся около нее свекровь Марина. — Я знаю,— повторила она глухим, точно чужим, осекающимся от плохо скрытого гнева голосом. — Знаю я, мамаша, што там им, варнакам, от меня надо. Все знаю. Давно домогаются все эти господа есаулы и офицеры...

— Смирись. Покорися. Не губи ты нас. Голубка ты наша, Маринушка... — продолжала уговаривать, глотая слезы, сноху свекровка.

— Ну, полно, полно тебе, мамаша, — с легкой досадой в голосе сказала свекровке Марина. — Не малое ведь я дите, слава тебе, господу богу. Небось, знаю, што делаю. Не уговаривайте лучше за ради Христа меня. Никуда я не пойду. Никуда, — повторила она уже более твердо и решительно, искоса глянув при этом на потупившего глаза Бурю.

Комкая в сухих, маленьких пальцах концы ветхого каше мирового подшалка, Андреевна, умоляюще глядя на чуть по темневшее, полное явной решимости и глухого гнева, пре

красное в эту минуту лицо снохи, пыталась сказать ей что-то, но не нашла нужных, более сильных, убедительных слов, судорожно пожевала выцветшими губами и, отойдя в сторону, умолкла.

И снова наступило в бушуевской горнице тяжкое, вконец ошеломившее Бурю, безмолвие. Растерявшийся, смешной и жалкий, он все нетерпеливее и беспокойнее переступал с ноги на ногу, точно нестерпимо жег ему этот пол босые пятки.

А Марина, как ни в чем не бывало, деловито тряхнув передником, прошла по-девичьи легкой, беспечной походкой через всю горницу и остановилась около висевшего в простенке древнего, с потрескавшейся амальгамой, зеркала. И, словно тут же забыв обо всем на свете и не замечая присутствующих, принялась она с напускной внимательностью разглядывать неясное свое отражение. И вот откуда-то из полумглы смотрели теперь на нее сквозь паутину застаревших зеркальных трещин чьи-то, казалось, необыкновенно чужие и необыкновенно далекие глаза. Это были большие, очень большие и очень печальные глаза. И никому невозможно было понять, отчего так тревожно, так жарко и зло блестели они в эту минуту: от глухой ли тоски и горькой обиды за свою или чью-то чужую, но близкую сердцу судьбу? От застилавших ли зрачки ее горячих до накипи раскаленных слез? Или от неведомой и странной радости, которую, может быть, испытывала в себе эта женщина, несмотря на столь страшную, неожиданно свалившуюся на бушуевский дом беду?

А пока стояла она у зеркала, вглядываясь с какой-то болезненной пристальностью в эти, до страха чужие и далекие, полные великой и мучительной тайны глаза, пока поправляла чуть подрагивающими тонкими точеными пальцами собранную на затылке в тяжелый узел черную длинную косу, никто из присутствующих не проронил слова. Но в это же самое время никто не спускал с нее в эту минуту своих изумленно округлившихся глаз.

Но трудно было судить по таким привычно спокойным движениям Марины о том, что переживала в эту минуту она, узнав о пропавшем без вести муже. Нет, ничто не выдавало в ней сейчас ни страха перед грозившей атаманской немилостью, ни горечи об утраченном — и, может быть, навсегда — Агапе, которого, говорят, она любила; ни тоски, ни скорби, ни сколько-нибудь заметного волнения. И не потому ли так поразила в такую минуту всех присутствующих поведением своим Марина, что с детских лет приучена была наглухо замыкать она в таких случаях свое иноплеменное сердце? И никому подчас была недоступна затемненная от людского ока, замурованная колдовским наговором чужая ее душа.

Вот только разве одна в бушуевской семье золовка, по-девичьи горячо, безрассудно и преданно любившая свою сноху, — только одна она иногда, казалось, достигала великой тайны проникновения в эту чужую, непроглядную для других и глухую, как ноябрьская полночь, степную душу.

Потому-то, быть может, вот и сейчас, пристально глядучи на Марину посиневшими от грусти глазами, заметила Иринка, как нечаянно и неярко озарились вдруг румянцем щеки снохи и как слабо потом, почти незаметно, дрогнули при беглом взгляде на полковую карточку мужа густые и острые, как осока, ее ресницы. И поняла Иринка, что Марине не по себе. Знала молодая золовка, что дорогой ценой покупала сноха сию минуту это надменное спокойствие и что бесполезно было уговаривать ее теперь в повиновении атаманскому указу.

Знал об упрямстве своей снохи и свекор. Знал старик и втайне любил ее за это. Но сейчас он считал глубоко оскорбительным для себя явиться в станичное правление, во-первых, по принуждению и как бы под конвоем, во-вторых, вместе с бабой, — тоже соучастника в преступных деяниях нашли! Срам. Очей не подымешь. Ибо что же может быть позорнее для пожилого, степенного и как-никак почитаемого на Горькой Линии казака, что же может быть унизительнее и постыднее, как ни появление в присутственном месте, на миру, в обществе, перед атаманом военного отдела бок о бок с бабой, с низшим, так сказать, полом, да к тому же со снохой, да еще — чего уж там греха-то таить — с чужой по крови, сдуру приглянувшейся ныне опальному сыну полудикаркой, — что может быть оскорбительнее на старости лет, обиднее, горше?! О, господи! Владыко наш милостливый! За што, за какие вольные ли, невольные ли прегрешения покарал так жестоко ты убеленного сединами, близкого к закату дней своих старика?! Да, воистину темны и неисповедимы пути твои!..

И Платон Тимофеич, уже опасаясь, как бы сноха не надумала отправиться вместе с ним, вдруг вскочил на ноги, засуетился по горнице и приказал Андреевне:

— А ну, подай-ка мне, мать, полковой мундир. Потом — форменную фуражку со скобелевской кокардой. Потом — празднишны сапоги. Потом — бант с Георгием и за кульджинский поход медалью...

— Да к чему бы тебе это, старик, форма-то? Не на парад, не к молебствию собираешься... — попробовала было возразить, метнувшись к мужу, Андреевна.

— Што? Как это так — зачем форма?! — опешил Платон Тимофеич. — Да я што, на кыргызскую ярманку в Куенды,

по-вашему, с сыном-то собираюсь, што ли? Невежды... — и, передохнув от гнева, повелительно и строго приказал сыну: — Одевай, Агей, касторовы шаровары, смотровы сапоги и будь при полной боевой форме; да чуб-то тоже, смотри у меня, подбей — не к мужланам ведь на сход идем, а в присутственное место, в станишное общество! Мы, слава богу, с тобой ишо пока есть линейные казаки. Потомственны. И пусть их благородье, глядя на нас, это запомнит!

— Форменно, — пущай запомнит... — вымолвил, наконец, и Буря только для того, чтобы напомнить о своем присутствии, а одновременно показать, что он, в сущности, не ахти уж как робеет от недобрых стремительных оглядок чортовой этой бабы, Марины.

Между тем Платон Тимофеич проворно натянул на себя измятый, слежавшийся за долгие месяцы на самом дне сундука, разящий махрой и нафталином мундир. Поплевав на потускневшие от времени галуньи нашивки на рукавах, он старательно протер их сатиновым красным платочком и приколол на грудь спиральной булавкой потемневший репсовый бант с георгиевским, третьей степени, крестом и черной бронзовой — за кульджинский поход — медалью.

И пока, украдкой лившая слезу за слезой Андреевна, стоя перед мужем на коленях, наскоро пришивала к поле мундира ярко начищенную о каленый кирпич форменную, с двуглавым орлом, пуговку, старик успел тем временем и напитать деревянным маслом и без того пожелтевшие от него на голове волосы, и расчесать частым гребнем волос к волосу дремучую свою, но всегда аккуратно подбитую ножницами бороду.

Он приосанился. Одел перед зеркальцем слегка набекрень — невольная дань боевой молодости — тоже порядком помятую в сундуке форменную фуражку и, непроизвольно заглянув в зеркальце, видом своим вполне остался доволен.

Во всяком случае, Силке такой подтянутый, казалось, сразу же помолодевший родитель очень понравился. Отец выглядел совсем боевым, красивым, бравым. А Силка до сих пор почему-то думал, что такими живописными и статными из себя были только одни генералы да войсковые атаманы, но и те неживые, а нарисованные на картинках. Отец же теперь нисколько не уступал картинным генералам. Честное слово. Ему нехватало только эполет и голубой ленты-нагрудника. А, может быть, если бы срисовать его на картинку, то и он не подгадил бы, скажем, Скобелеву, Мищенко или Барклаю де-Толли. Вот тогда бы его тоже б можно, пожалуй, приклеить хлебными крошками рядом с божницей. «Эх, жал-

ко, что не бывает живых генералов!» — тяжко вздохнул Силка, любуясь из-за теплого иринкиного плеча отцом.

Когда все было готово, и Андреевна, пришив последнюю пуговку к стариковскому мундиру, перекусила звонкую нитку, Платон Тимофеич еще раз, как бы невзначай, заглянул мимоходом в зеркальце и затем сказал, кивая Агею:

— Ну-с, с богом, сынок. Пошли.

— И я с вами... — поспешно заявил Силка.

— Нету. Нету, — сказал строго отец. — Тебе никак нельзя этого, парень. Очередь пока ишо не дошла твоя, сынуха, слава тебе богу. Поживи ишо маненько по-своему... дома.

Потом старик бросил недолгий, прощальный взгляд на притихших своих домочадцев и на какую-то долю секунды задержал его на Марине. Но попрежнему не заметив в красивом и строгом лице ее ни тени волнения, ни скорби, ни горя, уже на ходу сказал Буре:

— А сноху у меня, восподин станишник, ты лучше не трогай. Не доводи до греха. Не под силу нам с тобой таковая работа...

— А я уж это вполне ятно расшифровал, Тимофеич... — признался, наконец, опасливо косясь на Марину, Буря. Только ведь ежели, скажем, их благородье захочет, то бабочке-то все равно не устоять. Так я понимаю.

— Ну, это не твоего ума дело... — откликнулась вслед десятнику Марина.

Дав дорогу Платону Тимофеичу и Агею, Буря посторонился в дверях и хотел, видимо, ответить еще что-то Марине.

Но она, резко повернувшись к нему в полуоборот, такими посмотрела на него глазами, что десятник поперхнулся, прикрыл глаза и поспешно засеменил из горницы вслед за хозяевами.

XIV

...Позднее, когда осталась Марина в горнице одна, она подошла к простенку, украшенному веером фотографических карточек и раскрашенных Силкой журнальных картинок.

Марина стала разглядывать эти картинки так, словно видела их впервые. И вставали перед ней из пороховой и снежной пурги проволочные заграждения, полусожженные города, страшные в своем разрушении деревни. О, какая ужасная бушевала метель в Карпатах! А сибирский казак — лить не вылить — в Агапа, несмотря на страшную пургу и лютый мороз, стоял, закутавшись башлыком, в дозоре, где-то на самом краю обрыва, у бездонной, зловеще чернеющей внизу пропасти. И Марина, пристально вглядываясь в этого казака, испытывала сейчас такое чувство, точно и в самом деле страшилась, как бы

не сорвался он по оплошности и не улетел бы, задремав, в эту кромешную бездну...

В другом месте, высоко в безоблачном, мертвенно чистом небе, рвались над вражескими окопами снаряды. Поливало шрапнельным градом беспорядочно отступающие, под натиском русских воинов, австрийские части. Валялись под копытами храброй сибирской конницы, смятые ею, переколотые штыками, перерубленные клинками неприятели. А по пустынному, изрытому снарядами полю бежали с детьми на руках обезумевшие от ужаса женщины, ковыляли, бог весть куда, выгнанные войной из насиженных мест старики. Кругом, по обочинам грязной, размытой осенними дождями дороги торчали перевернутые кверху колесами войсковые двуколки, застрявшие в грязи тяжелые орудия и походные армейские кухни. И все это был фронт. И все это была та действующая армия, откуда еще совсем недавно писал Марине Агап длинные, бестолковые, пахнущие далеким, чужим простором, пороховым дымом и в то же время его, волнующей агаповой близостью письма...

И вот подняла тогда на Агапа Марина отяжелевшие вдруг от слез и темные, как осенняя ночь, глаза. Вот он живой, настоящий, веселый и милый, хороший казак мирно сидел среди всех этих страшных картинок в великолепном варшавском кресле. А за спиной у него цвели и благоухали нездешние, неземные сады, и совсем по-степному блестело на солнце зимнее озеро, и плыла по тому озеру — как в песне — бела лебедь с лебедятами, со малыми со ребятами. О, как было прекрасно и загадочно там, позади Агапа, где виднелся неясно отраженный водою роскошный дворец или сказочный замок, и донага раздетая женщина, чуть изогнувшись, держала кувшин над плечом своим у парадного входа.

Милый, милый Агап!

И гимнастерка на нем была все та же, в которой ушел он два года тому назад на фронт вот отсюда, из этого самого родительского дома. Марина признала рубашку по криво прострочennой на вороте строчке. В тот августовский день — такой теперь далекий и такой тогда тревожный, сумный и ветряный, когда внезапно протрубил полковой горнист сигнал о походе, — тогда Марина, наспех дошивая мужу походную рубаху, неправильно вставила впопыхах в машину челнок и едва не свела на-нет всю свою работу. Но переделывать ворота было некогда, и она положила последний, приготовленный ею для мужа походный боевой наряд уже на ходу в его переметные сумы. И теперь вот, когда смотрела на Агапа Марина, он вставал перед нею в этой гимнастерке такой живой, улыбающийся, домашний, словно только вчера проводи-

ла она его с эшелоном по пыльной степной дороге, словно не остыл на жарких губах ее затяжной, нестерпимый, прощальный его поцелуй...

Точно заколдованная, смотрела на Агапа Марина.

А он, победно скрестив неуклюжие руки свои на эфесе поставленной перед собой шашки, хорошо и просто смотрел на Марину. Вот он даже, кажется, слегка улыбается — не то краешком губ, не то одними чуть-чуть прищуренными глазами. Так умел улыбаться когда-то в минуты их откровенной близости с Мариной только один он.

Но о чем он думал, пристально глядя с простенка на красивую от невыплаканной тоски и скорби свою жену?

Кто его знает, о чем он думал!

Может быть, хотел он сказать ей сию минуту о том, что горевать-то ей без него и убиваться шибко в разлуке не стоит. Да. Не стоит. Потому что не век же ведь будет тянуться эта зачем-то и кем-то затеянная война. И не всех в конце концов на ней калечат, пленят и убивают! Его же тем более не убьют. И покалеченным он не будет. И полонить его неприятелям никак нельзя. Не верит она этому. Не может этого быть. Не может. Вот если бы не любил он своей молодой, покинутой на далекой родной стороне жены, если бы не веровал в великую чистоту и силу любви этой — тогда другое дело...

Нет, он еще придет. Он вернется. Он придет из действующей армии, как приходят все казаки из полков, из походов, с позиций, с фронта, как приходят они все на рассвете. Обязательно на рассвете. Казаки любят этот ранний, умиротворяюще тихий предутренний сумеречный час. Недаром же и в песнях всегда умирают они на поле брани на рассвете и домой, после долгой разлуки, возвращаются непременно на утренней заре...

Так же вот и он, Агап, неслышно подойдет к родительскому крову в глухой предрассветный час. Он осторожно, очень осторожно постучится в окно и на сонный, тревожный оклик жены или матери отзовется нарочно чужим, притворно жалостным голосом, как отзывался бы запоздалый путник, жаждущий приюта, тепла и крова. И только чутьем, свойственным женщинам, немедля узнают его, и онемеют от беспричинного страха и радости они — его жена и мать...

Все будет именно так. И не может быть иначе. Ведь надо пожить им с Мариной на белом свете рядом друг с другом без войны, без походов и без этих безмолвных и потому страшных прощаний под походную полковую песню о зловещей буре, погубившей в Иртыше Ермака...

Нет, пора, пора подумать Агапу с Мариной о собствен-

ном счастье, о покое, о хозяйстве своем, о тишине. Да что там говорить — ведь, слава богу, и сына бы время уж им заводить да вспоить его, да вскормить, да на коня посадить!

Все будет так. Он вернется из действующей армии приказный 2-й сотни 4-го Сибирского георгиевского Ермака Тимофеевича полка, Агап Платоныч Бушуев. И если — может случиться и так — случайно встретит его среди станичной улицы, он легко и проворно подымет ее за руки в свое расстрелянное в сражениях седло. И пусть тогда люди добрые смотрят на них и видят все, как начнет он целовать на божьем миру пылающие виски жены, тяжелые и прохладные, выбившиеся из-под цыганского платка ее волосы да затавренные мглистым румянцем щеки...

...Может быть, это хотел сказать, пристально вглядываясь в жену с простенка, Агап Бушуев? Может быть. Во всяком случае и сама Марина была до сих пор убеждена в этом. И она, наглухо замкнув свое сердце, только и жила великой верой своей в такой исход долголетней тоски, одиночества и бессонных раздумий. Вот почему только сейчас, оставшись наедине с фотографическим обликом мужа, вдруг поняв и осмыслив случившуюся беду и, наконец, ужаснувшись, она прошептала:

— Што ж ты только наделал?!

Агап молчал.

И только немножко грустная, полузагадочная улыбка по-прежнему таилась то ли в его губах, то ли в мелких сбежавшихся морщинках у глаз.

Марина продолжала стоять перед его фотографией, неподвижная от охватившего ее отчаяния, от приступа ледянящей сердце тоски, и, не спуская с его облика мгновенно высохших глаз, казалось, ждала от него ответа.

Агап молчал.

В горнице было сумрачно и тихо.

Тихо было и за невнятно посиневшими окнами.

И только где-то далеко-далеко, должно быть, в другом конце станицы дремотно и нехотя плакал ребенок. А рядом, в бушуевской ограде, резвился, найдя себе новую забаву, Силка. Взгромоздившись на водовозную таратайку, он полулежал лицом ниц на огромной сорокаведерной бочке и, просунув белесую голову в квадратное ее оконце, звучно плевался и гикал в гулкую черную пустоту, вдоволь наслаждаясь при этом впервые испытываемым непривычным страхом. Время от времени он затихал. Но, вытащив с великим трудом застрявшую в узковатом отверстии бочки голову наружу и убедившись, что вокруг никого старших не видно, вновь с увлечением предался он нехитрой своей забаве.

Марина продолжала стоять перед фотографией мужа. Она погружена была теперь в полное забытье.

Вдруг в доме загремели чужие, тяжелые шаги. Дрогнув и невольно похолодев от страха, Марина обернулась к двери и едва сдержалась от непроизвольного крика.

На пороге стояло двое одетых в парадную войсковую форму рослых казаков. Это были престарелые, но еще не утратившие следов былой выправки лейб-гвардейцы — Кондрат Берников и Антон Копытин. Шумно обнажив тронутые ржавчиной клинки и не сводя с Марины старчески тусклых, но упрямо и дико устремленных на нее глаз, казаки взяли на-караул и бойко сомкнули пятки.

...А через четверть часа Марину вели под конвоем к станичному правлению.

Шла она под обнаженными клинками мрачных конвоиров все той же, присущей ей легкой, девически беспечной походкой. И престарелые гвардейцы, поминутно спотыкаясь, да то и дело теряя законную дистанцию и путая шаг, едва поспевали за нею.

Стороной, солидно заложив руки за спину, — где чинным и важным шажком, а где вприпрыжку, — тоже едва поспевал за необычайной процессией этой Силка. Иногда, забегая далеко вперед, он с великим интересом смотрел на презрительно спокойное, но попрежнему хорошее и доброе лицо снохи, а особенно — на пылающие от заката, взятые на-караул, клинки.

По пятам за конвоем, грозным с виду, валом валили бабы и девки. Толпа двигалась в глубоком безмолвии. И только слышен был в этом, почти бесшумном, немом шествии резкий хромовый скрип чьих-то модных ботинок да шуршание и шелест широких бабьих подолов, — и это было страшно.

XV

В первых числах мая 1916 года в станицу Пресновскую прибыл с Кавказского фронта есаул Алексей Султанов.

А неделю спустя сюда же приехал из действующей армии, только что выписавшийся из полевого лазарета, легко раненный в ногу сотник Аркадий Саранский.

Оба этих фронтовых офицера знали друг друга еще по Омскому кадетскому корпусу, в котором учились вместе, хотя и окончили курс в нем в разное время.

Аркадий Саранский был моложе Алексея Султанова чуть ли не на круглый десяток и вышел из корпуса пятью годами позднее. Но до начала мировой войны оба они прослужили около полутора лет в Верненском гарнизоне в одном и том же полку. И лишь всеобщая мобилизация развела их в раз-

ные стороны. Алексей Султанов в чине подъесаула ушел со своим полком на Кавказский фронт, Аркадий Саранский — на Западный.

Офицеры считали себя земляками, хотя Алексей Султанов, приписной к станице казак, в прошлом мелкопоместный дворянин, позднее — владелец небольшого полукустарного кожевенного завода в Акмолинске, являлся по сути дела городским жителем. Отец Аркадия Саранского, престарелый казачий полковник в отставке, а по образованию — ветеринарный врач, имел в свое время немалые доходы от этой двойной профессии и сколотил на старости лет некоторое состояние. Кроме того, за какие-то особые заслуги при штурме Коканда полковник Саранский был пожалован стодесятинным угодьем из земель кабинета его величества и пожизненной войсковой пенсией.

Лет за пять до мировой войны Саранские выстроили на пожалованном участке имение и, по настоянию старого полковника, перебрались туда из станицы на постоянное жительство.

Таким образом, уединившись в тихой усадьбе, Саранский, несмотря на преклонный возраст, занялся, не бросая ветеринарии, торговлей лошадьми. Вскоре он вошел в какие-то, по слухам, не совсем чистые взаимоотношения с окрестными феодалами, не гнушался ни степных конокрадов, ни бродячих цыган, ни ярмарочных маклеров и жуликов. А к моменту объявления в России всеобщей мобилизации сумел взять в свои маленькие, волосатые и жесткие руки все дело по поставке строевых коней под мобилизованных казаков на территории всего линейного Сибирского казачьего войска. Это обстоятельство помогло Саранскому установить в окрестной степи монопольные цены на строевых лошадей. Кроме того, как ветеринарный врач, полковник Саранский принимал деятельное участие в работе войсковых смотровых комиссий, и потому всех лошадей, приобретенных мобилизованными казаками на стороне, он неминуемо подвергал браковке. И народу волей-неволей приходилось раскошеливаться, платить втридорога за коней, часто худших, чем те, которые были забракованы, но купленных в одном из многочисленных конских косяков полковника.

В те дни, когда всколыхнулась вся многоплеменная Россия, некогда было думать отправляющимся на поле брани воинам про сбереженную ради черного дня лишнюю трудовую копейку. Некогда было рядиться из-за строевого коня с жадным к наживе, придирчивым и строптивым полковником. Чорт его бей, пусть подавится лишней ассигнацией! До него ли в такую пору?!

Казаки уходили из родимых мест в разгар страды. На покинутых пашнях стеной подымались вызревшие хлеба. И слышался по полосам бесприютный и горький шопот обреченных на верную гибель колосьев кубанской пшеницы, шатиловского овса. Осиротело шумели на степном ветру высокие, в пояс, травы. Но некому было их косить. Некому было метать до небес скирды и стога зеленого, как шалфейный навар, сена. Все бросалось на произвол судьбы: престарелые матери и отцы; дети мал-мала меньше; друзья и товарищи; жены и невесты. И каждому думалось в эти минуты о том, что со старым покончено, что иная и грозная ждет впереди его жизнь. Нет, не до Саранского было в ту пору идущим на фронт казакам. Но все же многие из них, покидая родные станицы, затаили на сердце против него глухую и неугасимую, как степной пожар, злобу.

Старый Саранский отлично знал, чувствовал это. Ему хорошо было известно и то, что некоторые станичники не раз подавали на него прошения наказному атаману и жаловались по начальству на беззаконные действия отставного полковника и ветеринара. И хотя все эти жалобы, как правило, оставались без последствий, тем не менее Саранский мало-помалу начал остерегаться линейных казаков и со многими из них избегал встреч.

Во всяком случае, до сего мирные отношения между станицами и господской усадьбой после первой же всеобщей мобилизации в августе 1914 года резко обострились, и полковник перестал, как прежде, появляться среди казаков один.

Почувствовав не совсем миролюбивое отношение к себе со стороны большинства линейных жителей, Саранский стал предусмотрительнее и куда бы ни шел теперь и ни ехал, нигде ни на шаг не отпускал от себя своего телохранителя: везде и всюду следовал по пятам своего старого барина преданный ему драбант, Авдеич. А при встрече со старыми казаками в открытой степи Саранский не выпускал правой руки из бокового кармана касторовой офицерской бекеши, где дремал у него, крепко зажатый в ладони шестизарядный кольт.

XVI

Усадьба господ Саранских была расположена на границе казачьих угодий с киргиз-кайсацкими степными владениями. К северу, по левую сторону имения, лежали тучные земли сибирского казачества, а к югу простиралась бескрайняя, издревне обжитая кочевьями Средней орды, орлами да беркутами, нетронутая ни косой, ни лемехом, степь. И ходили в этих древних просторах, как песчаные вихри и смерчи, нико-

гда не знавшие ни узды, ни аркана конские табуны да никем не считанные гурты рогатых и заслонявшие горизонт отары байских овец.

Далеко, на тысячи верст, уходила к песчаным отмелям Балхаша, воспетая в песнях бродячих акынов, степь. Край богат был ветрами, озерами, солью, рыбой, пустынями. Можно было вволю пожить здесь и порадоваться тому, кто умел подружиться с володетельными степными князьками, с феодалами киргизско-кайсацких кочевий, кто умел не чураться ни заезжих в эту глухую страну купцов, ни грабителей ярмарочных караванов, ни наемных убийц, ни прасолов, ни конокрадов.

Усадьба господ Саранских стояла в стороне от большого скотопрогонного тракта. Небольшой, в шесть комнат, но однако уютный белый каменный дом с мезонином стоял над самым обрывом высокого и весьма живописного озерного берега. С трех сторон обнимала этот одинокий особняк заповедная роща. Огромные, в два обхвата, березы заслоняли усадьбу от страшных степных буранов, от бушевавших в этих просторах круглую зиму лютых вьюг.

Покойно и тихо было тут под надежной защитой вековых деревьев и в зимние, и в летние дни. И охотно, бывало, проводила каникулярное время в этом глухом отшельническом уголке некогда разбросанная по сибирским городам учащаяся саранская молодежь: старший сын из детей полковника, кадет Аркадий, и младшая сестра Аркадия, гимназистка Таня. Здесь же нередко гащивал в юные годы и Алексей Султанов.

Вот и теперь, через долгие годы разлуки, свела судьба есаула Алексея Султанова с обитателями этой усадьбы. Вновь очутился он, измотанный фронтовой жизнью, боевой армейский офицер здесь, рядом, бок о бок с возмужалой и похорошевшей восемнадцатилетней Таней Саранской. Снова был он тут, где когда-то провели они вместе с этим прелестным, милым и чистым существом столько светлых, умиротворяюще тихих, ничем не омраченных безмятежных дней.

Было это давно. Очень давно. И теперь, когда есаул Султанов, бесцельно слоняясь на досуге по приусадебной роще, пытался, объятый пожаром воспоминаний, воскресить в памяти те далекие дни, то ему в такую минуту, несмотря на все усилия воли, сделать этого не удавалось. Он уже не в силах был представить себе эти годы, как нечто реальное. Он не мог представить себя ни кадетом, ни влюбленным в хорошенькую станичную фельдшерицу хорунжим, ни вдохновенным сочинителем пылких сонетов, которыми заполнял он когда-то, уединившись в беседке, голубой альбом Тани.

— Да и было ли это когда-нибудь, есаул? — спрашивал волух себя Алексей Султанов и, горько улыбаясь, умолкал.

Что мог сказать он теперь, когда минуло ему тридцать пять лет, когда за два года этой ужасной войны, казалось, оглох он от орудийной пальбы, отупел от трупного зловония, от вшей, от грязи, от площадной брани офицеров и, находясь в течение двух лет там, на рубеже огня, крови, страха и смерти, он успел забыть о своей молодости, — что же мог сказать он теперь?!

И вот только нежный, чуть внятный, томительный запах милых березовых листьев да печальный шум вековых деревьев в часы заката до боли напоминали теперь есаулу Султанову о том, что все это, действительно, когда-то было и что этого не могло не быть.

Но все прошло.

Все было кончено.

И остался только попрежнему нетленный, пряный запах лесной травы, горький запах березовой коры и листьев. Он остался, и этот вечно тревожный и сумный на исходе дня — шум высоких древесных вершин. Но навсегда уже были заказаны теперь пути есаулу Алексею Султанову в тот далекий, навеки утраченный мир, в мир, который тщетно пытался воскресить армейский офицер вот в такие минуты своим воображением. И не потому ли вновь привлекала его теперь к себе Таня Саранская, что была она самым реальным, самым чистым и ярким отражением его собственной юности?! И не потому ли, бесцельно шляясь целыми днями в окрестностях этой степной усадьбы, думал он в сущности только о ней, белокурой девушке, и сам того, быть может, не замечая, искал везде и всюду только одну ее?..

XVII

Есаул Султанов прибыл в линейные станицы с особым поручением командующего Кавказским фронтом великого князя Николая Николаевича.

После больших неудач и поражений, понесенных русской армией в связи с предательством некоторых корпусных генералов на Австро-Германском фронте, Россия в середине зимы 1916 года одержала несколько блестящих побед над турками.

В то время, когда многие из наших соотечественников считали войну для государства Российского почти проигранной, Европа была поражена известием о падении Эрзерума. В непривычных высокогорных условиях, в самый разгар на редкость свирепой зимы и страшных метелей, русские войска взяли штурмом одну за другой, неприступные крепости —

Ардаган и с Эрзерумом и неудержимой лавиной хлынули в глубь терпящей поражение за поражением страны.

Всю тяжесть этого стремительного марша несли на своих плечах преимущественно экспедиционные полки Сибирского линейного казачьего войска. Эти полки сибирских казаков при штурмах двух упомянутых крепостей, а также и в дальнейших кровопролитных битвах с противником понесли немалые потери и к началу весенних операций на этом фронте нуждались в срочном пополнении. Командование фронтом понимало, что для закрепления за русскими отбитых у неприятеля территорий надо было стянуть в Турцию новые резервные силы. А одной из таких реальных и более надежных резервных сил, наряду с брошенной на Кавказ армией запасных и поставленного под ружье сорокапятилетнего ополчения, являлись молодые, прошедшие лагерные сборы и учение, досрочно призванные в линейных станицах казаки. Ими-то и решено было пополнить заметно поредевшие ряды боевых сибирских казачьих полков на Кавказском фронте. А для того, чтобы свыклись молодые воины со всеми великими лишениями походной жизни и к моменту вступления в зону действующей армии не страшились ни воды, ни огня, с этой целью и было задумано в ставке главнокомандующего провести эшелоны казачьей молодежи от сибирских линейных станиц до Каспийского моря в конном строю, а там, погрузившись на пароходы, достичь прифронтовой полосы водой.

Путь лежал впереди нелегкий. Он проходил через голодные степи, через мертвые просторы Бекпак-Далы, через шафранные пески и горячие смерчи пустыней, через быстрые реки, темные леса и крутые горы.

Тертый, каленый на всех четырех ветрах требовался в таких походах молодым казакам вожак-командир. Знала станичная молодежь по рассказам отказаковавших на своем веку предков, что не страшны ей будут в пути никакие невзгоды, если пойдет впереди эшелона такой командир, какой был воспет в старинных походных казачьих песнях.

Вот с этой целью и прибыл на Горькую Линию с Кавказского фронта армейский есаул, Алексей Султанов. Он уже не раз водил отсюда в прошлом казачьи полки на Верный, в Кульджу, Коканд и Джаркент. Вот и теперь ему было поручено проследить на местах за порядком мобилизации и, дождавшись особого распоряжения командующего о выступлении, сняться с исходного положения и повести казаков на фронт.

Прибыв к месту своего назначения, Султанов провел несколько предварительных полковых смотров. Тщательно ознакомившись с личным составом мобилизованных и найдя мате-

риальную часть в полном порядке, он в рапорте, поданном на имя командования, донес, что вверенный ему эшелон к походу вполне готов и с часа на час ждет приказа о выступлении.

Между тем есаул, в ожидании ответной депеши из главной квартиры командующего, решил воспользоваться близостью семьи Саранских и отдохнуть. И вот, уединившись в полковницком имении, Султанов наслаждался непривычной для уха степной тишиной, мирными вечерними чаепитиями в саду на открытой террасе, одинокими прогулками по приусадебной роще, любованием рассветами и закатами, — словом, всем тем странным великолепием и покоем, от чего, казалось, давно отвык.

Правда, коротать время с полковником Алексею Султанову было невыносимо скучно. Старик был издавна неприятен есаулу своими циничными признаниями в чудовищной скупости и в алчной жажде наживы. Он прожужжал все уши Султанову ярмарочными разговорами о лошадях — и что еще неприятнее — барышническими суждениями о войне. Меньше всего тревожили старого полковника судьбы России и ее истекающей кровью многомиллионной армии. Больше того, он никогда даже не вспоминал о собственном сыне, раненном с месяц тому назад в сражении под Гумбиненом.

Относясь с тупым, оскорбительным, на взгляд есаула Султанова, равнодушием к победам и поражениям русской армии, старый Саранский смотрел на все фронтовые события с точки зрения завзятого прасола, озабоченного единственно только тем, как бы все эти крайне изменчивые события в действующей армии не отразились в худшую сторону на коммерческих его делах и не причинили бы ему на последней партии запроданных лошадей сколько-нибудь ощутимого для кармана убытка.

Равного мнения с мужем придерживалась решительно во всем и супруга его, пышная, страдающая икотой, полковница Милица Васильевна Саранская. Если старый полковник боялся больше всего сквозняков и мышей и был вегетарианцем, то и полковница смертельно страшилась и того и другого и никогда не употребляла в пищу мяса, утверждая при этом, что последнее приносит огромный вред человеческому организму, хотя и не знала и не умела объяснить почему. Если барин, страдая бессонницей, глотал снотворные порошки, говорил в такие минуты о бренности жизни, читывал библию и в то же самое время горевал потихоньку о том, что ему не удалось подсунуть интендантскому представителю на сей раз бракованной кобылы, то и барыня тоже не смыкала очей своих по ночам, и она наизусть цитировала Апокалипсис и в то же время потихоньку бранила интендантских проходимцев за брако-

ванную кобылу. Если же мнительному господину Саранскому иногда начинало казаться, что его стерегут в целях ограбления и зверского убийства из-за угла везде и всюду линейные казаки и киргизы, то и госпоже Саранской мерещились в такую пору за каждым углом родной усадьбы грабители и убийцы. И, наконец, если старый полковник не вспоминал почти никогда и не любил вспоминать о кровном, сражающемся на фронте сыне, то и она, старая полковница, не большая была охотница до столь, как они вместе говаривали, сентиментальных вздохов и разговоров...

Все, положительно все раздражало теперь есаула Султанова в этой престарелой, холодной, расчетливой чете: и утонченная вежливость, и изысканные манеры, и какое-то чисто армейское благородство, и то, что оба они говаривали друг другу «вы», и то, что смеялись оба, как все глубоко неискренние люди, смущенно и глухо, в кулак.

Султанов с трудом выносил теперь это общество. Нервный и вспыльчивый по природе, он едва высиживал положенное время за общей трапезой.

И не высидел бы, — не будь за столом Тани. Ни за что не высидел бы. Ведь это только она, заметно выросшая за последние два года из своих гимназических платьиц девушка, смиряла Алексея Султанова в такие минуты одним, как бы нечаянным, движением темных ресниц и этим, по-детски капризным, милым изгибом своих непорочных, запекшихся на степном ветру губ. Только она. Только одна она...

И Султанов при виде ее смущался, робел, как мальчишка. И, как мальчишка, он стыдился вдруг своей глупой, как казалось ему, несдержанности в разговоре со стариками Саранскими, стыдился и краснел. Благо, старики не замечали или, по крайней мере, умели еще не замечать этого.

За обедом, когда старый полковник особенно много и скучно говорил о своих лошадях, а полковница, деловито икая, горячо поддакивала во всем мужу, Таня отсиживалась напротив Султанова молча. И ему казалось, что она не слышала, о чем барабанил, с трудом пережевывая свое вегетарианское блюдо, болтливый ее отец. Но в то же самое время она держалась легко, просто, непринужденно. И Султанову в иные минуты думалось, что девушка втихомолку подшучивает над ним, а то еще чего доброго чутьем, свойственным женщине, угадывает его мысли. Не дай бог, как подумает, что он в нее влюблен!

Влюблен! Это, разумеется, рассмешит ее. Впрочем, ее уже смешит, кажется, его совсем неприличная для армейского офицера робость. Смешит, наверное, и чудовищная непоследовательность есаула в суждениях о коневодстве и вообще во

всей застольной беседе со словоохотливым ее отцом. И не может не рассмешить та странная, почти ребяческая неловкость, которую стал с некоторых пор испытывать в присутствии этой девушки боевой армейский офицер...

Милая, одичавшая от степной тишины и одиночества прелестная девчонка! Разве сможет она понять, что все это происходит с есаулом Султановым, может быть, вовсе не от какого-то там большого и сложного чувства к ней? — нет, какое уж там, к чорту, чувство! Он не мальчик. Далеко, к сожалению, не мальчик. О, он черств, холоден, груб. Неспроста же так глубоко залегла на высоком и ясном лбу его не одна страдальческая морщинка. А глаза? Большая печаль и большая усталость притаились в них за густыми сумрачными ресницами... И потом у него впереди труднейший поход. Очень сложный, очень ответственный, очень трудный конный поход с эшелоном молодых казаков через зной, через голодные степи, через пески. А самое главное — у него впереди еще война, новые рукопашные битвы, опять кровь, трупное зловоние и — самое ужасное для него во всем этом — страшная грязь, к которой так и не смог он привыкнуть за два года войны и которой больше всего страшился, будучи на огневой позиции. Он страшился этой грязи больше тяжелого ранения, больше смерти. Да, больше смерти, о которой просто некогда было еще подумать боевому офицеру, или же огромная любовь к жизни жила еще в нем и в минуты опасности подавляла в Султанове всякий страх. Во всяком случае, до сих пор он никогда не задумывался над этим, и только вот теперь в присутствии какой-то девчонки полезло в есаульскую голову бог знает что...

Собственно, что он такое для Тани?

Может быть, он кажется ей таким же плоским и ограниченным, каким представляется ей — и совершенно справедливо — большинство военных? Может быть, он действительно так же глуп, хвастлив, тщеславен, самодоволен, как любой армейский офицер?

Может быть.

Есаул вполне допускает это. Вполне.

Двухлетняя жизнь на фронте научила его всему. Прежде всего она научила его забывать о самом себе. Это отнюдь не было самоотречением. Просто, очутившись с первых же дней войны под перекрестным огнем гаубиц и пулеметов, Султанов перестал думать о самом себе и забыл в ту же минуту и о том, что ему давным-давно уже перевалило за тридцать, и о том, что жизнь в сущности мало баловала его в прошлом и покоем, и чьей-то большой, благородной, чистой любовью, и тем, что приятно называть счастьем. Ничего, оказы-

вается, не было теперь у есаула Султанова позади. Решительно ничего. Точно прошел человек длинный путь и вот не ощущал теперь ни утомления, ни потребности в тепле, уюте и отдыхе. А, оглянувшись назад, увидел человек бесконечно ровную, пыльную степную дорогу да небо, скучно синеющее вдали, и ничего больше...

И только там, впереди, по ту сторону траншей и брустверов, лежали теперь неприятельские позиции. Там был враг. Умный, коварный, изворотливый, сильный враг. И только о нем, враге этом, неукоснительно полагалось помнить и знать боевому армейскому офицеру есаулу Султанову, ему — кавалерийскому командиру и воину российской армии. И есаул Султанов знал и помнил только об этом. Вот почему ему было некогда до сих пор разбираться в собственных чувствах.

Все это Алексей Султанов начал осознавать только сейчас, очутившись за тридевять земель от фронта, среди первобытной степной тишины, бок о бок с Таней Саранской. Решительно всем смущала его теперь эта девушка: и неяркой своей красотой и умом, и непосредственностью, и молодостью, и тем, что была она удивительно непохожа на своих родителей. Глядя на нее, было странно думать о том, как могла она вырасти здесь такой чужой и далекой от всего того, что окружало ее в быту и нравах этого дома. Так, наверное, случайно вырастает среди примелькавшейся степной травы безымянный, нездешний, одичало яркий цветок, и никому бывает неведома великая тайна его рождения...

Как правило, Таня появлялась в столовой в белом простеньком платьице, сияя свежестью, легкостью, чистотой. Яркое полуденное солнце жарко горело в короне золотистых ее волос, дробилось и вспыхивало в прозрачных мочках крошечных ее ушей. И, как всегда, она — от висков до тонких изящных рук — пахла загаром, степными горькими травами, солнцем.

Вот она поднимала на Алексея Султанова свои большие, насмешливые, притворно холодноватые глаза, и есаул видел, как начинали понемногу мелко трепетать темные ее ресницы, словно никогда не затихал в них полевой, вольный и легкий ветер.

Такой увидел Таню Саранскую Алексей Султанов в первый день своего приезда в усадьбу. Такой же видел он ее и теперь каждый день и при встречах с нею и даже тогда, когда оставался наедине с самим собою.

XVIII

Аркадия в семье Саранских не ждали.

Приехал он со станции в канун троицы на тройке поч-

товых внезапно, не предупредив с дороги родителей ни письмом, ни телеграммой.

Однако, несмотря на все это, к великому изумлению Алексея Султанова, старики не только не удивились, но, казалось, даже не были и особенно взволнованы и обрадованы столь неожиданным появлением сына, да к тому же еще перенесшего ранения и только что, видимо, выписавшегося из полевого госпиталя.

Правда, в первый момент встречи полковница, на минуту задержавшись в объятиях сына, даже с присущим ей благородством тихо всплакнула и, театрально всплеснув полными руками, задержала на госте иконописно кроткий свой взгляд. Но не успел Аркадий переступить порога родительского крова, как Милица Васильевна бросилась, ахнув, в раскрытый амбар и тут же, как ни в чем не бывало, принялась за прерванный пересчет куриных яиц.

Султанов же, проходя в это время мимо настежь распахнутых амбарных дверей, успел заметить выражение лица увлеченной своим занятием полковницы: оно было сосредоточенным, злым, почти вдохновенным, и с этой минуты есаул окончательно возненавидел ее.

А к вечеру, в сопровождении Авдеича, прискакал в усадьбу полковник. Как всегда, оба с драбантом были они верхами. В дорогом, под серебряным набором, офицерском седле ездил старик на любимом сером жеребце в соседний кочевой аул с тем, чтобы присмотреть там за спущенными на отгул собственными конскими табунами, и вот вернулся теперь домой явно не в духе. Это чувствовалось во всем: и в том, как работал он на скаку поводами, и в том, как, покусывая прокуренный, серебрящийся ус, горячил без всякой нужды и без того взволнованную лошадь, и даже в прямой, мертвой его посадке.

О приезде с фронта сына старик уже знал. Степная сторона не любит хранить такой тайны. Несколько встречных путников успели поделиться с полковником этой вестью.

Однако, влетев на-рысях в просторный приусадебный двор, он, щегольски осадив злого рысака, поставил его под собой на дыбы и, подбоченясь, в позе медного всадника, долго озирался вокруг, проверяя на глаз, все ли в ограде у него в строгом порядке. Потом, не по годам молодцевато спешившись близ конюшни, расседлал он с цирковой быстротой и ловкостью коня, ощупал согретую потником его спину, заглянул под раковины. И только тогда, когда успокоившийся, наконец, жеребец стал на выстойку и смиренно полузакрыл излучающие яшмовый блеск зрачки, старый пол-

ковник, трижды оглядевшись по сторонам и убедившись, что все на своем месте, направился, не спеша, в дом.

Встретились отец с сыном как на параде.

Широко разбросив руки, старик обнял поднявшегося ему навстречу Аркадия за плеча и молча поцеловал в лоб. Потом, отступив от сына на полушаг, присмотрелся к высокой, ладно сбитой сыновней фигуре и, видимо, оставшись довольным осанкой его и выправкой, сказал:

— Молодцом ты у меня, оказывается, господин сотник?! Ей-ей. Хвалю.

— Рады стараться, ваше высокоблагородье... — скупо улыбнувшись отцу, ответил Аркадий.

— Молодцом! — повторил полковник решительно. — Никогда, признаться, не рассчитывал увидеть тебя, Аркадий, в столь, можно сказать, блестящей во всех отношениях форме. Да-с. Не рассчитывал...

— Ну отчего же, папаша? — в тоне притворной обиды спросил отца Аркадий.

— Ну как — почему?! Молод. Вот почему. Да-с, милостивый государь. Молод... А тут вот смотрю и не налюбуюсь. Глазам своим не верю... Рад. Рад, дорогой мой. Очень рад. Очень. Тронут... Ого! А это что у тебя? — ткнув указательным пальцем в грудь сына, изумленно повысил голос старик.

— Как видите... заслуги! — не без тщеславия ответил ему Аркадий.

— Крест?! Георгиевский?! — закричал старик. — Мать! Полковница! Ты понимаешь?!

— А ты только сейчас и заметил? — подала негодующий голос откуда-то из кухни ли, с крыльца ли полковница, и тут же, появившись в дверях с банкой малинового варенья, она, блаженно улыбаясь мужу и сыну, нараспев проговорила: — Крест, господин полковник. Крест. Георгий. Да еще какой Георгий-то! Присмотрись-ка. Первой степени!

— Первая?! — пошатнувшись, крикнул полковник. — И впрямь первая! Ну-с, в таком случае поздравляю, сын. Вот это уважил старика. Спасибо за геройскую службу. Спасибо, господин сотник. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Поздравляю. От души. От всего сердца... — бормотал скороговоркой растроганный полковник и, вновь обняв сына, теперь уже звучнее и крепче поцеловал его в самые губы.

Все это время Аркадий стоял перед отцом так, как привык с кадетского возраста стоять перед высшим начальством, когда ему приказано было стоять вольно, и потому испытывал теперь некоторую неловкость. Ему некуда было, например, деть сейчас длинных своих рук, приученных в таких случаях лежать по швам. И он то глупо потирал ладони, то совсем

уж некстати фамильярно похрустывал пальцами, — тоже дурная привычка с кадетских лет, — то зачем-то цеплялся тупыми, короткими пальцами за свои новенькие, точно покрытые рыбьей чешуей, офицерские погоны.

А старый полковник продолжал беспомощно топтаться на месте и, не находя, видимо, иных слов, твердил:

— Первой степени! Георгий!.. Это воистину великолепно. Тронут. До слез. Благодарю. Спасибо. Не ожидал...

Тем временем Алексей Султанов продолжал почтительно стоять в стороне. Он чистил соломинкой изящный, слоновой кости, мундштук и делал вид, что не замечает ни полковника, не знающего, что ему больше говорить, ни глупо улыбающегося отцу Аркадия, ни хлопотавшую у стола Милицу Васильевну, ни даже занятую сервировкой стола Таню.

Таня в свою очередь тоже, как бы не замечая присутствующих, необычайно легкими, стремительными движениями гибких, полуобнаженных рук сервировала стол, роняла второпях ножи, вилки, ложки и тем самым наполняла террасу веселым металлическим звоном, похожим на ее звонкий, играющий переливами смех.

И есаул Султанов, не глядя в эту минуту на девушку, ощущал и угадывал не только каждое ее движение, но ясно видел выражение порозовевшего от заката ее лица, затаившуюся в полудетских губах улыбку и чувствовал, как слегка трепещут сейчас темные ее ресницы.

Наконец, покончив с сервировкой, Таня легким прикосновением пальцев поправила сбившийся на голове золотистый венец косы. Потом таким же небрежным, легким движением рук одернула рукавчики светлого, с чуть приметными голубыми крапинками платья и, решительно подойдя к отцу, молча взяла его и Аркадия под руки и подвела их к накрытому столу.

Есаул, на которого вся эта сцена встречи и разговора полковника с сыном произвела крайне неприятное, тягостное впечатление, стоял у распахнутого окна, любуясь пылающими на заходе солнца вершинами деревьев, и думал о чем-то своем. Таня, подойдя к нему, так же молча и решительно, как и отца с братом, взяла его под руку и усадила, как всегда, напротив себя.

— А теперь, господа, прошу, — сказала Таня, неясно улыбаясь и разводя над столом руками, точно предоставляя этим жестом ту неопределенную свободу действий, которой всегда почему-то недостает в такую минуту собравшимся выпить и закусить гостям.

...За хлебосола старый полковник не слыл: мешала скупость и гостей принимал у себя редко. Но закусить и выпить

порядком в компании был не дурак. Еще в начале мировой войны, когда был обнародован царский манифест о закрытии в России монопольных и иных питейных заведений, Саранский, смекнув, чем это пахнет, закупил у окрестных шинкарей и целовальников всю наличную водку и потихоньку загрузил драгоценным запасом все свои подземные подвалы. А потом, слухи ходили, что не брезгал барин поднажиться исподтишка и на этом новом прибыльном деле. Он сбывал, говорили, сей запретный товар заезжим купцам и военным чинам по баснословно высоким ценам, чем гораздо приумножил и без того немалый оборотный свой капитал. Кроме того, приберегал полковник в своих подвалах и коллекцию редких вин отечественных и инодержавных марок, что держал в строжайшем секрете даже от собственной семьи.

Но сегодня, встретившись после долголетней разлуки с единственным своим сыном, в котором, кстати сказать, больше всего растрогал полковника заслуженный чин и георгиевский крест, старик вдруг раскошелился и поразил неслыханной расточительностью даже супругу. На столе было выставлено полдюжины шампанского и пара бутылок древнего коллекционного вина.

За столом становилось все шумней, оживленней, суетливей. И разговор между мужчинами мало-помалу начал обретать тот подчеркнуто серьезный и, несмотря на кажущуюся логичность, беспредметный, беспорядочный характер, который сопутствует первой стадии опьянения.

Побагровевший от подбородка до наголо выбритой головы Аркадий, воспользовавшись отлучкой матушки, вдруг начал умолять сестру позволить рассказать вслух какой-то чуть вольный фронтовый анекдот.

— Ну позволь. Честное слово — ничего особенного. Окопный фольклор. Ребенок ты, что ли? Слава богу, невеста! — говорил Тане брат.

— Отстань, Аркадий. Не желаю слушать анекдотов, требующих женской цензуры. Слышишь?! Вот возьму и рассержусь... — обрывала она с напускной строгостью брата.

— Эх, сентиментальное воспитание! Вот ведь что значит — степное именье. Киргизы. Азия. Провинциальная гимназия... — и, досадуя, и иронизируя, вновь принимался за свое с упрямством пьяного Аркадий.

— Ну, хватит. Не надо. Бросьте, Аркадий!.. — попробовал было остановить его Султанов.

— Нет. Извиняюсь. Я расскажу. Обязан. Да-с. Должен, понимаете, рассказать... — упрямо твердил Аркадий, умоляюще глядя на сестру.

— Отлично. Рассказывай. Только я буду в таком случае

вынуждена оставить вас, господа, — не без обиды заявила Таня и резко поднялась из-за стола.

Аркадий придержал сестру за руку.

— Ну, не сердись же. Не надо, Татьянка. Не буду. Ей-богу. Молчу. Молчу, — выпалил скороговоркой Аркадий, зажимая ладонью собственный рот.

— Не уходите... — попросил девушку и Султанов.

Таня подняла на Султанова холодные, странно потемневшие глаза и медленно, точно завороженная, опустилась на стул.

В это время полковник, наполнив бокалы искрящимся коллекционным вином, предложил тост за здоровье сына.

И неведомое вино соблазнило даже Таню. Она охотно приняла из рук отца наполненный этим вином бокал из дымчатого хрусталя и, впервые в жизни поочередно чокнувшись со всеми присутствующими, подняла и пригубила его за здоровье брата. Однако в душе она подумала в эту минуту о Султанове и непроизвольно пристально посмотрела ему в глаза.

Вино Тане на вкус не понравилось: густое, как сусло, вяжущее во рту, терпкое — оно вызвало у девушки нечто подобное недоуменной, почти брезгливой улыбке. И Таня, едва пригубив бокал, поспешно отставила его в сторону. Но зато можно было часами смотреть, не отрываясь, на то, как кипели в массивном хрустальном сосуде каскады золотисто огненных искр, как играли, дробясь в нем, неправдоподобно ярчайшие краски и отблески не то догорающей на вершинах приусадебной рощи вечерней зари, не то одинокого костра, приветливо мигавшего в этот час на далекой лесной опушке.

Иное дело — шампанское.

Таня пила эту слегка кисловатую на привкус газированную ледяную влагу медленно, с передышками, благородно мелкими глотками. Пила и чувствовала, как приятный озноб властно овладевал всем ее телом. Потом понемногу стали неметь, точно приморожденные, кончики пальцев, и странно тяжелели, точно становились совсем чужими и мало послушными руки и ноги, а к пылающим вискам будто кто-то прикладывал лед. Между тем, наряду с этим новым, непривычным для девушки ощущением, мало-помалу начало овладевать ею и другое, обратно противоположное тому, что она почувствовала после первых двух—трех глотков этого волшебного напитка. Так, выпив незаметно для себя самой полбокала, Таня вдруг ощутила, как вместе с ознобом разгорался внутри ее, буйно плясал, подступал к сердцу веселый и злой огонь, и от глухого тяжелого пламени его у нее непристойно пылали щеки и, точно сквозь марево, смотрели на окружающих раскаленные до блеска девичьи глаза...

XIX

Полковник в растегнутом кителе, грузный, хмельной и потный, сидел на стуле верхом, как в седле, и, потрясая багровыми кулаками, горячо доказывал сыну:

— Как старый солдат, я утверждаю, что успех любого сражения решает кавалерия. Да-с. Храбрый командир и эскадрон кавалергардов — вот ключ для блестящих решений любых операций в прошлом. Все, понимаете ли, зависит, на мой взгляд, от умелого маневрирования и стремительных кавалерийских маршей.

— Устарелые, устарелые представления о войне, папа, — покровительственно похлопывая отца по плечу, говорил Аркадий.

— Ого! Нет уж, извините меня, господин сотник!—горячился полковник. — Я знаю. Опять ваш брат начнет сейчас просвещать меня, старого воина, насчет этой самой вашей техники и умелой организации тыла. Слышал. Старая песня. Да-с, милостивые государи... А вот если бы высшее командование не чуралось подобных, как вы смеете утверждать, «устарелых представлений» о тактике, так, уверяю вас, господа офицеры, Россия давно бы уж овладела Карпатами и водрузила бы трехцветный свой флаг над муниципалитетами Будапешта и Вены, а крест на святой Софии благочестиво сиял бы в орбите владений нашей великой империи...

— Круто, господин полковник! — усмехнулся Аркадий.

— Вот так, господин сотник. Да-с, — продолжал старик: — И если, по выражению Наполеона, каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл, то далеко еще, к сожалению, не каждый маршал обладает теперь темпераментом солдата. О, Суворов! Кутузов! Барклай де-Толли! Вот кто в совершенстве владел искусством стратегии и обладал этим самым солдатским темпераментом... Темперамент солдата — вот что главное. Потрудитесь-ка, милостливые государи, почитать на досуге блестящие мемуары Фердинанда Фоша. В чем усматривает он, скажем, причины поражения французской армии во времена франко-прусской войны, которая закончилась перекроившим карту Европы французским миром, — в чем? В бездарном управлении войсками со стороны тогдашнего французского командования...

— И в отсутствии лишнего эскадрона кавалергардов... — ввернул в тон полковнику, порядком уже захмелевший и явно не расположенный к дальнейшим спорам Аркадий.

— Правильно. Совершенно верно изволили заметить, господин сотник! — не сдавался раскипятившийся старик. — Прошу не иронизировать. Да-с. Если хотите — то и в отсутствии

лишнего кавалерийского эскадрона. Ибо известно, что очень часто этот самый лишний кавалерийский эскадрон может решить судьбу всей армии, судьбу целой страны, всего фронта. Так, приблизительно, расценивал тогдашнюю обстановку один из крупнейших германских стратегов, начальник генерального штаба германской армии фельдмаршал граф Гельмут Мольтке.

— Ну, извините, папа. Граф Гельмут Мольтке никогда такой чепухи не говорил, — убежденно заявил Аркадий, хотя и впервые услышал сейчас от отца имя этого германского стратега.

— Што?! — повысил голос старик. — Как так не говорил? А Фердинанд Фош? Да он же прямо пишет, что если бы французское командование своевременно сумело бросить на немцев все стянутые в Лотарингию силы, то от германских стратегических сооружений остался бы только пшик. Вот тут-то и нехватило французским маршалам основного в таких случаях качества — сиречь солдатского темперамента. Или возьмем последнее наше сражение на Висле. Ведь если доверять официальным сводкам командования, — а не доверять им я пока не имею никаких оснований, — то в этом грандиозном сражении работала одна только кавалерия. А подвиг есаула Стрепетова?! Ведь он силами одной своей сибирской казачьей сотни уничтожил целый полк кирасиров Вильгельма II-го и наголову разбил немецких уланов под Сохачевым. А ведь это были лучшие в Пруссии боевые единицы! Вот что значит, милостивые государи, кавалерия, помноженная на храбрость, а стратегия — на этот самый солдатский темперамент! — заключил полковник, торжественно поднимая бокал.

— Темперамент, Арсений Арсеньевич, — обращаясь к полковнику, вмешался, наконец, в разговор Султанов, — темперамент, о котором вы изволили так горячо говорить, на мой взгляд, вовсе не обязателен для современной войны. И аналогия между франко-прусской кампанией и последней мировой войной, пожалуй, не совсем уместна...

— Вы думаете? — поспешно отставляя непригубленный бокал, заинтересованно спросил есаула полковник.

— Да. Я убежден в этом, — твердо ответил Султанов и после секундной паузы сказал: — Видите ли, в чем тут дело-то. Вот вы, опытный старый вояка. Я отлично понимаю вас. Однако смею заметить, что ваши представления о сверхгероизме, чудовищной доблести и легендарной храбрости русского воина сейчас, в обстановке нашей действительности — я это подчеркиваю — сейчас, пожалуй, устарели. Да. Устарели. Во всяком случае, не в этом главное. Ибо в условиях современного боя от солдата требуется только одно — это умение безоговорочно умереть в том месте, на которое укажет

ему, господин ротный офицер. А ведь это не так и сложно. Не правда ли, господин полковник?

— Совершенно правильно, Алексей. Предлагаю выпить по этому случаю, господа стратеги. Ура! — проговорил, как бы очнувшись, Аркадий, хотя и плохо соображая, о чем шла речь.

Аркадий поднял свой бокал с недопитой смесью — шампанское с ликером — и потянулся, видимо, намереваясь чокнуться, к Султанову. Но Султанов не заметил его движения. И Аркадий, презрительно пожевав тонкими губами, тяжко откинулся всем корпусом на спинку кресла, устало прикрыл сиреневатые веки, притих.

— Да, современный солдат, — продолжал Султанов,—обязан умирать в том месте, которое отвели ему с математической точностью на полевой карте-десятиверстке сомнительные штабные стратеги, и это все. Он должен умирать беспрекословно, молча, и уж ни в коем случае не размышляя о том, кому, зачем, во имя чего нужна его смерть. И он умирает, русский солдат, не думая. Так по крайней мере было до сих пор. Некогда было думать русскому солдату. Пять миллионов русских мужиков, безропотно гниющих в окопах нашей действующей армии, — вот убедительное и страшное доказательство этому. Но не дай бог, если эти мужики вдруг начнут задумываться над такими вопросами. Вот это будет пострашней, пожалуй, того, что сейчас творится на фронте!

— О, как хорошо, что мы живем здесь, в таком далеком, надежном тылу! Не правда ли, Алексей Александрович? — сказала неслышно присевшая к столу минутой назад полковница. Старательно выскребая кусочком венской сдобы с бирюзовой розетки кровянисто темные пятна малинового варенья, Милица Васильевна подняла на Султанова свои тяжелые сонные глаза и ждала от него ответа.

— Да-а...—неопределенно, нараспев, протянул Султанов.— Да-а... Тыл — дело, Милица Васильевна, относительное... — уклончиво заключил он и, желая, видимо, изменить тему разговора, звучно чокнувшись с задумавшимся полковником, предложил тост за здоровье женщин.

Все это время Таня сидела молча. Утомленная, печальная и от этого еще более похорошевшая, она дремотно покачивалась в легком плетеном кресле и, слушая густой, глуховатый голос Султанова, была полна тревожных, смутных и неопределенных желаний. Непривычное возбуждение, охватившее ее в минуты первого опьянения, сменилось теперь усталостью, ощущением слабости и теплоты, приятно разливающейся по всему телу.

Таня не прислушивалась к тому, о чем говорил Султанов, однако была убеждена в правоте его, и, больше того, ей

уже казалось, что говорил есаул то же, о чем думала она не раз, наедине с самой собой. И никогда еще, кажется, не было так хорошо, тепло и уютно сидеть ей, дремотно покачиваясь в этом кресле. А еще было приятнее и грустнее смотреть сквозь полусмеженные веки на спокойно сумеречный свет зари, следить за неярко мерцающим в полумгле костром на далекой опушке, наблюдать за неясными очертаниями притаившихся в сумраке деревьев, а главное — впервые, может быть, в жизни не чувствовать себя одинокой. Впервые в жизни не ощущать одиночества, не томиться от праздной скуки и не думать о бесперспективной жизни в степной глуши. И какое ей было дело в эту минуту до того, что спившийся на глазах Аркадий бормотал себе под нос какие-то непристойности про фронтовых сестер милосердия, а не совсем стойко державшийся на ногах отец, вообразив себя знатоком стратегии, нес обычную околесицу о фельдмаршалах, лошадях и кавалергардах, — все это проходило мимо ее внимания. И только глуховатый, мягко окающий говор Султанова не переставал звучать в крошечных ее ушах даже и тогда, когда сидел о чем-то задумавшийся есаул молча...

XX

Выпито было в этот вечер изрядно.

Полковник, тупо уставившись остекленело-мутными глазами в угол, мрачно говорил не то Султанову, не то самому себе:

— Пять миллионов русских мужиков гниют в окопах?! Ну и бог с ними! Правильно. Пусть себе гниют. И сгниют, разумеется... Да-с. А впрочем, посади бы эти пять миллионов на кавалерийские седла да набей им, сукиным сынам, на маршах задницы — вот это было бы войско!

— Да поручи бы тебе, папа, к тому же все дело по поставке лошадей для русской армии — вот это бы да: и у тебя бы, глядишь, лишний миллиончик на текущем счету в банке, и Россия бы вне опасности, — язвил Аркадий. Он, глубоко ненавидевший своего отца за скупость, за то, что последний не баловал его в жизни ни вниманием, ни лишней копейкой, теперь с неприкрытым цинизмом издевался над родителем. Аркадий отлично понимал, о чем мечтал в эту минуту его отец, тревожась якобы за боеспособность русского войска, и потому, продолжая подтрунивать над стариком, советовал:

— А почему бы тебе, папа, и в самом деле не снестись на свой счет с военным министерством? Написать рапорт. Дать господину министру рецепт на спасение России...

Но полковник, видимо, принимая сыновний совет за чистую монету, заметно оживившись, сказал:

— А что ж ты думал?! Я снесусь. Я, милостивые государи, в кратчайший срок всю русскую армию на стремена поставлю. Да-с. Я, понимаете ли, не мужик, который, по словам господина Султанова, не знает, видите ли, за что он воюет. Я есть казачий офицер скобелевской закалки! И уж я-то, смею вас уверить, знаю, за что и во имя чего сражаюсь. Так-то, господин сотник. Жизни не пощажу своя ради отечества, императора и войска... Конечно, само собой разумеется, ты дай мне сначала из военного министерства сообразный с порученным делом кредит.

— Вот уж чего там другого, а кредита-то бы я тебе, папаша, на месте военного министра не доверил, — признался, желчно улыбнувшись отцу, Аркадий.

— Вот как?! То есть... почему бы это, господин сотник?— опешил и, казалось, даже потрезвел на мгновение старик.

— Очень просто. Боюсь — проворуешься, папа...

— Ого! Однако вы неважного мнения насчет родительских способностей, молодой человек! Не ожидал. Не предполагал...

— Нет, отчего же — неважного? Наоборот...

— Ошибаетесь, сударь. Ошибаетесь. Да-с. На сей счет в министерстве за меня могут быть абсолютно спокойны. Я шесть казачьих полков строевыми лошадьми снабдил. А в отчетах перед войсковой управой пока еще, бог миловал, не напутал.

— Ну еще бы! У тебя же всегда была тут, папа, чистая работа, — восхищенно молвил Аркадий.

— Опыт, господин сотник. Опыт!

И когда разговор полковника с сыном начал обретать все более обостренный, обоюдно враждебный и, в сущности, даже взаимно издевательский характер, грозя под конец перейти в прямой скандал, — на выручку пришла Милица Васильевна. С помощью Авдеича она выволокла на террасу граммофон и завела на скорую руку любимейшую полковничью, а стало быть, и ее пластинку. И грянули из огромного оранжевого рупора звуки скорбного и торжественного вальса «На сопках Манчжурии».

Музыка подействовала умиротворяюще и на старика, и на Аркадия. Оба они сидели, поникнув, не проронив ни слова. Молчал, задумчиво покусывая мундштук, Султанов. Притихла в кресле, настороженно прислушиваясь к оркестру, и Таня.

И каждый из присутствующих по-своему воспринимал теперь эти знакомые, волнующие звуки печального вальса, и в каждом из них воскресали в эту минуту свои воспоминания.

Одному вспоминались пустынные Карпаты и кровавый закат в просвете угрюмых скал. В глазах другого вставал знойный ветряный полдень, пыльная степная дорога и далекий, стремительно уходящий в безлюдные просторы смерч. Третьему, по неведомой ассоциации, представился Петербург лета 1914-го года, парад лейб-гвардии гусарского полка на Семеновском плацу, высокие чопорные кареты и белые кители сопровождающей императора дворцовой свиты.

И только у Тани не вызывала эта музыка ничего, кроме странной тревоги и каких-то смутных, мучительно неясных, невозможных желаний. И не знала она, чего ей, собственно, хотелось. Может быть, надо было тотчас же вскочить из кресла и немедленно убежать от этих людей бог весть куда, а, уединившись, дать простор беспричинным горячим девичьим слезам. А впрочем, может быть, было бы лучше подойти сейчас к Алексею Султанову, впервые посмотреть доверительно, открыто, просто ему в глаза и еще проще и лучше сказать во всеуслышание так: «Милый, милый Алексей Александрович! Разве вы не видите, не чувствуете, не понимаете, что я, кажется, люблю вас? Да. Я, кажется, люблю вас. Вы хороший и добрый. Вы совсем не похожи ни на моего отца, ни на моего брата. Вы умница и во всем, во всем решительно правы. У нас с вами, понимаете, совершенно одинаковые мысли. Какое это странное совпадение, не правда ли?.. Не смейтесь. Я же ведь еще ничего не знаю. Я не знаю, можно ли мне вас любить. Я еще не понимаю, за что вас любить. Но разве вы не чувствуете, что я не могу здесь больше оставаться одна. Я не хочу, я не могу, потому что мне было всегда здесь плохо одной, без вас и будет хуже теперь, когда вы уедете отсюда снова на фронт со своим эшелоном. В тысячу раз хуже. Я не понимаю, почему, но это будет именно так... О, не перебивайте меня. И не отговаривайте, если я пойду за вами. Куда? Не все ли равно куда? Вместе с вашим эшелоном — через голодные степи, через пески и пустыни, на Каспий, на Кавказ, на фронт... Да, я готова ко всем походным лишениям. Я неплохо держусь в седле. Однажды отец похвалил меня за посадку и подарил мне настоящее кабардинское седло. И, если хотите, я пойду в строю. Я готова на все. Только не оставляйте меня, господин есаул, среди этой степи одну и не прощайтесь со мною, как прощаются все перед походом у какого-нибудь придорожного степного кургана... Вы слышите, все равно я пойду тогда вслед за вами. Отчего я все это говорю вам? Разве я могу понять это? Разве мыслимо объяснить вам все словами».

Так готова была сказать и мысленно говорила в эту минуту Таня Саранская Алексею Султанову. Но едва подняла

она на него глаза, как вдруг устрашилась своей решимости. А минуту спустя, она, сославшись на головную боль, поспешно удалилась с террасы.

Следом за Таней, извинившись перед гостями, ушла похлопотать перед сном по хозяйству и Милица Васильевна.

Оставшись без женщин, полковник с Аркадием подналегли на водку, и у них снова развязались языки. Султанов же, наоборот, пил теперь нехотя, вяло и продолжал сидеть точно в забытьи. И хотя Тани за столом уже не было, все же он не переставал ощущать ее незримое присутствие. На спинке кресла висел забытый девушкой легкий, вишневого цвета, кашемировый подшалок. И Султанов, глядя на этот подшалок, принимал его за частицу таниного существа, словно хранили складки этой материи теплое девичье дыхание и запах согретых солнцем золотистых ее волос...

Между тем граммофон умолк.

И Аркадий, обрадовавшись отсутствию сестры и матушки, развязал, наконец, давно чесавшийся язык для фронтовых анекдотов. Ничуть не смущаясь седого отца, он сыпал пулеметные очереди непристойных присказок и прибауток, а когда заметил, что это нисколько не смешило ни старика, ни Султанова, глубокомысленно заключил:

— Нет, господа, самое ужасное на войне это все-таки отсутствие женщин. Кроме отличного вооружения армии необходимы для поражения противника отличные бабы и водка. Совершенно серьезно. Уверяю вас, господа, что нехватка вина и женщин на фронте для господ офицеров — это, знаете ли, крайне острая проблема. И если уж на то пошло, — сказал он, обращаясь к отцу, — то не лошади, милый папа, а скорее всего бабы решают исход сражения. Невероятно? Глупости? Парадокс? В таком случае позволю себе сослаться на следующий пример. Когда нашу дивизию впервые бросили на линию огня под Перемышлем...

Но договорить Аркадию помешал внезапно выросший в дверях Авдеич. В струнку вытянувшись перед полковником, драбант отрапортовал:

— Разрешите доложить, што там одна женщина до вас домогается, ваша высоко благородье.

— Что опять за вздор? Какая опять женщина? — изумленно пробормотал, очнувшись, полковник.

— Казачка, ваша высоко благородье.

— Откуда? Зачем? Почему? Какая казачка?

— Станицы Пресновской. Сноха Платона Бушуева, ваша высоко благородье. У их ишо, стало быть, пашня ежли вы изволите помнить, с нашей усадьбой почти што рядом...

— Ну — пашня рядом. А дальше что? — все еще тол-

ком ничего не понимая, нетерпеливо и зло допытывался полковник.

— Так што дальше, ваша высоко благородье, позвольте донести согласно всей формы, по артикулу, — начал рапортовать привычным тоном тоже, видать, подвыпивший драбант. — Прискакала она, стало быть, на вершной, в казачьем седле. Честь честью. Вдетат на полном карьере в ограду. Бешеная — лица нет. А баба она не нашенских, не чистых с нами кровей, ваша высоко благородье. Словом, не поберегись я, — конем бы стоптала. При ее характере и таковое происшествие ничего не стоит...

— Короче. Короче, — нетерпеливо перебил драбанта полковник.

— Короче говоря, ваша высоко благородье, смотрю, спешилась она вполне по-казачьи, в один темп. Живо — повод на луку, коня — под навес, сама — на парадное крылечко. Я смекнул — и наперерез. «Стоп!» — отдаю ей команду. Каковое, дескать, имеешь право без особого на то докладу к их высоко благородью через задний ход ломиться?! То есть, извиняйте, через парадную дверь, конешно... А она ка-ак округлит на меня свои инокровные шарики, у меня аж в коренном зубу почему-то с тех пор заныло...

— Да говори же ты, наконец, мне толком, старый дурак, что ей от меня нужно?! — разгневанно прикрикнул на драбанта полковник.

— Не могу знать, ваша высоко благородье. Я уж как пытал. Молчит, ведьма. Сама, дескать, не хуже тебя отрапортовать што следует твоему барину сумею...

— Проси, — махнув рукой, приказал полковник.

Через минуту в распахнутых дверях террасы стояла с уздечкой в руках женщина. Это была Марина.

Было уже темно. И горничная, по требованию полковника, зажгла подвешенную под потолком «молнию».

Полоса шафранного света озарила Марину. Слегка придерживая одной рукой приоткрытую в дверях тяжелую портьеру, стояла она на пороге, неподвижная, высокая, стройная, и молча с любопытством озирала присутствующих. Свет падал на строгий профиль ее лица, на широкую, расшитую бисерной мишурой пелерину поношенной, но приятно стянувшей талию кофты, на небольшую, по-девичьи вздернутую грудь. Золотистые, крошечные блики огня отражались в темных, слегка прищуренных, но все же казавшихся необыкновенно большими ее глазах. Окантованные большими ресницами и густой тушеванной тенью от них, казались глаза эти еще более темными, чем были на самом деле. Какая-то неотразимо хищная прелесть и власть таилась в них там,

глубоко, за немыми, скупо отсвечивающими зрачками. Трудно было смотреть в такие глаза в упор. Очень трудно. И потому полковник, невольно потупившись, корректно и глухо спросил:

— Чем могу служить вам, сударыня?

Помолчав, Марина со свойственной ей прямотой и решимостью сказала:

— Вот што, господин барин. Я к вашей милости вполне по-хорошему. Люди у вас, видать, тут свои. Оба господа офицеры. Так што я буду говорить прямо. Извиняйте меня, конешно... А дело мое короткое. Прикажите-ка вашим степным тамырам-приятелям вернуть мне мою кобылу. Она ведь у нас жеребая. Кровный приплод в хозяйстве ждем. Вашим же донским производителем невзначай покрыта... А вы господа образованные, сами понимаете, што мне без такой лошади домой ворочаться с пашни никак не возможно: свекор убить может. Он у нас на хмелю замешан. Горячий. И рука у него очень тяжелая...

— По-позвольте, по-позвольте... — забормотал, слегка заикаясь и нелепо суетясь, полковник. — То есть, то есть.... я решительно ничего не понимаю. Причем тут, скажите на милость, я? Ка-кая кобыла?

— Гнедой масти. Левое ухо с вырезом-вилкой. Фамильное наше тавро с буквой бе на правой холке. Да што вам рассказывать? Конь приметный и зря бы такого у меня не угнали...

— Ничего не понимаю. Решительно, — сказал, пожав плечами, полковник. — Кто угнал? Когда угнал?

— Сегодня угнали. Прямо из-под самого носу. С пашни. Вполне знакомые вашему высок благородью барымтачи.

— Что вы изволили сказать? Барымтачи? Какие барымтачи?

— Барымтачи. Конокрады, значит. Киргизы.

— Господа! — изумленно воскликнул, обращаясь к настороживившимся офицерам, полковник. — Вы слышите? Вы понимаете что-нибудь со слов этой дамы? Что за вздор: кобыла, ухо с вырезом-вилкой, фамильное тавро, какие-то там, видите ли, как она позволила выразиться, барымтачи, конокрады, киргизы! Что за чушь?! С ума вы спятили, мадам, что ли?!

— Никак нет, господин барин. Я пока — ишо бог миловал — вполне из себя нормальная, — зло улыбнувшись полковнику, проговорила с издевательским спокойствием Марина. Потом, переведя глухое, недоброе дыхание, добавила: — А уж ежели вашей милости как бы все это неведомо, то могу расшифровать по форме. Вы не глядите на меня, гос-

пода офицеры, што я — баба. Меня тронешь, — я не только, скажем, нижнему чину, а самому вахмистру в словестности не уступлю.

— Ого! Вот это замечательно. Это мне положительно нравится... — признался, не сводя с Марины своих изумленно смеющихся глаз, есаул Султанов.

— Да-с, господа. Девушка, изволю заметить, с характером! — отозвался, старавшийся все время казаться трезвым, Аркадий Саранский.

— Имею за собой такой грех, — охотно согласилась с ним Марина.

Наступило молчание.

Полковник испытывал в эту минуту большое внутреннее волнение. Похоже, что старик о чем-то уже догадывался, чего-то вдруг по-настоящему страшился, что-то переживал. Стоя посреди террасы, он комкал в руках накрахмаленную салфетку и то тер ею побагровевшую потную свою шею, то одутловатые дряблые щеки, то убеленные сединою виски. Глаза его наполнились болезненно ярким, злым блеском: они обрели странную, очень странную, почти неправдоподобную подвижность и с какой-то мышиной расторопностью сновали по полуосвещенной террасе, словно искали чего-то и не могли найти.

И Султанов, на мгновение ощутив на себе этот скользнувший по лицу его неприязненно холодный, почти физически осязаемый острый взгляд, понял, что минута возникшего молчаливого замешательства была крайне неприятной для полковника, точно так же, как мало приятной была для него, очевидно, и эта неудачная встреча с решительно переступившей порог господского дома казачкой.

Собственно, придерживаясь элементарных правил приличия и общежитейского такта, есаулу, как человеку постороннему и гостю, следовало бы, разумеется, немедленно и незаметно удалиться с террасы. Это надо было сделать тем более, что полковник явно выжидал теперь такого момента, когда он мог остаться, наконец, со своей непрошенной гостьей наедине.

Султанову это было совершенно ясно. И характер в сущности уже предопределившегося между полковником и этой женщиной взаимного разговора, и тон, и манеры храбро державшейся в офицерском окружении казачки, — все это неукоснительно говорило о том, что хозяина этого дома ждет довольно-таки крутое и, вероятно, не совсем лестное для него объяснение.

Султанов отлично понимал и предугадывал это и потому мысленно твердил самому себе:

«Пора, пора их оставить. Пусть договорятся. Иду. Иду. Иду» — убеждал себя есаул. Но в то же самое время он продолжал стоять на месте и с нескрываемым, по-ребячески восторженным любопытством приглядывался к необыкновенной казачке. Он смотрел на строгий, смягченный сумраком профиль ее, на высокую, стройную, прочно скроенную фигуру, смотрел и чувствовал, какой большой, тревожный, сильный и цельный жил в ней, во всем ее облике, характер. Он смотрел на нее и думал о том, как горячо, должно быть, и напряженно пульсирует по голубым жилам этой женщины степная, вольная кровь...

Султанов еще не представлял толком, вполне ли были основательны требования казачки, с которыми храбро явилась она к полковнику, но в душе он уже всецело был на стороне ее и искренно желал ей всяческой удачи.

И вот, на мгновенье забыв о всяком приличии и такте, есаул едва не вмешался в разговор, но, заметив полное смятение старого полковника, сдержался и, осторожно ступая на носки шагреневых сапог и пытаясь не звенеть серебряными шпорами, бесшумно удалился через наружную дверь террасы.

XXI

Спустившись с крыльца, Султанов пересек крокетную площадку с беспорядочно разбросанными на ней отполированными молоточками и шарами, невольно вздохнул, вспомнив при беглом взгляде на эти шары о Тане, и машинально опустился на первую попавшуюся садовую скамью.

Было тихо.

Но в кустах отцветающей сирени то замирал, то вновь возникал неясный — как в сновидении — тонкий и сложный шум: шелестели ли это тихо опадающие с гроздьев бездыханные лепестки; буйствовали ли в лесной чаще незримые ночные птахи; или, может быть, это продолжали расти, не признающие ни сна, ни покоя новорожденные ветки и листья?!

О, как хорошо было сидеть здесь в уединении, слушать эту колдовскую сумеречную тишину и гадать о великой тайне ее рождения! Или даже, может быть, совсем ни о чем не думать и не гадать, как не думал и не гадал ни о чем в эту минуту укрывшийся под шатром сиреневого куста есаул Алексей Султанов...

Положив ногу на ногу, полусмежив отяжелевшие веки и откинувшись всем корпусом на влажную от росы спинку садовой скамьи, он притих. Он впал в состояние, близкое к глубокой дремоте. Он полудремал, хотя и отлично слышал

ритмичное, звучное поцокивание удаляющейся по тракту все дальше и дальше ямщицкой брички. Потом до него донесся глухой, рыдающий на соседнем озере клич выпи. Вот прозвучал где-то далекий, очень далекий гортанный крик степного пастуха. Вспыхнул и медленно стал угасать печальный, рассеянный шорох и звон щеркунцов промчавшейся мимо усадьбы земской тройки...

Но все это длилось одно мгновение. Только одно мгновение. Не больше. И вот вдруг, очнувшись от беспричинной, как ему показалось, тревоги, Султанов увидел впереди себя часть слабо освещенной террасы, потом тонкую, резко очерченную тень женщины на экране призрачно белеющей вдали стены и узнал по этой тени казачку.

Это вернуло есаула к действительности. Он вспомнил все до мелочей — от момента появления в дверях террасы этой женщины до ее последнего, как бы вскользь брошенного на него взгляда. И странное, очень странное чувство овладело им. Он почувствовал себя так, как почувствовал бы себя человек, неожиданно ощутивший на себе чей-то острый, проникновенный взгляд. Он не видел этого взгляда, но ощущал на себе его и только потом, позднее понял, что так на него посмотрела в последний раз эта необыкновенная казачка. Да, это ее темные, скупо отсвечивающие в сумраке глаза смотрели на него из вечерней мглы и потому, может быть, так встревожили и внутренне насторожили его в эту минуту.

Султанов встал и, подавшись на полушаг вперед, остановился. Отсюда ему была видна почти вся обнажившаяся в просвете сиреневых зарослей терраса и все три фигуры находящихся в этот момент на ней людей. Попрежнему у стола с салфеткой в руках стоял полковник. Поодаль, налево от него — Аркадий Саранский. А в дверях, непринужденно забавляясь зажатыми в пальцы тяжелыми кистями портьеры, — женщина.

Насторожившись и почему-то даже слегка приподнявшись на цыпочках, Султанов услышал после длительной паузы приглушенный, жесткий голос полковника.

— ...Ваше счастье, сударыня, что вы — женщина, — сказал полковник. — В противном случае за подобную дерзость я приказал бы своему драбанту взять вас за шиворот и выбросить отсюда вон!

— Ну што ж, зачем же дело стало — попробуйте...— донесся до Султанова удивительно спокойный, грудной голос казачки.

— Щажу. Потрудитесь немедленно удалиться сами.

— Я уйду. Ночевать с вами, барин, пока ишо не собираюсь... — попрежнему спокойно, вполголоса проговорила, не-

ясно улыбнувшись кому-то, казачка. — Я уйду, — повторила она после незначительной паузы. — Мне с вами зря балясы точить некогда. Недосуг. У меня малый деверь без приглядку, на ночь глядя, один на пашне брошен. Сами знаете, дело детское. Страшится, небось, теперь в такую пору там без меня мальчишка..: — сказала она с теплотой и опять никак не отвечающим моменту тоном.

Султанов заметил, что при этих словах полковник выпрямился и готов был сказать что-то резкое и решительное. Но женщина опередила его.

— Я уйду, — сказала она, — только запомните, ваша высок благородье, што простить такого баловства вашей милости никак не могу. Не обессудьте меня за это. А коли заупрямитесь, — за себя ручательства не даю. Неровен час — большой беды на всю степную округу могу наделать. Что ж поделаешь — такая... Ну вот. А потому добром прошу. И в последний раз. Прикажите там кому следует, штоб сегодня же до утренней зари пригнали мне на пашню мою кобылицу обратно. И железное путо с замком пущай вернут в целости. У меня свекор за это полфунта цейлонского чаю да ишо ременный кнут в придачу в Куендах на ярмарке отдал. Вот так, барин, — вместе с путом. Ну, да конокрадов учить в этом деле нам не приходится, без нас тонко свою работу понимают...

На мгновение умолкнув, она оправила легким движением руки сбившийся на голове ситцевый, в горошек, платочек и, вызвав невольную улыбку у наблюдавшего за нею со стороны Султанова, как ни в чем не бывало продолжала:

— Ну, вот договорились, и вся недолга. Выходит, как будто и ворованой кобыла моя не была. А насчет там разного звону да дурной молвы — не волнуйте свою организму, барин. Все будет шито-крыто. Хоть я, извиняюсь, и баба, конешно, да не из болтливых. Язык за зубами, когда надо, держать вполне за себя способная. Эвон они у меня, посмотрите, какие крепкие да частые! — показала она вконец ошаращенному полковнику, неожиданно обнажив перед ним мгновенно вспыхнувшей и тотчас же угасшей на губах улыбкой, действительно частые, жемчужно сверкающие оскалом мелкие, хищные зубы.

— Сударыня... — раскрыл было рот полковник.

— Ну-с, а теперь будьте здоровеньки, господа хорошие,— опять перебила его, почтительно кланяясь, казачка. — Покорнейше прошу уж извиняйте меня, ради бога, за мою прямоту. Да и то што с меня возьмешь-то?! Ну баба и баба! Волос долог, да ум короток. Курица не птица — баба не чело-

век. И так оно далее и тому оно подобное. Вон господин-то молодой офицер, небось лучше меня, дуры, все эти прибаутки знает... — кивнула она, опять порочно улыбнувшись во весь оскал и без того огорошенному Аркадию.

— Куда там. Пасую, голубушка. Сдаюсь... — откровенно признался он, глупо подернув плечами.

— Ну-да! — недоверчиво растянула казачка и, сразу же перейдя на скорбный, строгий, серьезный тон, продолжала:— Да што там говорить. Народ мы степной, дикой, вполне необразованный. Железной дороги не видали. Нотного обращения с господами офицерами не понимам. В гимназиях и прогимназиях и так далее не бывали... — говорила она уже, казалось, не обращая решительно никакого внимания ни на полковника, ни на его ошеломленного улыбающегося сына.

Потом Султанов заметил, как, на секунду задержав на полковнике прямой, глухо блеснувший в сумраке взгляд, казачка с какой-то необычайной быстротой и почти изящной легкостью повернулась кругом, и высокая, подчеркнуто прямая, строгая фигура ее мгновенно скрылась за дверью.

Полковник судорожно передернул плечами. Он брезгливо швырнул наотмашь скомканную салфетку и молниеносно застегнул китель на все пуговицы. Потом, торопясь, налил трясущимися руками бокал вина и, пока пил его с закрытыми глазами, как пьют отраву, жадными, злыми глотками, Аркадий тем временем, не сказав ни слова взволнованному отцу, бросился со всех ног вслед за исчезнувшей в дверях террасы женщиной.

XXII

Султанову тоже вдруг захотелось почему-то догнать казачку. Он хотел прикоснуться к обнаженной по локоть смуглой, по-девичьи гибкой ее руке и сказать ей что-нибудь на прощанье. Но что именно сказать — он не знал еще в эту минуту и сам. Однако его охватила тревога, и опять, казалось, совсем беспричинная боязнь за то, что женщина эта вдруг может сейчас же навсегда от него исчезнуть, скрыться, уйти, что он не увидит ее больше, нигде не найдет ее и никогда уже больше не скажет ей тех особенных слов, которые пока еще не возникли, не оформились в его сознании, но он знал, что при встрече с нею лицом к лицу слова эти найдутся и зазвучат.

И Султанов сначала торопливым, сбивчивым шагом, а потом — бегом ринулся прямо через цветочные грядки и клумбы и парадному подъезду особняка. Но здесь было пусто.

Султанов бросился к черному ходу. Однако и здесь не

оказалось никого, кроме древнего сторожевого пса Терзая, мирно дремавшего на приступке крылечка.

Наконец, растерянно осмотревшись по сторонам, заметил есаул поспешно удаляющуюся в глубь огромного двора знакомую женскую фигуру.

Султанов поспешил вслед за нею. И вот, уже совсем почти настигнув ее, он различил, что по пятам за женщиной шагал и горячо, вполголоса наговаривал ей нечто тревожное и неясное Аркадий Саранский.

Султанов опешил.

Притулившись к стойке навеса, есаул не хотел быть замеченным сотником и, затаив дыхание, принялся воровски присматривать за каждым движением, шагом и жестом этой пары. Одновременно Султанов старался и расслышать то, о чем с такой вкрадчивостью и горячностью говорил, наступая на женщину Аркадий: упрекал ли он в чем-то ее, просил ли о чем или же угрожал ей?

Было уже совсем темно.

Но за прозрачно чернеющими по ту сторону ограды деревьями поднимался молодой, звонкий, зло сверкающий гнутым лезвием месяц, и ронял он на землю таинственный, угарный, неверный свет.

И Султанов, приглядевшись, отчетливо видел теперь смутно озаренные этим светом две людские фигуры и поджарого скакового коня, что привязан был шагах в пяти от него у противоположной поднавесной стойки. Есаул видел, что женщина, приблизившись к коню, слегка коснулась ладонью до дрогнувшего от ее прикосновения бедра лошади, торопливо подтянула подпругу и, не отзываясь на горячий, настойчивый шопот сотника, стала поспешно отвязывать от столба повод.

И вот Султанов, до боли напрягая зрение и слух, расслышал, наконец, несколько слов, произнесенных в эту минуту молодым Саранским.

— ...Поймите же, голубушка, — говорил запальчиво сотник. —Поймите же, что я не меньше вашего возмущен, ежели все это только так, ежели все это только сущая правда. Смею вас уверить, что я поступлю с ним, как может только поступить боевой армейский офицер!.. Клянусь. Слышите? Я клянусь — лошадь вам будет возвращена. И немедленно. Сегодня же ночью. Я потребую этого. Я сам вам ее, наконец, приведу. Я доставлю. Но... послушайте же. Умоляю. Выслушайте меня. Это одна минута. Меньше. Меньше — секунда... Я должен, я обязан сказать. Я не могу, не вправе умолчать перед вами об этом... С первого же взгляда, с пер-

вого же мгновения вы, красота ваша, глаза ваши, ваши руки, улыбка, губы...

Дальнейших слов сотника есаул не расслышал.

И вот Султанов скорее почувствовал, чем увидал, как Саранский, вплотную приблизившись к молчавшей, прижавшейся к бедру коня женщине, заговорил теперь все глуше, все горячей, все порывистей, точно в бреду, и, наконец, перешел на полушопот.

Султанов даже прикрыл глаза и с трудом сдерживал дыхание. И вдруг среди дремотно позванивающей ночной тишины, среди невнятного шелеста тихо растущих в эту пору трав и древесных листьев услышал он ясно прозвучавший озлобленный, спокойный и четкий голос женщины:

— Не троньте меня, господин офицер. Добром вас прошу. Без греха... — сказала она, прогремев цепким поводом недоуздка.

— Ну, тихо. Тихо... — пробормотал полушопотом Аркадий Саранский.

Затем на секунду стало действительно так тихо, что Султанов расслышал слабый скрип не то ременного повода, не то седельной подушки и совершенно произвольно до хруста в суставах сжал в кулаки горячие свои пальцы. И в это же мгновение есаул ощутил прилив крови к вискам и почувствовал, что багровеет от необъяснимого, чудовищного, переходящего в мучительную тоску волнения. Это было очень странное, непривычное чувство, внезапно поработившее его. И вот он продолжал стоять, ни шолохнувшись, испытывая нечеловеческое напряжение нервов, мускулов, зрения, слуха, воли.

Затем — и это произошло в какую-то долю секунды — конь с храпом рванулся в сторону, с треском оборвал лопнувший, разящий ворванью повод и едва не сшиб грудью притулившегося к столбу Султанова.

Потом раздался приглушенный крик женщины: он прозвучал и тотчас же погас, как будто где-то на очень большой глубине, в кромешной мгле подземелья.

Загремело с грохотом прокатившееся мимо султановских ног огромное пустое ведро. Просвистели где-то над головой у Султанова незримые птичьи крылья: то вспугнутые голуби тревожно заметались из стороны в сторону под высокой и темной крышей навеса.

И тогда Султанов, уже не помня себя и ничего не видя перед собой, ринулся с распростертыми руками навстречу глухо прозвучавшему из мглы отчаянному женскому крику.

...А в это время под навесом у штабелей теса барахтались, тяжело дыша, в ворохе сенных объедков сотник с ру-

хнувшей под ним навзничь казачкой. Подобно подбитой птице, молча билась она под грузной тушей молодого Саранского, беспомощно царапала распятыми руками сухой конский навоз, скребла цепкими тонкими пальцами горячую, еще не успевшую остыть от дневного накала землю.

Сначала Султанов при виде этих полуобнаженных, распластанных на землю рук растерялся. Потом, стремительно накренившись всем корпусом в сторону и точно приготовившись для косого сабельного удара, он с такой страшной силой рванул за плечо прикрывающего собою женщину сотника, что тот, приподнявшись над нею, с шумом отлетел на косую сажень за спину Султанова и тяжко охнул, ударившись головой о кованый кузов стоявшей поодаль брички.

В правой руке Султанова остался сорванный с сотницкого плеча чешуйчато серебрящийся в лунном свете офицерский погон. Но Султанов так стиснул пылающие свои пальцы, что даже не ощущал этого, зажатого в ладони невесомого шероховатого предмета.

Тем временем женщина, мгновенно вскочив на ноги, одернула сбившуюся выше колен юбку, подобрала мелко дрожащими пальцами упавшую на лоб тяжелую прядь волос и, ни слова не вымолвив, направилась попрежнему быстрой, по-девичьи упругой и легкой походкой к покорно ожидающему ее вблизи навеса коню.

Султанов стоял, не смея пошевелиться. Спекшиеся ребячески припухшие губы его были полуоткрыты и слегка искривлены полустрадальческой, полунаивной улыбкой. Не спуская с казачки изумленно округлившихся, чуть косивших от только что пережитого гнева и решимости, ярко блестевших в лунной полумгле глаз, видел он, как, подойдя к своему коню подобрала женщина с земли и моментально скрепила калмыцким узлом разорванный повод. А затем, взявшись одной рукой за луку, взметнула она с похвальной кавалерийской легкостью в приятно скрипнувшее под нею седло.

Потом всадница выпрямилась, проверила на вытянутой ноге длину стремени и, презрительно кивнув обескураженно стоявшим друг против друга офицерам, тихо и властно приказала:

— А ну откройте-ка мне, господа офицеры, ворота!

И Султанов с готовностью послушно подался уже было на полушаг вперед, но его опередил подоспевший Авдеич. Одичавший и, как всегда, более расторопный спросонок драбант шумно и решительно распахнул ворота. Но, увидев Марину, старик разинул от изумления и робости большой щербатый рот и остановился, как вкопанный, в самых воротах.

— Эй, ты, ваша сиятельство! Поберегись — стопчу! — насмешливо крикнула, пригрозив нагайкой, зазевавшемуся драбанту Марина и, привстав на стременах, легким пинком в пах вспугнула коня.

Чуть дрогнув и слегка осев на задние копыта, жеребец мгновенно напружинился — точно приготовился брать препятствие — и сразу же с места взял легким стремительным броском в галоп.

Еще секунда — и всадница исчезла за оградой усадьбы, оставив после себя слегка дымящиеся жемчужной пылью следы коня да сея по пустынному тракту убегающий за версту топот некованных, освеженных обильной майской росою конских копыт.

Султанов комкал в руке сорванный с офицерского плеча погон.

Аркадий Саранский, оскорбленно поникнув, старался воровски приглушить неровное, учащенное гулкое свое дыхание.

Оба офицера продолжали стоять друг против друга молча. И было похоже, что оба они, тая друг от друга дыхание, ревниво вслушивались в этот далекий-далекий, медленно замирающий в ночи и просторе ритмичный копытный стук.

XXIII

Жил в станице Пресновской приблудный батрак и поденщик Аким Чумак. Это был на редкость длинновязый, до звона тощий, словно сухопостойная осина, голубоглазый и добродушный парень родом с прилинейного переселенческого хутора Черниговки. Вся станица, от мала до велика, знала его, как человека словоохотливого, не скупого на песню, резвого в пляске, злого на прибаутки и тяжелого на руку. Господа же станичники, что были постарше, уважали его за веселый общительный нрав и втайне побаивались за хмельную разбойничью удаль.

Молодежь не чуралась хохла, охотно таскала его за собой по девишникам и вечеркам, а по годовым праздникам даже допускала к участию в самых больших и страшных станичных драках.

В хмелю да в драках, да еще с жердью в руках длинновязый Чумак казался миру еще страшнее и выше и потому одним только своим появлением в толпе зачинщиков наводил ужас на дрогнувшего противника и зачастую тотчас же обращал последнего в позорное бегство. Поэтому-то и не удивительно, что каждый из враждовавших промеж собою краев станицы норовил заручить Чумака на свою сторону, и

многие из молодых казаков, всячески унижаясь и заискивая перед ним, набивались на его внимание и дружбу.

Но Чумак был разборчив в людях, знал цену лести, не был падок на похвалу и посулы и продать себя по дешевке не мог. И только с двумя сверстниками, природными казаками из всей станицы, и дружил, пожалуй, по-настоящему он. Это были, так же, как и он сам, бесшабашные в редких гульбищах, злые в работе и шальные в станичных побоищах погодки — Корней Шебанов и Агап Бушуев. Вот с ними-то лет пятнадцать без малого работал Чумак по найму, батрачил у местных скотопромышленников, братьев Боярских. Все втроем не раз хаживали они в юности с гуртами скота по знаменитейшим в крае степным ярмаркам на Кар-Каралы, в Каракол, в Куенды и до Баян-Аула. Позднее Чумак, как прославленный на всю Горькую Линию мастак по убою, работал вместе с этими казаками на осенних забоях крупного рогатого скота по окрестным станичным бойням. Ну, а коли гребли ребята своими руками жар на чужую казну артелью, то и спать в чистом поле не раз приходилось им под одним зипуном, и последним куском порою делиться, и шкаликом водки тоску заливать, и горькие песни певать о батрацкой доле, и скупую на ласку и радости молодость свою без оглядки по скотопрогонным дорогам и трактам веять — мало ли чем ни красна бывает трудовая дружба!

Но вот беда. Как Чумак не прижился к станице, как не оказачился и в речах, и в повадках, и в облике, а о происхождении его в станице не забывали, и господа старики всегда при случае напоминали Чумаку о чуждом его сословии, а нередко — бывало и это — корили им.

Чумак и сам на каждом шагу видел ту великую разницу, которая ощущалась во всем между пришлыми в этот широкий степной простор с далекой Украины его сородичами и местными старожилами — володетельными линейными казаками.

Разница эта, прежде всего, бросалась в глаза при разделе земельных угодий. Переселенцам нарезалось не более десяти десятин на двор, линейным казакам — по двадцать пять на служивую душу. Прищельцев теснило переселенческое управление на солончаки и суглинок, казакам же отводились при разбивке переселенческих хуторов и отрубов самые лучшие, отборные целинные земли. Наконец, пришлые чувствовали себя в этом чужом, необжитом, полудиком краю, точно временно привеченные под чужим неласковым кровом постояльцы, линейные же старожилы держали себя везде и всюду, как единственные степные хозяева.

И Чумак, приглядевшись попристальнее к завлекательной

казачьей жизни, видя разные льготы ее, поблажки и выгоды, решил во что бы то ни стало стать казаком.

Однако при первой же попытке его приписаться к станице и выхлопотать через войсковую управу надлежащие казачьи права потерпел он полную неудачу: карман больно тонок оказался у молодого новосела для такого дела!

Правда, на бочку казенного вина, которую выкатил он от целовальника, согласно вековой традиции, и поставил ее напопа средь станичной площади в дар господам станичникам, капитала его еще с грехом пополам хватило. И общество выборных, резво выхлестав в один из воскресных дней даровое угощение и слегка поломавшись, конечно, для виду, все же соответственный приговор о присвоении Чумаку казачьего звания под шумок накатало.

Но сунулся наш новоявленный казак с прошением и приговором к наказному атаману Сибирского казачьего войска, да к тому же вложил еще в пакет под сургучной печатью, как советовали добрые люди, двадцатипятирублевую кредитку, — и вот ни пространное прошение, ни общественный приговор господ стариков, ни деньги, — ничто, к великому изумлению просителя, не возымело в глазах всемогущего наказного атамана должной силы.

Денег, правда, атаман ходатаю не вернул. На прошении же последнего собственноручно начертать изволил: «Просьбу сию оставляю без особых последствий по причине того, что бумага сия составлена с допущением нарушения устава о подаче оных прошений на мое имя по собственному, утвержденному и высочайше узаконенному артикулу! Наказной атаман линейного Сибирского войска, наместник степного края, Акмолинский генерал-губернатор А. Сухомлинов».

Что должны были означать собою эти косо начертанные в верхнем углу гербового листа атамановы слова — Чумак толком не разобрал сразу. И только письмоводитель Лука Стабровский разъяснил суть резолюции наказного атамана. Оказалось, что понимать сию резолюцию, по словам письмоводителя, надобно было так: «Вместо четвертного билета в пакет следовало бы заложить недогадливому хохлу сторублевую «катеринку». Вот тогда-то уж наверняка дело бы было выиграно! Наверняка. Да. И ответа тогда бы не стоило дожидаться из войсковой управы — не надо. Смело требуй в таком разе Аким Чумак у станичного писаря включения в поименные казачьи списки. Начесывай по-казачьи лихо, с вывертом из-под лакированного козырька веселый чуб и пришивай к своим форменным шароварам красные лампасы! А в утвердительном ответе и благожелательной резолюции наказного атамана в таком случае не сомневайся: все будет признано согласно высочайше узаконенного артикула!»

Обидно было слышать Чумаку от письмоводителя подобное толкование. Очень обидно. Шутка сказать — кредитный билет сторублевого достоинства! Чумак и сам-то видел такую бумажку с портретом обольстительной императрицы Екатерины II всего только раз в жизни, да и то мельком в пухлых розовых пальцах у подгулявшего хозяина своего на Константиновской ярмарке в городе Атбасаре. Было это давно. Но и через долгие годы часто явственно слышал размечтавшийся Чумак жесткий хруст крепко зажатой в маленьком паукообразном хозяйском кулачке этой воистину шикарной кредитки...

Сторублевый билет!

Эге, да ведь это же великие деньги!

Да ведь это же — скажем прямо — целое состояние!

Но вот беда: такого капитала, как ты там ни изворачивайся, не экономь, ни крутись, а своим горбом на чужой постати не скоро сколотишь. Оно хоть и золотые были руки у нашего Чумака — об этом вся окрестная степь по скотопрогонным дорогам и трактам говорила,—но кроме положенных тридцати двух целковых с полтиной на круглый год, немудрых хозяйских харчей да пары сапог к покрову из опойка, — иной цены господа станичники на эти самые руки и в ярмарочный день никогда не набивали. Вот и попробуй, вывернись изловчись тут вложить в сургучный пакет вместо четвертного билета розовенькую сторублевую кредитку!

Но Чумак был — Чумак. Парень рискованный и упрямый. Без толку разорив на свою шальную затею последние трудовые гроши, он от мечты своей не отрекся.

Наоборот, все беспокойнее, все злее и настойчивее стал он мечтать теперь о том, как захрустит однажды в один божий день в черствых пальцах его новенькая сторублевая кредитка и как купит-таки он за эту самую ассигнацию неприступного с виду наказного казачьего атамана. Да! Можете не сомневаться. Купит.

Люди добрые! Господа станишники! Вы когда-нибудь слышали на своем веку, чтобы пришлый хохол, да к тому же еще и гол, как сокол, объегоривал самого главного нашего атамана?! Нет, не слыхать было што-то до сей поры на Горькой Линии про такого? В таком разе, разрешите, ежели уж на то пошло, пусть Аким Чумак вам свой характер на сей раз докажет. Вы ж дайте только срок. Трошки повремените. А там будет видно: способен ли приблудный к станице хохол на такое дело и вполне ли сможет он при желании присовокупить себя к гордому казачьему званию...

И вот шли годы.

Не за горами был срок призыва на действительную службу. А Чумак продолжал приберегать, поднакапливать для затеи своей лишнюю трудовую копейку и мечтать о том, как доканает-таки он наказного атамана и станет в конце концов казаком.

Зачем ему теперь далось все это, когда не имел он в канун ухода на военную службу ни кола, ни двора, ни скотины, ни животины, ни семьи своей, ни коня, ни дому, — трудно сказать. Впрочем, Чумак и сам не знал этого толком, да и никогда почему-то не задумывался над этим. Больше того — и земельный надел, когда-то прельстивший нашего пришельца, и он тоже в сущности не нужен уже был теперь ему. Пашни своей распахивать Чумак не собирался — по плечу ли одинокому безлошадному парню этакая работа?! Голыми руками древнюю целину сибирских степей не возьмешь, а от продажи ее тоже не бойко-то на каких-нибудь там полста целковых разыграешься. Но случись бы такой грех, зачисли по указу наказного атамана Чумака в казаки, — ему бы и в строй не встать: ни коня, ни амуниции, ни прочего положенного служивому казаку по уставу походного снаряжения, которое полагалось заводить на собственные средства.

Однако, все это ничуть не смущало Чумака, и он часто хвалился в хмелю на миру, что ежели задумал, то быть ему казаком, а разойдясь, полушутя, полусерьезно не раз угрожал даже дослужиться до есаула.

XXIV

В самый канун войны, в один из воскресных дней, когда слегка подвыпившие господа старики, собравшись на крепостном редуте, скучно томились от зноя, от лени, от праздности, а главное — от нехватки распитой по случаю выгодной распродажи киргизам общественных сенокосных паев бочки казенного вина, — в эту самую пору предстал предзатуманившимися очами станишников тоже чуть подгулявший где-то на стороне Аким Чумак.

Казаки лежали близ редута вразвалку и мрачно поджидали снаряженных в кабак за дополнительной порцией одностаничников.

Заметив поднявшегося на крепостной вал Чумака, Кирька Караулов насмешливо крикнул:

— Ого, воспода ребята, в нашем войске ишо одним храбрецом прибыло. Тоже в казаки метит. Ура!

— Ур-ра! — недружно гаркнуло несколько глоток.

Чумак, поднявшись на вал, картинно отставил правую ногу, откинул на макушку свой темносиний мещанский картуз, выждал пока затихли последние нерешительные, но явно подковыривающие его окрики встревоженных казаков и, вызывающе подбоченясь, нарочно громко сказал:

— Ось повремените трошки, господа станишники. Ось повремените, кажу я, трошки. А тамо побачимо який козак, мабуть, ще з мены зробится!

— Из тебя, слышь, казак, как из моего подживотника тяж! — гневно крикнул Чумаку кавалер Вашутин.

— Эге, заило?! — обрадованно откликнулся Чумак. —Ну що ж, потигаемся зараз з твоими сынками, дидка! Там побачимо, кто з нас найкращий: воны — твои сыны, природни козаки, или ж я, хохол, родом с Черниговки. Побачимо, дидку. Побачимо!

— Да ты, сукин сын, клинка из ножен вон по команде не вытащишь! — донимал Чумака второй из кавалеров — дед Арефий.

— Шо-о? Клинка з ножин?! Холодной оружии?! Сабли?! — крикнул раскипятившийся Чумак. — Эге. Бувайте, господин георгиевский кавалер, здоровеньки. Ось погоди, дидуня, тильки дай заручиться мэни вашей шашкой, побачим тоди на гарну мою работу. Да я ж тоди уси перши приза по зрубке лозы на плацу у вас возьму разом! Ни, я ще докажу вам, як у нас джигитуют, рублят и так воно и дальше. Я ще порубляю там. О!

Дерзкий в хмелю, хвастливый и самоуверенный Чумак быстро доводил обидчивых и запальчивых, как малых ребят, господ стариков до белого каления. А тут и подавно, коли и зной такой, что спасения нет, и хмель последний из башки выходит, и послы за вином где-то запропастились! И потому мгновенно войдя в гневную немилость, станичники, глумясь и потешаясь над Чумаком, во весь голос завопили:

— Круто, варнак, берешь — с пупа сорвать можешь!

— Резь в животе откроется...

— Корпусом, восподин хохол, — смотрю я на тебя — в казаки ты ишо маненько не вышел.

— Морда шибко не натуральна для тому подобного звания!

— Ось погодите! — не унимался Чумак. — Я ще вам докажу Кузькину мать. Я ще з вашим братом поспорю.

— Доказал наш дед твоей бабке...

— А у тебя пороху не хватит.

Кирька Караулов, всплеснув по-бабьи своими длинными худыми руками, истошно завопил фальцетом:

— Спаси и сохрани, матерь божья, наше сибирское линейное войско от такого казачества!

Другой из братьев Карауловых, Оська, взобравшись на крепостной вал, кривляясь, выхаживал на носках вокруг невозмутимого Чумака и, показывая на него жестами, кричал:

— Вот и возьми его, воспода ребята, за рупь с четвертаком! Чем хохол не джигит, скажите на милость?! Чуб, как у подхорунжего! Голос, как у подъесаула! Хоть сейчас — в гвардию, хоть маненько погодя...

— Джигит на славу! Только вот грех — джигитовать-то, извиняйте меня за такое выражение, не на ком... — рявкнул Буря.

— Хо! Как это так — не на ком?! — заступился за Чумака с притворной серьезностью Лавра Тырин. — Как это так? Нет, напраслину, воспода старики, на хохла клеплите. А про бугая забыли! То-то. Ежели строевого коня, скажем, у нашего брата нету — зарез. А хохлу не беда: оседлает он пороза и пошел с эшелоном казачьей сотни на полный аллюр по манежу рвать!

При этих словах Лавра Тырина все казаки, как один, повскакали на ноги и, охая от гулкого хохота, забили в ладоши, засвистели, заухали.

— Правильно вякнул, кум!

— Молодцом, восподин станишник!

— Мы его на общественном порозе в полк проводим!

— В гвардию...

И опять верх взял Кирька Караулов. Он стоял теперь выше всех, на центральном валу редута, и крикнул так звонко, что у самого в ушах зазвенело:

— Стоп, воспода старики. Смирно! Слушать, што я реву. А реву я то, што приписать хохла к нашей пятой сотне. Мы его на быку с правого фланга постановим. А потом на смотру, когда грянет команда, дескать, — справа по одному, це-ре-мониальным ма-арршем мимо камандующего парадом, — цоп цобе, марш-мар-рш! — и запляшет тогда под нашим фланговиком бугай иноходью. Вот эта будет парад — туманная картина с волшебным фонарем, воспода ребята!

И древние холмы, и простреленные картечью мишени крепостного редута дрогнули от взрыва гулкого, как предрассветный гром, хохота. Да еще бы тут не похохотать до слез господам ребятам! Слыханное ли дело — чужекровный пришелец из-под Чернигова угрожает средь бела дня на честном миру прослыть чуть ли не за храбрейшего казака в Сибирском линейном войске — это ли не потеха для хвативших по доброй чарке беспечных и праздных станичников?!

Эх, и смех, и грех с таким народом, чисто, ежели кто понятие тонкое во всех этих казачьих делах имеет!

Чумак, стоя на крепостном валу, долго крепился, сдерживал себя от бушевавшего в нем запала. Он ждал, что, вволю накричавшись, казаки притихнут сами собою. Однако гул, оскорбительные окрики, свист и улюлюканье все нарастали с угрожающей силой, и распоясавшиеся, подогретые водкой и хмельными воплями отпетых горлопанов старики перешли от шуток к глумлению над Чумаком, от безобидных насмешек — к издевательству. Долго молчал Чумак, крепко стиснув кулаки, а еще крепче зубы. Наконец не выдержал и закричал, прослезившись не то от внезапной тоски, не то от ярости:

— Ось погодите же, сукины вы сыны, господа ребята! Я ще вам покажу, як воно это само... Шо? А про Тараса Бульбу слыйхали? Ни? Ничего? Эге. Так слухайте, шо я буду говорить. Во козак быв! Я же тэбэ породыв, кажет вин своему Андрию, я же тэбэ и убью. О! А вы мэни заводите про бугая. Тилько вин, ваш бугай, мэни не к чему. Я на тий рогатой скотыни, як и ваши сыны, козаковаты ще ни збираюсь. Я такого коня соби заимию, шо уси ваши станицы станут на его, як на живописну картинку дывыться! О! А некоторые господа георгиевские кавалеры з зависти аж икаты зайшнуть.

Такие дерзкие речи совсем вывели из терпения кавалеров. Выбившись из толпы на передний план, они, размахивая своими, похожими на сабли, палками, гневно закричали:

— Ты про наши дарственные отличия, смотри, лишнего-то, хохол, не брякай!

— Буровить — буровь, да оглядывайся...

И станичники дружно подхватили:

— Ты, хохол, кровей в нас ради праздника лучше не горячи!

— А то ведь мы живо и в рукопашную перейти можем.

Чувствуя, какой крутой оборот принимает эта словесная перепалка между одиноким Чумаком и обществом, любители праздничных потасовок, первые организаторы междоусобных драк и мирских побоищ — братья Кирька и Оська Карауловы начали уже на ходу засучивать рукава воскресных сатинетовых рубах. А через минуту, потрясая подвернувшейся под руку жердью, Кирька, выйдя вперед, совсем, казалось, мирным тоном предложил обществу:

— А ну, заведем, воспода станишники, некоторую драку.

XXV

Как всегда, на драке настаивал первым из всех, у кого чесались руки, Кирька. Это был немолодой уже казак, лет

под сорок, а может быть, даже и с гаком. Ростом был Кирька не меньше Чумака — три добрых аршина. На действительную службу он не ходил — маялся смолоду грыжей. На обличие выглядел тоже не ахти как: козлиная бороденка в три волоска, да и та неопределенной расцветки. Правая ноздря у него отчего-то была вдвое шире левой. Да и вообще поражала всех в нем какая-то присущая ему и в стати, и в облике страшная несоразмерность. Так, например, руки у него казались не в меру короткими по сравнению с тощим и длинным туловищем. Не совсем правильно поставлены были шалфейного цвета его глаза. К тому же был у Кирьки такой неожиданно звонкий, по-бабьи визгливый голос, что перекрикивал он им на станичных сходках самых свирепых горлопанов и этим немало дивил окрестные сибирские степи. И даже в одежде у Кирьки все было не так, как у добрых людей: то опорки на ногах разные — на одной ноге, скажем, пим, на другой — галош; то штанина одна чуть ли не на пол-аршина короче другой; то ворот, глядишь, у малиновой рубахи поднебесного цвета. Короче говоря, вид у Кирьки был довольно-таки знаменитый.

Пил Кирька сравнительно мало. Но, выпив, тотчас же впадал в тоску, становился мрачным, неразговорчивым. И пока народ, бывало, колготился вокруг дарового запоя, входил в хмель и шумел, Кирька сидел где-нибудь на отлете и все искал потускневшим, ошалело блуждающим взглядом вокруг себя какую-нибудь точку, а отыскав, подолгу не сводил с нее изумленно раскрытых глаз, не отзываясь в такой момент ни на окрики, ни на толчки повеселевших господ станичников. Потом, когда хватившие лишку горлопаны начинали мало-помалу пробу своих прочищенных водкой глоток, Кирька вскакивал, точно разбуженный орудийным залпом, и, сграбастав первую же попавшую под руки дубину, начинал юрко шнырять среди захмелевшей толпы. Подозрительно щурясь на господ стариков и настороженно прислушиваясь к разгоравшейся промеж ними перепалке, он шептал на ухо то одному, то другому:

— Давай, слышь, кого-нибудь вякнем. Скушно мне, понимаешь...

И если охотников затеять беспричинную драку среди одностаничников не находилось, то Кирька, поднявшись на крепостной вал, начинал тогда, занеся над головой жердь, уговаривать:

— Смирно! — подавал он толпе пронзительную команду.— Нечего хайлать зря, воспода парни, на божий ветер. Впустую глотки дерете. Вот и именно. Тут спором дела все рав-

но не решить. Давайте лучше драться. День нынче праздничный, погожий, ятный...

Как правило, закончить речи Кирьке не удавалось. Один из одностаничников, незаметно подкравшись к нему в такую минуту с тыла, ловко оглушал его своей кулачной кувалдой по темени, и оратор, словно переломившись надвое, ронял из рук жердь. Потом, тяжело рухнув наземь, он кубарем катился к ногам толпы с крутого крепостного вала.

Но цели Кирькина речь вполне достигала: драка мгновенно начиналась и переходила в дикое побоище. Сначала пускались в работу только кулаки. Затем, когда страсти разгорались, шли в ход оглобли, железные трости, жерди и даже пожарные багры, — одним словом, что попадало под руку. И действительно трудно было разобрать со стороны, кто кого бил, где были враги, где — сообщники.

Не дрались только одни георгиевские кавалеры да еще с десяток древних стариков, неспособных уже поднять оглобли. Все же остальные участники праздных сборов, сбившись в кучу, жмурясь от восторга и ярости, нещадно лупцевали друг друга.

И поднимался в такую пору над крепостью страшный грохот и гул, словно обнималась станица со всех четырех сторон пожаром. Трещали ломаемые из огородных плетней колья. Звенел над окрестными степями пронзительный разбойничий свист. Дико аукали и вопили благим матом разбушевавшиеся казаки.

Больше всех во время таких потасовок попадало Кирьке Караулову. Ему и левое ухо трижды чуть не на прочь тростями отрывали, да спасибо станичному фельдшеру, — умудрился тот его обратно шелковой ниткой пристрочить! И ребра ломали, и башку не один раз, как арбуз, раскалывали оглоблей. Но Кирька не сдавал. И не успевал фельдшер выпользовать пластырем одну Кирькину рану, как он снова, ввязавшись в очередную драку, получал новое, более тяжелое увечье и вновь терпеливо прикладывал к пораженному месту пластырь, собачьи ягоды, молочай.

Кирька давно мечтал учинить на миру расправу над приблудным к станице заносчивым и дерзким Чумаком. Точили на него зубы и другие станичники. Но подступиться к нему один на один, отлично зная необычайную силу и ловкость последнего, никто не решался. Благословить же Чумака оглоблей во время всеобщих драк тоже никому не удавалось, хотя он всегда почти неизменно находился в самом аду разбушевавшейся толпы. Но уж больно легок и верток был он в движениях и, ловко работая кулаками, намертво клал к своим ногам подвернувшихся вооруженных батогами господ

станичников. И при всем этом так скалил в никак уж неуместной улыбке крупные ослепительные зубы, что иным при взгляде на эту улыбку становилось просто не по себе...

XXVI

Чумак все это понимал. Вот почему и на этот раз не устрашили его угрозы братьев Карауловых. Стоя на крепостном валу, он на все Кирькины подстрекательства к драке ответил:

— Шо-о! В рукопашном сражении со мною подраться треба? Холодной оружиею? Оглоблями? Эге. Вполне одобряю. А ну, давай, бисова ты рогулька, зайшны. Нехай подывыться трошечки тоди мир, як воно это само бравые козаки хохла лупляють. Очень, кажу, превеликий интерес до такого бою в соби имею...

Драка была неминуема. Однако, как всегда, поднять руки первым на Чумака никто не смел. А он, чувствуя эту нерешительность, стал наседать на растерявшихся стариков и, в особенности, на вооружившегося жердью Кирьку.

— Гей ты, атаман-козак Черный Ус! — крикнул он вдруг присмиревшему Кирьке. — А ну зайшны, колы ще лышный раз битому быть велика охота. Чего очи-то долу приту ляишь? Труса, мабуть, трошки перед хохлом празднуешь? Эге-е. Чую... А вам, господа станишники, — обратился Чумак уже ко всему сбору, — вам я могу исделать предупреждение некоторое и вполне по-хорошему. Дракою вы мэнэ не пужайте — вам же хуже от тий великой сумятицы прийдэтся. Так я понимаю... А зараз слухайте, шо я скажу сурьезно. Ведь так воно и будэ, чи рано, чи поздно, а вдарит той час, когда я соби усих вас до одного вместе з вашимо наказным атаманом куплю. О! Наказному, кажу, катеринку, а вам — по шкалику...

— Мало по шкалику, варнак! Мало! — откликнулся откуда-то с тылу с искренним возмущением Буря.

— В натуре мало!

— Нехай тоди будет так — по сороковке на брата! — прибавил расщедрившийся Чумак.

— Бочку, подлец, на площадь выкатывай! Бочку! — решительно потребовали старики.

— Э, нехай будэ по-вашему. Бочку так бочку! — согласился Чумак, замахав руками с каким-то веселым отчаянием.— На такий случай, скажу по совести, мэни ничего не жалко. Там ни тилько, мабуть, бочку — две разом выкачу: подчивайтесь, спивайтесь зараз соби на здоровьице за нового козака, господа станишники!.. А вы до мэнэ с дракою! Да

який, кажу я, с того толк, ежли мы лишний раз жердями промеж себя побьемся? Тилько Кирькин скийлет що одного ребра вполне может лийшиться...

— А ему, варнаку, не мешало бы и последние переломать! — неожиданно прозвучал голос Бури.

И растроганные речью Чумака, а особенно его расточительными посулами старики набросились ни с того, ни с сего уже на Кирьку. Яростно размахивая руками и наглухо замыкая вокруг него кольцо, они закричали:

— Дело спросонок Буря заревел!

— Правильная речь, как у верблюда шея...

— А што вы думали? — крикнул Буря. — Я не шутейно реву. Пошто он, подлец, ни за што, ни про што на будущего казака с жердью лезет?!

— А пото, што, — ввязался в перепалку Лавра Тырин, — пото, што ему, сукину сыну, лишь бы драться. У его, слышь, и родитель, покойна дыра, на тех же дрожжах был заквашен: нальет, бывало, зенки, жердь в руки, и пошла писать войсковая управа!

— Ну дите, язви те мать: родителю не уважит!

— Вот и именно. Тоже никакого разбору с пьяных шар не саблюдат. Весь в покойничка — царство ему небесное — лить не вылить — варнак!

— Да у него и братец-то тоже ведь ухо с глазом! — добрались, наконец, под запал господа старики и до Оськи.

Однако, пока господа станичники, подогревая друг друга, вели словесную подготовку к решительной схватке с братьями Карауловыми, — Кирька, почуяв неминуемую опасность, долго мешкать тоже не стал и совсем неожиданно пустил в работу верное свое оружие. Храбро размахивая вокруг себя жердью, он принудил вставших было на дыбы одностаничников к стремительному отступлению и, расчистив таким образом себе с братом дорогу, бросился, увлекая за собой Оську, наутек.

Минутное замешательство — и толпа изумленных казаков под пронзительные крики и визгливые подстрекательства георгиевских кавалеров ринулись, ломая на ходу колья по огородным плетням, вслед резко улепетывающих от нее братьев.

Вот догнать бы! Да куда там. Нелегкое это было дело — настигнуть самых резвых бегунов на всей Горькой Линии.

И вот, разбросав на бегу с ног опорки, босый, длинный и страшный, бежал Кирька вдоль улицы, неся над взлохмаченной своей головой высоко поднятую такую же сухую и длинную — каков был сам — жердь и наводя своим видом ужас на зазевавшихся по воскресным завалинам баб и на улюлю-

кающих от восторга и страха за заборами ребятишек. По пятам за отступающим братом мчался, не чуя земли под ногами, еще более трусливый и злой Оська.

Толпа с ревом, свистом и гиканьем, стремительно и грозно, точно ураганный вал на разбушевавшемся озере, катилась вдоль улицы за улепетывающими братьями, словно это были не просто Кирька и Оська Карауловы, а какие-то исконные, долго разыскиваемые и неожиданно обнаруженные враги ее или накрытые на месте преступления конокрады.

Но Кирька изводил доверчивых господ стариков не только прославленной своей резвостью и похвальной прытью, но еще и неслыханным доселе коварством. Мало того, что совершенно преднамеренно вымаивая погоню, он нарочно исколесил вдоль и поперек все станичные улицы и петлял к тому же, как обложенный заяц, по самым немыслимым закоулкам, так он еще, кроме того, под конец изловчился брать в один темп разного рода препятствия, ловко перемахивая на бегу плетни и заборы. Конечно, им, долговязым, это были пампушки — махнул, и нету плетня, поднатужился, и не бывало забора. А каково было господам старикам, лета которых были преклонны и кои уже давным-давно отвыкли от подобной лихой джигитовки?! Впрочем, разве в таком горячем деле будет считаться казак с годами? Конечно, и дух у некоторых захватывало, и слеза в очи била, и грыжа в паху давала при прыжке себя знать, и резвые ноженьки подкашивались, но, несмотря на все недуги и слабости, азарт брал свое, и престарелые герои наши мчались, сломя голову, за молодыми.

Но коварство Кирьки господа старики обнаружили позднее, когда завел он их в глухой крепостной тупик, а сам со своим братцем на глазах у всех точно сквозь землю провалился, и не успели казаки как следует оглядеться, отдышаться и опомниться, как вдруг — откуда ни возьмись — внезапно накрыла их, вырвавшаяся из-за редута пожарная команда.

— Братцы! — только и мог крикнуть, в отчаяньи всплеснув ладонями, Буря и замер на месте, как все, изумленно разинув рот на мгновенно загородившие выход из тупика, сверкающие на солнце пожарные машины.

— Туши костер! — заревел не своим голосом обычную в таких случаях свою команду станичный брандмейстер Спирька Саргаулов.

И в мгновение ока дюжина пожарников, остервенело набросившись на машины, принялась за стремительную размотку кишек и свирепо начала раскачивать пронзительно взвизгивающие насосы.

Напрасно пытались попавшие в ловушку господа станич-

ники, побросав к ногам все колья и жерди, смиренно воздев к небу руки, вымолить христом-богом пощады у деспотичного брандмейстера. Напрасно кричали они, сбившись в кучу, то с мольбой, то с явной угрозой в голосе:

— Пощади, восподин брандмейстер!

— Не вели ты своим дуракам зря воду портить, Спиридон Симоныч!

— Водки на успение пресвятой богородицы ведро поставим...

Но видя, что брандмейстер неумолим, казаки перешли к прямым угрозам по его адресу:

— Ну погоди ж, варнак, будет и на нашей улице праздник!

— Мы тебя причастим!

— Все равно, рано али поздно — утопим! — прямо и решительно заявил Лавра Тырин.

— Ну, это посмотрим! — крикнул брандмейстер. — Не ваши ли там утопшие плавают? А согласно указу станишного атамана я обязан всякую драку смирять водой, пото што это есть стихийное бедствие по первому разряду. А потому...

На секунду умолкнув, брандмейстер присмотрелся к насторожившимся пожарникам и, лихо взмахнув рукой, отдал команду:

— Брандсбой на-изготовь!.. Пли!

Ослепительно сверкнув на солнце каскадами алмазных искр, со свистом ударили из брандспойтов упругие, звонкие струи, и через какую-нибудь минуту в бушующем водяном смерче людей уже было не видно.

XXVII

Месяц спустя Чумак, подсчитав свои наличные сбережения да перехватив еще к тому же четвертной билет у местного ростовщика, вновь решился обратиться к знаменитому письмоводителю. Явившись к Луке, Чумак стал упрашивать его, чтобы сочинил он, согласно положенного свыше артикула, новое прошение на имя наказного атамана с просьбой приписать просителя в линейные казаки.

И письмоводитель, поломавшись сколь следовало, взял с ходатая законный задаток — три рубля серебром, распил пополам с Чумаком бутылку оговоренного магарыча и тут же, с места не сходя, приступил к сочинению прошения.

Но не успел Лука вывести великолепнейшим своим почерком полного титула наказного атамана, как вдруг, — это было в знойный полдень летом 1914 года, — ударили на крепостной колокольне в набат. И вот, тяжко охнув, дико и властно взвыл, застонал во всю свою стопудовую луженую

глотку медный колокол, и пошел гулять его страшный, бросающий в дрожь и оторопь гул по окрестным степным просторам. И запылали тотчас на всех перекрестках багровые костры флагов — знамение грядущих бедствий, и затрубили на тысячи верст о горе, о слезах матерей и далеких походах пронзительные трубы полковых горнистов. И бешеные всадники, обгоняя собственный крик и попутные ветры, извещали народ на полном карьере:

— Манифест его императорского величества...

— Всеобщая мобилизация в России...

— Указ наказного атамана по линейному казачьему войску...

— Спешное выступление линейных казачьих полков на фронт...

— Поход в действующую армию...

Это была война.

И вот разом все пошло к чорту: и письмоводитель, и недопитая бутылка магарыча, и недописанное к наказному атаману прошение, и шальные мечты о казачьем звании.

Сбережения были пропиты Чумаком с казаками в каких-нибудь три дня. А на закате четвертого ушел он, одинокий новобранец, из хмельной, рыдающей и поющей станицы на сборный солдатский пункт.

О, какой непогожий, мглистый и ветряный был этот вечер! Гулко шумели над головой новобранца вершины придорожных берез. Тонко и горестно звенели во мгле скрестившиеся мечи осок. И плыли навстречу Чумаку горькие от дыма степных кочевий, вполголоса поющие о тоске, пространстве, о далеком, неведомом, скорбном пути густые августовские сумерки. И точно во сне, точно в далеком детстве, гукала где-то поодаль на дремотных озерах незримая птица выпь.

А Чумак уходил все быстрее, все дальше и дальше от обжитых мест, от исхоженных вдоль и поперек торных степных дорог. И чем отдаленнее становилась от него оставшаяся позади станица, тем быстрее, торопливее был его шаг. И никто из степных людей, случайно заметив этого, почти убегающего в ночную мглу одинокого путника, не знал, не мог, не умел объяснить, куда и зачем торопится он.

XXVIII

Две недели шли беглецы на восток.

Стороной, бездорожьем, окольными путями пробирались они из зоны фронтов великой русской действующей армии в глубокий тыл.

Позади оставалась, навсегда уходила в прошлое страшная, чудом прорвавшаяся сквозь ураганы безумных битв и кровопролитных сражений, затавренная кровью, заклейменная огнем и смертным дыханием, наполовину чуждая теперь и неправдоподобная жизнь.

С прошлым было покончено.

Возврата назад не было и не могло уже быть.

А впереди — там, где пылали по утрам высокие факелы неистовых вешних зорь и откуда доносились до беглецов призывные трубные звуки залетных степных ветров, — там должна была ждать их иная, настоящая жизнь. Там был давно желанный покой и отдых. Там были мирные трудовые дни. Там была далекая, полузабытая родина. Там была степная, привольная Сибирь.

Сибирь!

Родимые, не знавшие ни конца ни края, просторы. Одинокие ветряки близ древних пыльных дорог. Неясный, грустно чернеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров, солью степных озер, придорожной пылью и солнцем. Печальный крик затосковавшего в вечерней мгле чибиса. О, как далеко-далеко слышна там в предзакатный час затерявшаяся в ковыльных просторах тревожная девичья песня! Как певуч и пронзителен там в эту пору серебряный переклик сбившихся с звездных путей лебедей и казарок!.. И во всех этих близких сердцу звуках и шорохах, и в нетленных запахах солнца, полыни, березовой коры, дождя и земли, — во всем этом вставал, прояснялся, как в сновидении, образ родимого, навсегда благословенного степного края. И во всем — от лебяжьего клича и свиста утиных крыл на рассвете до тревожной девичьей песни в вечерний час, — во всем была и жила только она, эта властно зовущая к себе своих растерянных под чужим небом сынов родина — далекий степной край Сибири.

Сибирь!

Туда шли наши беглецы, ориентируясь днем по солнцу, ночами по Млечному пути.

Шли ребята с опаской. Побаиваясь, как бы не напороться на заградительный кавалерийский разъезд, или — еще хуже — попасть под перекрестный огонь вполне возможной погони. Дезертиры-то ведь это были как-никак не простые. Славы они наделали на весь 4-й Сибирский линейный казачий полк, если не на всю 10-ую армию. И двоим из них—подвернись они под горячую руку военно-полевого суда — грозила верная пу-

ля, а в лучшем случае—пожизненное лишение казачьего звания, штрафные роты и снова фронт.

Вот почему и не рискнули они тронуться во-свояси по проторенной дезертирской дорожке, что вела от позиций к ближайшему железнодорожному полотну, где без особого труда можно было прицепиться к любому воинскому составу и рвануть, благословясь, без оглядки в глубокий тыл. Но такая дорога ребятам была не с руки. Рисковать башкой после трех лет войны, при подобных обстоятельствах им не хотелось. Потому-то и пошли они, избрав направление на Минск, глухой окольной тропой. И вот брели теперь с уловками, с хитрецой, с оглядкой по лесным, заболоченным дебрям Полесья, месили обессилевшими ногами рыхлые, подернувшиеся водой апрельские снега.

Путь был нелегкий.

Питались первое время скудными запасами, скопленными за несколько дней до побега из позиционного пайка, что состоял из галет и голубых от интендантской плесни сухарей, некогда присланных тыловыми патриотами в дар русским воинам. А на двенадцатые сутки пути, когда были заметены в ладонь из походных сум и поровну разделены между беглецами последние крохи фронтового продовольствия, пришлось им переходить на подножный корм: пробовали, например, грызть древесную кору или — к счастью обнаруженный у одного из спутников — свежий сыромятный ремень от солдатского ранца. Пытались заморить червяка добросовестным пережевыванием березовых почек.

Спали тоже — как и где приходилось: и в полуразрушенных артиллерийским огнем сторожках на кордонах лесных стражников, и в заброшенных позиционных укреплениях, а то и прямо в наскоро вырытой где-нибудь на опушке снежной берлоге.

Словом, было трудновато.

Да народ был весь тертый, каленый, крутой, ко всему привычный. А тут еще, коли дело дошло до самовольного возвращения из действующей армии в родные степи, то вряд ли можно было их устрашить дорожными невзгодами, изморозом или стужей!

Вот и шли они, упрямо шагая на восток, злые от голода, молчаливые от бесстрашия, суровые от решимости. Шли, потеряв счет суткам, перепутав числа, забывая порою про ночь и день.

Их было трое.

Двое — однополчане и одностаничники — Корней Шебанов с Агапом Бушуевым, третий — пехотинец, по роду оружия — артиллерист, Аким Чумак. Случилось так, что к исходу вто-

рого года войны снова свела судьба всех этих троих людей вместе. Около года промотались они втроем бок о бок на одной позиции, а теперь и водой их невозможно было разлить.

После истории с прокламациями и убийства полковника Дашкова Агапу с Корнеем ничего больше не оставалось делать, как только немедленно бежать с фронта. Однако не посвятить в свои замыслы Чумака они не могли, а он в свою очередь не мог отстать от товарищей. И несмотря на то, что Чумак, охотно согласившись на совместное дезертирство, сознательно ставил себя этим самым в положение, если не прямого, то во всяком случае косвенного соучастника совершенного его приятелями преступления и шел, в случае крушения их замыслов, на верную смерть, — все ж, несмотря на все это, он безоговорочно присоединился к товарищам; и вот в одну из заговорчески темных ночей беглецы покинули зону фронта.

Но ни Агап Бушуев, ни тем более, Аким Чумак даже и не подозревали о том, что побег этот был продуман и подготовлен никем иным, как Корнеем Шебановым задолго еще до событий, связанных со знаменитыми, всколыхнувшими весь полк листовками и с прогремевшим на всю 10-ую армию, в сущности говоря, случайным убийством полковника Дашкова. Оба корнеевых спутника решительно ничего не знали и о том, что вот уже около полугода Корней был тесно связан с одной из нелегальных фронтовых большевистских организаций и что всего-навсего за неделю до всех этих событий ему было поручено, по решению организации, развернуть широкую революционную агитацию в 4-м Сибирском казачьем полку. Полк этот до сих пор считался наиболее реакционным из верных своим вековым традициям боевых единиц в армии, а потому действовать надо было здесь с особой осторожностью и тактом, да никому иному, а только своему же рядовому казаку. Всех, кто не являлся сородичем и не имел на погонах отличительного вензеля этого полка, горьколинейные казаки глубоко презирали и никогда не доверяли чужаку независимо от рода его оружия и даже чина. Таковы уж были традиции, издревле укоренившиеся среди этого самолюбивого, наивного и храброго войска.

Подпольная фронтовая организация доверила Корнею и рассчитывала на длительную его работу в полку. Однако события, принявшие неожиданно крутой оборот, заставили его скрыться и увлечь за собой товарищей, оставить которых на произвол судьбы было рискованно.

Правда, Корней не особенно был огорчен столь быстрым самоустранением от той огромной, горячей, увлекательной и яркой работы, что предстояла ему в полку, так как основное и главное было уже сделано. Судя по тому, что после трех-

кратного тщательного обыска, произведенного на второй день после убийства полковника, офицерам не удалось обнаружить в позиционных землянках ни одной из двухсот разбросанных Агапом листовок, — письма партийного комитета были доставлены по адресу. И легко расстаться с ними никто из казаков уже, видимо, не хотел. А это говорило о многом.

Наконец, сами обыски и крайне циничное обращение при этом с нижними чинами со стороны господ офицеров — тоже немало способствовали тому глухому и грозному брожению, которое началось среди казачества после зачитанных до дыр и уже запомнившихся почти наизусть листовок.

В партийной организации, куда обратился Корней в канун побега, ему посоветовали как можно скорей попытаться пробраться в тыл. Его снабдили явкой на одну из законспирированных квартир в районе Нарвской заставы Петрограда, и он, ни слова не говоря пока об этом своим спутникам, повел их на следующую же ночь за собой.

Доверительно тронувшись вслед за Корнеем в этот тревожный и далеко небезопасный путь, Агап с Чумаком были убеждены, что все втроем они направляются прямо во-свояси, мало задумываясь над тем, что ждет их в далеком родном краю и как отнесется к самовольному возвращению их с фронта станичное общество. Впрочем, как знать, может, они и думали, но, во всяком случае, ни тот ни другой разговора с Корнеем на эту тему за всю двухнедельную дорогу не заводили.

На пятнадцатый день изнурительных странствований по бездорожью набрели они на жилую лесную сторожку. Измученные, продрогшие до костей и голодные, позабыв на этот раз про всякую осторожность, выбрались они из дремучих дебрей на прогалину и, завидев одинокую избушку, решительно направились на мирный ее дымок.

К ногам Корнея, шагавшего, как всегда, впереди товарищей, подкатилась клубком, захлебывающаяся звонким лаем собака, и Корней, и оба его спутника просветлели, обрадовались этому, скорее восторженному, чем злобному ее лаю. Собака же делала вид, что она очень злится, бурно кувыркаясь в рыхлом снегу, крутилась в ногах Корнея и даже норовила как будто укусить его. Корней в свою очередь с напускным испугом ожесточенно отмахивался от ее наскоков попавшимся под руку прутиком. И, увлекшись самообороной, он не заметил ни ветхой сторожки, оказавшейся теперь уже шагах в двух от него, ни притулившейся у ворот девочки.

— Не бойтесь. Не бойтесь. Она жа у нас не кусается! Она жа у нас живых людей любит! — прозвучал вдруг спокойный и необыкновенно прозрачный детский голос.

Корней опешил. Удивились, увидев девочку, и остановившиеся за спиной Корнея Чумак с Агапом.

С минуту и девочка, и все трое путников стояли друг против друга молча. Девочка стояла, уютно прижавшись к воротному столбу, и с каким-то, совсем по-взрослому спокойным любопытством приглядывалась к путникам. По ее не по-детски строгому, немного даже суровому выражению лица можно было заметить, что люди не только не испугали, но даже не очень и удивили ее, точно она уже прежде где-то видела их, но не могла припомнить, когда именно и где. На вид ей было лет около семи, но, присмотревшись, можно было дать и побольше. Одета она была в потрепанный, непомерно великий для нее, мужской пиджак со старательно подогнутыми, но все же длиннейшими, по ее рукам, рукавами. На ногах у нее были тоже должно быть чужие, недетские опорки; на голове — старенький, по-бабьи повязанный ситцевый платок, из-под острого козырька которого выбивались на чистый открытый лоб две наивные прядки льняных волос.

Присмотревшись попристальней к ней, Корней, наконец, сказал:

— Ну, здравствуй.

— Милости просим... — ответила девочка так, как отвечала всегда на редкие людские приветствия ее мать.

— Ты чья будешь, барышня? — спросил Агап.

— Я буду здешняя... — ответила девочка.

— Ах, здешняя?! Вона какие дела! — удивленно сказал Агап. — А чего ж это ты столб-то собой подперла? Али ему без тебя скушно?

— Скушно. Нам вместе с ним сразу скушно... — сказала девочка.

— Э-вон какие вы оба душевные! — изумился Агап и, сраженный таким ответом, не знал теперь, что еще сказать.

Помолчали.

Потом Корней сказал:

— Свежо на дворе-то. А ты вот стоишь, стоишь, барышня, да и замерзнешь.

— Я уже давно замерзла, — ответила девочка.

— Замерзла? Што ты говоришь?! Ай-я-яй! Тогда, стало быть, в избу надо бежать скорей. Бегом. Прямым маршем на печку. Без пересадки, — заторопил Корней девочку.

— Так у них жа, небось, и печки-то нема! — хитровато покосившись на девочку, насмешливо сказал Чумак.

— А ты што не видишь, как дым с трубы идет? — сердито спросила самого длинного и смешного из путников девочка.

— Дым?! Эге! И заправду труба дымыть! Гарно, дивчина, вы тут собi живете. Очень, кажу я, гарно, — похвалил Чумак,

разглядывая дымящуюся трубу на крыше так, словно видел там впервые какую-то необыкновенную диковину.

— Как это — гарно? — не поняла девочка.

— Хорошо, значит... — объяснил Корней.

— Нет, там теперь у нас плохо, — сказала, вздохнув по-взрослому, девочка.

— Где ж это — там-то? — спросил Корней.

— В избе. Скучно жить там у нас теперь стало. Даже тараканы померли. На дворе жить лучше. Тут лес шумит.

— Батька у тебя добрый? Погреться нас пустит? — спросил Агап.

— Отчего не пустить? Прошу покорно... — опять, вспомнив, как говорил в таких случаях отец, сказала его словами девочка и, немного помолчав, добавила: — У нас вас столько перебывало — нет числа. Через вас он теперь у меня мертвый стал.

— Кто это мертвый-то?

— Говорят вам — батя. Егор Федорыч Караганов. Лесник.

— Экий ты грех, господи... — тихо проговорил Корней и, наклонившись к девочке, еще тише спросил: — А почему бы это, говоришь, через нас он помер-то?

— Да ведь вы жа дезертиры! Я жа знаю вас, — твердо заявила девочка.

— Ну нет, мы тебя первый раз видим, — вполне серьезно возразил пораженный такой проницательностью Корней.

— Знаю. Знаю, — уверенно повторила девочка. — Я жа вам говорила, что у нас их перебывало — нет тому числа. Батя их ночью полную избу напустит — повернуться негде. Очень нам было тесно жить и очень хорошо тогда. Я жа люблю, когда от людей тесно бывает...

— Это хорошо, что любишь... только как твой батя-то помер? — не отставал от нее с тревожной заинтересованностью Корней.

— Я сама не видала — как. Я на печке спала. Это ночью было.

— Да што было-то?

— Люди были. Дезертиры. Полная изба. Чай пили с колбасой. Галету мне дали. Потом я уснула. А их стали ловить.

— Кто их стал ловить?

— Погоня — раз они беглые... Вот какие вы бестолковые, — с досадой сказала девочка.

— Ну и что же — поймали? — не унимался Корней.

— Ну да, поймаешь вас! Вы жа при пистолетах да еще с «лимонками». Попробуй-ка, наскочи — кому жить надоело! — сказала девочка опять такие слова, какие говаривал не раз ее родитель.

— Это правильная твоя речь. Голыми-то руками нас не скоро возьмешь, — подтвердил Агап.

— Они на нашу избу пулемет навели, — продолжала девочка. — А дезертиры — не будь дураки — лимонками в них бабахнули. Грохоту было — страсти! У меня зуб на зуб не попадал. Лежу я на печке, и стало мне тоскливо, как мертвой. Я жа думала, што меня уже давно убило. Ан никого не убило почему-то. Только батю моего очень поранило. Пораскидали наши дезертиры в окошки все свои лимонки, а сами — на улицу, а потом — в лес, и поминай, как их там звали...Тихо после этого стало во мне и в избе тоже. Лежу я и потихоньку слушаю, как заходит к нам в хату погоня. Вздули они огонь. Всю одежду на нарах штыками перевернули. И в подпол, и в печку лазали. В сундуке, в сельнице рылись. Искали, искали чего-то такого и не нашли.

— Не нашли?! — оживленно переспросил Корней.

— Не нашли, — повторила девочка. — Только чую я — еще злее они от этого стали. Слышу, давай допрос они над батей чинить. Обругал его самый красивый офицер большевиком и собакой — батя молчит. Стал пытать он батю, сколько было народу и как их всех там зовут, — батя молчит. Вдарили батю три раза плетью — я от страха обратно глаза зажмурила, — а батя обратно тоже молчит...

— Молодец! — не удержался Корней.

— ... и принялись они его штыками в самую грудь превожить, — продолжала со страшным спокойствием повествовать девочка, — и все равно ничего он не отвечает, и все равно молчит. У меня губы пересохли. А он все молчит... «Надо его, собаку, на станцию везти», — сказал красивый. А другой ему говорит: «Зачем возиться с ним, ваше благородье, раз он уже есть мертвый?» — «Ничего, ничего, — сказал красивый, — он у нас там и мертвый заговорит!» Потом они вытащили батю на улицу и поклали его на телегу о двух колесах.

— На двуколку — надо сказать, — поправил ее Агап некстати.

Но девочка, не слушая его, продолжала:

— Я потихоньку слезла с печки и все видела. Батю было не видно, а ноги у него были на виду. Как я увидела ноги, так сразу все и узнала: у живых жа таких больших ног никогда не бывает! И страшно мне стало. И я тоже захотела, чтобы поклали меня рядом с батей, потому что мне было легко около него сразу умереть. Я хотела догнать телегу и сама уехать туда, где говорят мертвые. И я бежала, бежала... А телега поехала быстро, и я не могла ее догнать. Я долго-долго бежала за ними по просеку, и я кричала

всякие слова, потому что я еще не знала, как мне одной, и батя не сказал мне об этом...

Она умолкла.

В глубоком молчании, как над неведомой, случайно встреченной близ дороги свежей могилой, стояли, поникнув, и путники. Они не знали того языка, на котором можно было бы сказать что-нибудь в утешение большого горя, поработившего сердце маленькой девочки, а язык детства для них теперь был полумертв и полузабыт.

— Давно это было? — спросил, наконец, Корней.

— В четверг мы собирали в лесу валежник. В пятницу осталась жить одна. Сосчитайте, сколько это будет, — я не умею... — ответила девочка.

— А матка-то где ж? — участливо осведомился у нее Чумак.

— Без мамы я уж давно привыкла, — целый год. Она у нас хорошо померла — сама собой, по хвори. У ней и могила вот тут недалеко, за кордоном своя, хорошая; мы ее мелким ельником обсадили... Без мамы-то я уж всему научилась. И печку топить умею, и муку насею, и лепешек вам настряпаю. Мама меня успела научить, а батя — нет...

— Вот ты грех какой, вот грех... — печально вздыхая, очень тихо сказал Агап. — А как тебя зовут-то, барышня? — спросил он девочку.

— Плохо меня зовут — Аксинья, — сердито сказала девочка.

— Аксинья?! — удивленно переспросил Корней. — Да разве это плохо — Аксинья? Очень даже хорошо зовут. Правда, ребята?

— Очень даже хорошо.

— Гарно. Очень гарно, — подтвердили вслед за Корнеем оба его спутника.

— Ты, может, в хату нас допустишь, Аксинья? — спросил Корней.

— Отчего жа и не допустить? Прошу покорно... — опять по-отцовски радушно ответила девочка и, распахнув широко калитку, кивком пригласила путников следовать за собой.

XXIX

И они вошли следом за нею, низко сгибаясь в дверях, в маленькую, сумрачную избушку с низким бревенчатым потолком. Скупой, блеклый свет угасающего апрельского вечера проникал сюда сквозь крошечные, как в теремке, местами затянутые брюшиной окна и придавал этой хижине суровый, но вместе с тем обжитый, приветливый и уютный

вид. Нары, застланные рядном, грубая скамья около голого, изрезанного ножом стола; высокий старомодный сундук в простенке, — такова была обстановка жилища, единственным украшением которого являлась лубочная картинка, что красовалась в переднем углу на месте предполагаемой божницы и изображала батальную сцену из времен отечественной войны 1812 года. Но, несмотря на нехитрое внутреннее убранство и явную бедность в обстановке, здесь было чисто, и во всем — от ярко начищенного, лихо сияющего на шестке старенького медного самовара до старательно проскобленного ножом пола, — во всем чувствовалась рука домовитой, опрятной, строгой и требовательной хозяйки.

Все это путникам очень понравилось. А особенно пришлось по душе Агапу. Маленькая хозяйка этой одинокой, затерянной в лесных дебрях хижины напоминала ему своей опрятностью о врожденной чистоплотности казачек в быту родимой станицы. И Агап, очутившись под кровом жилища, напомнившего ему о родине и о доме, проникся еще более глубоким уважением к этой, растрогавшей его не по годам серьезной и рано задумавшейся над жизнью и смертью девочке. Как и Корней с Чумаком, он, забыв даже о мучившем его голоде, изумленно следил, не отрывая глаз, за каждым движением проворно хлопотавшей у пылающей печки Аксиньи, дивился все больше и больше недетской ее расторопности, умению печь лепешки и той большой тревоге и озабоченности, что уживались в ее облике вместе с наивным и чисто детским выражением в случайно мелькнувшей улыбке, в больших изумленно смотревших на мир, по-детски ясных и чистых ее глазах.

И об одном лишь только жалел теперь Корней. Случилось так, что совершенно неожиданно для него девочка вдруг утратила былую словоохотливость, и все его попытки вызвать ее на новый, столь же откровенный разговор, сколь откровенен он был в первые минуты их встречи, вели к неудаче.

Аксинья замкнулась в себе, и теперь уже скупо, нехотя, почти угрюмо отвечала она на вопросы привеченных ею спутников. Была ли виною тому работа, увлекшая молодую хозяйку, или какие-то иные душевные причины, не позволившие ей вернуться в былое расположение духа и к той непосредственности, которой так поразила она с первых же слов Корнея и обоих его спутников, — никто этого не знал и понять этой замкнутости не мог. Но для них было совершенно ясно одно, что большего никакими средствами сию минуту от девочки не добьешься. Потому-то Корней после нескольких скупых, отрывочных и, как ему показалось, злых

даже фраз ее, глухо прозвучавших в ответ на его вопросы, и прекратил с нею разговор, незаметно перейдя на отвлеченную беседу с товарищами.

Корнея глубоко волновала не только судьба этого, брошенного на произвол ребенка, но и история гибели лесника. Кем он был, этот Егор Федорович Караганов? Как ни пытался Корней, ему не удалось пока выпытать у девочки больше того, что она с такой простотой и потрясающим спокойствием успела рассказать сама в первые минуты их встречи. Однако Корнею было ясно одно, что лесник был в какой-то степени связан с работой такой же, видимо, революционной группы, с какой прочно связал свою судьбу теперь и сам Корней, и что глухое это жилище служило, может быть, пристанищем, а то и настоящим оперативным штабом некоей подпольной организации фронтовиков, а уж отнюдь не простых дезертиров, о которых запросто рассказала девочка.

Наконец, несмотря на правдивый, глубоко взволновавший всех рассказ девочки о смерти отца, Корней почему-то вдруг усомнился в этом. Кто знает, откуда возникло в нем это сомнение. Но мысль о том, что лесник не только не умер, а будет жить, и — больше того—ему, Корнею, суждено еще, может быть, с ним встретиться, — мало ли каких переплетов в судьбе не бывает да еще в такое надвигающееся на Русь грозное время! —эта мысль, неожиданно возникнув в Корнее, уже не покидала его и перерастала в глубокую внутреннюю уверенность. Это была, правда, очень странная и внешне как будто решительно ничем неоправданная уверенность, и Корней, разумеется, держал ее при себе. Однако, полагаясь на свой жизненный опыт, он знал, что глухой голос предчувствия редко обманывал его. Как всегда, так и в данном случае, Корней не умел объяснить, почему ему кажется, что девочка ошибается, утверждая о смерти своего отца, а он, Корней, отрицая эту смерть, не имея пока на то никаких оснований, все же должен был в конце концов оказаться правым... Может быть, причиной всему этому было то, что после потрясающе спокойного рассказа девочки Корней никак не мог смириться с мыслью о том, что судьба рано осиротевшего ребенка могла так решиться легко, жестоко и просто, что сделала девочку сразу взрослой, свыкшейся со своим великим горем, вжившейся в отчаяние и утратившей охоту жить женщиной. Может быть, этого не мог принять душою Корней и совершенно бессознательно всем своим существом отрицал эту жестокую правду? Может быть. Ибо этому трудно было поверить. И Корней из сострадания к девочке внутренне не

хотел поверить ни в страшную смерть ее отца, ни в еще более страшное ее одиночество, хотя и отлично знал, что в бесхитростном рассказе ее не было вымысла и что выдумать всего этого было просто нельзя...

Воспользовавшись короткой отлучкой Аксиньи, Корней успел перебросится несколькими словами с товарищами, и тут же, наспех посоветовавшись, они пришли к единодушному выводу, что оставлять здесь девочку одну больше нельзя, что ребенку надобно как-то помочь, но как — этого никто из них не знал.

Но медлить с решением было некогда. И как ни соблазнял беглых фронтовиков гостеприимный кров мирной на вид лесной хижины, как ни манил он измотанных и изнуренных в странствиях людей теплом своим, отдыхом и ночлегом, однако они отлично знали, что задерживаться в этом, далеко не безопасном для них месте делом было в их положении по меньшей мере рискованным. В любую минуту опальная сторожка эта могла подвергнуться налету кавалерийского разъезда и, может быть, из тех же самых головорезов, которые всего несколько дней тому назад и, видимо, не без основания устроили здесь облаву.

— Конешно, лучше бы нам, ребята, отсюда во-время убраться, — сказал после некоторого раздумья Корней: — Оно хоть и обезножели мы порядком, и на большой марш нас нехватит, а все ж подальше бы от греха — поменьше бы риску...

— Это правильно, — согласился Агап. — Только как нам быть с девчонкой-то? Вот я чего не уразумею...

— Ну туточки треба трошки помозгуваты, — сказал Чумак.

— А што, братцы, ежели взять да позабирать нам эту барышню с собой? — неожиданно, оживившись, предложил Агап.

— Это куда с собой-то? — удивленно спросил его Корней.

— Как так — куда? До дому...

— Можно, конешно, бы и до дому... — неопределенно отозвался Корней.

— Усыновить, мабуть, дочку хочешь? — спросил Агапа Чумак.

— И это можно...

— Так вона тоби и пийшла з нами!

— Кто ж ее знает? Может, и пойдет. Побалакать с дитем надо. Ребячья душа — потемки... — ответил Агап на сомнительную чумакову усмешку и, немного смолчав, решительно заявил: — Там как вы, братцы мои, хотите, только я дите не

оставлю. Не сумеем разумно уговорить — сам около ней останусь, а погубить девчонку в лесу никому не дам.

Сказано это было Агапом таким, исключающим какие бы то ни было возражения тоном, что ни Корней, ни Чумак не нашлись даже сразу, что ему и ответить. И, может быть, потому неожиданно быстро для самих себя пришли они все втроем к единому решению — попытаться уговорить девочку отправиться с ними и дотянуть ее всеми правдами и неправдами хотя бы до Минска, где Корней рассчитывал пристроить ее в какой-нибудь детский приют или в один из существующих патронатов для детей погибших на поле брани русских воинов. А порешив так, они волей-неволей вынуждены были согласиться, при соблюдении известной осторожности, на ночлег в сторожке. Расчеты при этом у них были таковы: уговорив девочку отправиться с ними в город, передохнув за ночь и подкрепившись и сном, и какой бог послал пищей, двинуться всем рано поутру в путь.

Судя по имевшейся в распоряжении беглецов полевой карте-десятиверстке, им предстояло теперь преодолеть последний этап своего мучительного пешего перехода по лесному бездорожью. Километрах в 45 — 50 от этого лесного кордона, на котором расположились они, должен был находиться отмеченный крестиком на карте небольшой железнодорожный разъезд № 222. На этом разъезде, при содействии стрелочника со странной фамилией или скорее прозвищем — Шайба, Корней, как его предупредили перед побегом в подпольном полковом комитете, должен был устроиться сам и устроить своих товарищей в качестве кондукторов на одном из воинских товарных составов, следующих прямым назначением на Петроград. Строго-настрого предупрежденный в комитете, Корней, по соображениям конспиративного порядка, ничего своим спутникам о причинах, побудивших его выбрать конечным пунктом пешего их маршрута именно 222-й разъезд, разумеется, не говорил. И Агап с Чумаком, не особенно-то тонко вникая в детали предложенного Корнеем маршрута, целиком положившись на смекалку и опыт своего вожака, покорно следовали за ним, думая только о том, как бы поскорее и любой ценой выбраться из этого вертепа. И чем ближе был теперь этот, никому из них неведомый ранее разъезд под номером 222, тем больше и больше овладевало ими такое волнение, какое способен испытывать только человек, приближающийся к родным местам, возвращаясь в свой дом после долгих лет странствований в чужом краю и смертельно уставший от пути, от одиночества и горькой разлуки. А между тем до родимых мест было им еще далеко. Впереди лежало еще свыше трех с половиной тысяч верст великой Сибирской железно-

дорожной магистрали, и немало еще трудностей, бед, невзгод и лишений воровски поджидало фронтовых беглецов на этом пути. И они ко всему этому были внутренне готовы. Однако это нисколько не огорчало их, ибо им казалось, что самые страшные испытания остались уже позади, а назад для них не было возврата...

XXX

Было уже совсем темно, когда Аксинья подала на стол горячие, сытно пахнущие золой и русской печкой, поджаренные на поду лепешки, и вместе с путниками присела на скамью разделить нехитрую эту трапезу.

Огня из предосторожности не вздували, хотя предусмотрительная хозяйка еще засветло настругала ножом звонкую сосновую лучину для освещения.

На столе мирно ворковал старенький, добросовестно поработавший на своем веку самовар, и девочка молча угощала проголодавшихся людей горьковатым на привкус, пахнувшим на них ветрами и степью шалфейным наваром.

В хижине было тепло.

В широком зеве печи догорали, дремотно потрескивая, обуглившиеся поленья, и это, жарко мерцающее, неярко отраженное противоположной стеной зарево служило единственным источником света. Призрачные мечи огня, трепеща и перемещаясь, наполняли хижину хаосом бесшумно метавшихся теней и той особенной тишиной, которой всегда полны в такой час деревенские избы.

Аксинья сидела напротив догорающей печки и, жмурясь, испытующе вглядывались в багровое ее жерло. Девочка еще мало жила на свете, но она уже знала,что нет ничего печальнее и прекраснее огня, безропотно умирающего в вечернем мраке. Лицо ее, слабо озаренное меркнущим в печном зеве заревом, казалось, освещено было изнутри — столько в нем было непорочной чистоты, одухотворенной прелести и удивительного спокойствия.

И когда Корней, втайне любуясь ею, первым из всех осмелился, прервав безмолвную трапезу, спросить девочку:

— Так, выходит, ничего и не наказал тебе на прощанье-то батя?

— Так ничего и не наказал... — не отрывая прищуренных глаз от огня, глухо ответила ему девочка.

— Это худо, Аксинья, — сказал, помолчав, Корней.

— Худо, — согласилась, кивнув головой, Аксинья.

— Как же ты теперь жить-то станешь — кругом одна.

— Этому я еще не научилась...

— Одной жить нельзя, — сказал Агап.

— Ни. Ни, дивчина. Одной тут никак не можно... — подтвердил и Чумак за ним следом.

— Нельзя? — равнодушно спросила Аксинья.

— Никак невозможно, барышня, — убежденно повторил Агап. — Доведись, скажем, такое дело до меня, да я бы тут и дня один не прокоротал. Страх подумать!

— Я ничего теперь не боюсь, — сказала Аксинья. — Чего же мне бояться-то?

— Как — чего? — удивленно переспросил ее Агап. — Да у вас тут куда ни ткнись — кругом лес дремучий. Темь аспидная. Страхи. Зверье кишмя кишит...

— Я не боюсь, — повторила Аксинья. — Я далеко одна хожу. Мне ничего теперь не страшно. Я люблю, когда лес шумит, — жить с ним тогда не скучно. А зверя не обидишь, — он тебя никогда не тронет. Этому меня батя давно научил. Он мне сказывал, что зверь-то свой закон лучше людей соблюдает...

— Это вполне справедливо, барышня, — снова немало дивясь ее разуму, сказал Агап. — Тут я согласный. Только все равно климат у вас здесь не позволительный. И природа к тому же вообще из себя не натуральная. Тут, как в городе Верном: зелени — пропасть, а запаху от ней ни на грош нету. Вот игде тоже смертная скука жить — ууу! Я там два года отдубасил — знаю. Ты скажи, у тамошних горожан только и похвальбы на языке — сады, дерева да зелень. И правда, идешь там по улице вполне, как по лесному просеку. Глянешь — дерево аршин в двадцать перед тобой выдурило. Хорошо. Да только толку-то што из подобной дуры?! И какое там дерево-то, господи боже мой, — тополь! Стоит себе это он, будто из жести вырезанный, а принюхайся к нему — ни аромату, ни горести, ни соку... Во город — вода на каждом шагу в арыках журчит, а умыться при нужде негде. У меня там через ту зеленую скуку аж сердце, как тамошное яблоко, зачало в тоске червоточить.

— Ну это ты, брат, перехватил! — осуждающе заметил Корней Агапу. — А горы там какие голубые — забыл?

— Я все скрозь в том месте запомнил, — сердито отозвался на его замечание Агап. — Горы! Голубые! Поднебесные! А на што они мне, твои горы, ежели я там, скажем, ни пахать, ни сеять не могу? Хе, горы! Да в горах-то твоих там ишо почище Верного будет: иди, карабкайся по ним и на каждом шагу остерегайся, как бы тебя какая-нибудь тварь не ужалила, али барс за задницу не укусил. Знавали мы эти горы! Там из-за каждой ели голубым твоим камнем вякнуть могут...

— Глупости говоришь, — строго сказал Корней. — Кто это ни за што, ни про што вякать-то там опять тебя будет?

— Мало ли кто! — уклончиво ответил Агап.

— Все-таки?

— А я откуда знаю?! Вякнет кто-нибудь, да и баста...—упрямо сказал Агап. — Нет, брат, я такой природе не доверяю. Я сызмальства гор да дремучих лесов не терплю. Трусом себя не сочту, а, признаюсь, страшусь таких мест почему-то, да и баста... То ли дело степь наша матушка! Там каждая животность тебе на виду. Весь божий мир как на ладони. Там даже ветер и тот ароматическими травами пахнет. А степной человек! Да его жа ведь за версту сразу насквозь всего чисто видно: у него и сердце настежь, и душа нараспашку...

— Где это? — заинтересованно спросила Аксинья.

— Это у нас там... на родине. В Сибири, — мечтательно вздохнув, ответил ей Агап тихо.

— В Сибири?!—заметно оживившись, спросила Аксинья.— Про Сибирь я и сама все знаю. Мне батя завсегда о ней долго рассказывал. Там хорошо — это правда. Я ее тоже люблю. Мы на поселении там с батей жили. Это было давно. Сначала батя еще без меня с мамой жили. А потом я родилась, и мы тогда стали жить там все вместе. Потом я маленько подросла, мне стало три года, и мы уехали в темные леса, за крутые горы. Про Сибирь я хорошо знаю, — повторила Аксинья и, на секунду задумавшись, тихо добавила: — Только далеко она, Сибирь-то наша. До ней, может, тыща верст будет. Там у нас тетка Анна осталась.

— Ого, да ты, выходит, родня нам, Аксинья?!

— Кровная наша?!

— Землячка?! — чуть не в голос закричали наперебой Корней и Чумак с Агапом.

— Ну да, я жа сибирская. Я жа все знаю...

— Врешь ты, небось? — усомнился Агап в восторге.

— Я врать не умею, — строго сказала девочка.

— И тетка Анна в Сибири?

— Там...

— А в котором месте она проживает-то?

— Та я жа толком вам объявила — в Сибири...

— Сибирь большая. Тетка с адресью должна жить, — сказал Агап.

— Нету, она без адреси одна там живет...

— Во как — без адреси, одна, стало быть, проживает? — озадаченно пробормотал, как бы про себя, Агап и на мгновение задумался, не зная, видимо, что сказать теперь на это девочке дальше.

Но Корней выручил Агапа. Он ласково — совсем по-отцовски — потрепал широкой своей шершавой ладонью по полуобнаженному худенькому плечу Аксиньи и сказал ей тихо:

— Ну, это не велика еще беда. Была бы тетка, а адрес найдется...

— Ясно, как божий день, найдется, — с горячим убеждением и совершеннейшей серьезностью заявил Агап. — Да нам што — раз плюнуть — найти ее! В своем-то краю мы тебе кого хошь в два счета разыщем. А про тетку Анну и разговору никакого нету.

— Який там ще мабуть разговор! Та мы ж твою теточку из-пид сырой земли расховаем, — сказал Чумак.

— Хочешь, барышня, мы тебя через девять ден в гости до ней доставим? Во будет радостей на семь волостей у твоей тетки! Хочешь?—спросил, наконец, Агап в упор Аксинью.

— Спать я хочу... — неожиданно отрезала, немного помолчав и зевая, Аксинья.

И тут же она встала из-за стола и без видимого намерения продолжать этот, явно наскучивший ей разговор, молча принялась прибирать опорожненную гостями посуду. Потом привычным, по-хозяйски ловким движением быстро мелькавших в сумраке рук она замела со стола утиным крылом картофельную шелуху и хлебные крошки. Затем с такой же расторопностью разбросала по нарам прикрытые до сего рядном какие-то лохмотья, служившие по всей вероятности гостям постелью, и не успели наши путники оглянуться, как девочка стремглав юркнула под овчиный полушубок, забившись в самый уголок просторных нар, свернулась в клубок и затаенно притихла. Теперь уже по всему было видно, что Аксинья приняла весь этот последний их разговор за шутку и ни капли не верила в то, что предложил ей Агап и о чем пытались всерьез договориться с ней гости.

Обескураженные неожиданно прерванным девочкой разговором, беглецы еще долгое время сидели за столом в одиночестве со своими раздумьями, не зная, о чем теперь говорить даже самим с собой. А за окошками темной и тихой хижины бушевал сырой и тяжелый апрельский ветер, да гулко шумел, вздыхал и охал в ночи встревоженный им древний дремучий лес. Откуда-то издалека плыл этот гневный, заоблачный гул, напоминая путникам о непреодоленных ими пространствах, о суровом маршруте, который пролег впереди, и о той одинокой, заброшенной в грозные дебри хижине, куда занесла их судьба и где теперь мирно дремал в этот час на нарах заживо отрешенный от мира, ставший им всем дорогим и близким ребенок.

И сердце Агапа наполнилось вдруг такой болью и нежно-

стью к девочке, какую испытывал он только при мысли о собственном, не существующем пока на свете сыне. «А не унести ли нам лучше ее с собой сонную?» — подумал Агап, когда вместе с Корнеем и Чумаком они с преувеличенной осторожностью, боясь как бы не разбудить девочки, ложились на нары.

Агап прилег рядом с Аксиньей. Он ощущал горячее, спокойное, ровное ее дыхание и, вслушиваясь в тревожный лесной шум, несмотря на дремотное состояние и нечеловеческую усталость, все же не мог заснуть. Глаза его были воспалены и полуоткрыты, и тяжелые ресницы, как чуткие на каждый шорох птицы, беспокойно трепетали и были всегда настороже.

Корней же с Чумаком заснули как убитые, едва ткнувшись лицами в жесткие, точно камни, вещевые свои мешки.

Но глубокой ночью, уже перед самым рассветом Корней, проснувшись, услышал приглушенный, близкий к шопоту говор Агапа и, внутренне насторожившись, с необыкновенной ясностью понял все.

— ...братенок у меня там тоже теперь вырос. Он такой же, как ты. Вы с ним непременно подружитесь. Это я наперед знаю. Ловчей и выше его никто на березу не заберется. Честное мое слово, барышня. Варнак он у нас, чисто. Оторви да брось. Храбрый. А што касательно ягоды али груздя какого, то и тут сомневаться-то шибко не приходится. Силка у нас, — будьте спокойны, — толк во всей этой фрукте вполне знает. Он, варнак, ягодные места нюхом, слышь, чует. А какой груздь в нашинских местах по вкусу приятный и по запаху ароматический — ууу! Так што местный гриб такой природной натуры за собой никогда не имеет...

И Агап еще долго продолжал говорить полушопотом о степных ветрах, об озерах, о Силке, о пашнях и лебяжьих выводках. А детский, удивительно ясный и теплый голос, изредка звучавший ему в ответ, переплетался с горячим, проникновенным его полушопотом.

Однако дальнейшей беседы Корней уже не слушал. Ему все стало ясно теперь и без этого. Облегченно вздохнув про себя, он закрыл глаза и забылся.

XXXI

Два дня после ночного столкновения из-за Марины с Алексеем Султановым Аркадий Саранский отсиживался в крошечной, отведенной для него комнатке, пил в уединении ликер и старался не показываться на глаза ни семейным, ни тем более есаулу. А на третьи сутки сотник, ни слова не сказав никому, велел заложить в старинный родительский тарантас

выездную тройку и в полной парадной полковой форме с новеньким георгием на груди ускакал на рассвете из усадьбы с кучером Тишкой в неизвестном направлении.

Проводив молодого, сумрачного и неразговорчивого барина за ворота усадьбы, Авдеич не преминул, невзирая на ранний час, доложить о случившемся полковнику. Шальной и дикий спросонок, старый барин, выслушав торопливый рапорт драбанта, хмурясь, спросил?

— Никак кутить, сукин сын, в Омск поехал?

— Не могу знать, ваша высок благородье, — отвечал драбант.

— «Не могу зна-ать»!—передразнил старого слугу полковник. — Смотреть за варнаком в оба надобно было — вот что, а не «не могу зна-ать»! Сколько раз приказывал старому дураку: не дремать — раз посторонние люди в доме моем.

— Виноват... так што я полагал — их благородье есть, как бы, дескать, вашему высок благородью одноутробное чадо, али вполне, так сказать, законный сын... — начал было, как всегда впопыхах, издалека, путано, но вместе с тем и вполне резонно оправдываться Авдеич.

— Молчать! — прервал его, пурхаясь в огромной, похожей на саван, ночной рубахе, полковник.—Это не твоего ума дело, чье он есть одноутробное чадо и чей он там законный или противозаконный сын. Да-с... Сукин он сын. Сукин. Понял?

— Так точно, ваша высок благородье...

И, выпутавшись, наконец, из ночной рубахи, голый полковник опустился в гневном изнеможении на кромку варшавской кровати, звучно хлопнул розовыми ладонями по ляжкам и, тупо уставившись на скрюченные пальцы подагрических своих ног, голосом, близким к отчаянию, тихо пробормотал:

— Осьмнадцать бутылок редчайшего коллекционного вина за трое суток один вылакал. А?! Я их четыре года, как зеницу ока, берег. А?

— Никак нет, — девятнадцать, ваша высок благородье, — осмелился напомнить Авдеич.

— Ах, девятнадцать даже — подлец!

— Так точно... не считавши ликеров, двух четвертей казенки и пива, которое сами барыня лично изволили варить. Потом их благородье ишо сегодня утром на дорожку себе приплюсовали из ренского погребу бутылок пять, — отрезал—куда ни шло — под запал драбант.

Полковник поднял на Авдеича тусклые, как латунь, глаза, и на мгновенье одутловатое лицо его исказилось в мучительной гримасе. Слова драбанта так ошеломили его, что он не только сию минуту бессилен был сосчитать в уме количество

опорожненных сыном бутылок, но и вообще плохо, видимо, соображал, что же это все могло значить и что ему надобно было сейчас предпринять. Наконец он, собравшись с мыслями, сказал, косясь на вытянувшегося перед ним в струнку драбанта:

— Пропали мои залетные? Так выходит?

— Не могу знать, ваша высок благородье...

— Опять — не могу знать?! Тройку вместе с фаэтоном он у меня в два счета в Омске, варнак, пропьет — это ты знаешь?

— Так точно...

— Что — так точно?

— Так точно... это они вполне там пропить могут, конешно.

— Пшел вон, дурак, — равнодушно сказал, махнув на драбанта рукой, сразу как-то на глазах посеревший и съежившийся от гнева и горя полковник.

И когда Авдеич, лихо стукнув стоптанными подборами некогда лакированных барских сапог, направился было к выходу, Саранский остановил его, отдав приказание:

— Седлать немедленно лошадей. В погоню за подлецом ударим. Я его из земли вырою. Живо!

А через четверть часа, облачившись в форменный китель и на ходу пристегнув кое-как трясущимися руками портупею дарственной сабли, старый полковник легко взметнул с привычной ловкостью на поданного к парадному подъезду драбантом рысака и, дав коню шенкелей, вихрем вылетел за ворота.

Следом за барским жеребцом пулей рванула с места и резвая не в меру горячая иноходка драбанта.

Застоявшихся за ночь коней всадники волчками прошли по поляне у ворот усадьбы.

Потом полковник резким рывком поводьев поставил своего жеребца на дыбы и, оглядевшись вокруг, только сейчас заметил четко отпечатавшиеся на голубой от росы траве сеяные вразброс следы конских копыт и широкую колею от дутых колес фаэтона. След круто поворачивал вправо от ворот, в сторону проходящего близ усадьбы древнего Омского тракта.

Теперь, при виде этого следа, у полковника не было уже никаких сомнений в том, что Аркадий ускакал проматывать дорогую родительскую тройку вместе с лучшим выездным его фаэтоном никуда кроме, как только в Омск, в котором любил пировать сотник еще в своей юности, будучи кадетом. И при одной только мысли о том, что беглецу — не дай бог — удастся улизнуть от отцовской погони, у старика начинало под-

нывать в коленных чашечках, а в глазах на мгновенье мерк весь божий свет.

Оглядевшись по сторонам, полковник махнул драбанту рукой и отдал команду:

— За мно-ой!

И, слегка привстав на стременах, а потом сию же минуту пригнувшись над дрогнувшей гривой коня, он ринулся по свежему следу с места в карьер, точно в атаку.

XXXII

...Верст двадцать летели всадники по пыльному степному тракту. Они мчались как одержимые, ничего не видя перед собой, кроме заломленных от бешеной скачки конских ушей да трепещущих на свирепом встречном ветру коротко подстриженных лошадиных челок.

Лошади мчались, не ощущая под копытами жесткого трактового грунта. И точно не земля, а воздух дробно гудел и звенел под ударами каждой стремительно выброшенной в порыве карьера ноги, и точно не своя уже, а какая-то иная страшная сила несла, подымая их над землей, одурманивая простором и доводя почти до безумия. Недаром жеребец, забыв об утратившем всякую тяжесть всаднике, не чувствуя ни повода, ни туго затянутых подпруг, ласточкой стлался над придорожными ковылями, полузакрыв налившиеся слезами и кровью глаза, закусив до хруста в зубах стальные мундштуки дорогой тяжелой уздечки. Страшны и прекрасны такие минуты для возбужденного до головокружения всадника. Но не менее страшны и прекрасны они для превратившегося в грозный смерч коня его, как смерч, готового промчаться в едином порыве тысячи верст, и, как смерч, готового, споткнувшись, упасть и тут же погаснуть...

Ни полковник, не терявший взятой с места дистанции, ни пулей летевший следом за барином Авдеич, — никто из них не заметил, как мгновенно отмахали они верст двадцать.

И только на двадцать первой версте от усадьбы, завидев вдали кочевой аул, Саранский начал мало-помалу приходить в себя. Словно неожиданно протрезвев от затмившего разум хмеля и только сейчас ощутив под собою тугую подушку седла, он крепче уперся носками шагреневых сапог в серебряные стремена и, искусно работая упругими поводами, принялся понемногу сдерживать обезумевшего коня. Чутьем, свойственным только степным кочевникам, природным кавалеристам и блестящим наездникам, он строго рассчитал в уме все: и расстояние, разделяющее его от показавшегося вдали аула, и степень постепенного спадания скорости у сдержи-

ваемого им рысака. Это позволило Саранскому, взяв в руки лошадь, дать ей почувствовать властную силу повода, затем умело перевести ее с бешеного карьера на стремительную, то и дело срывающуюся на галоп рысь. А к аулу полковник подвел уже жеребца на дробно-выравненной и более или менее спокойной иноходи. Правда, жеребец продолжал еще нервничать: кося окровавленными, полными слез и безумия глазами, норовил он все ринуться стрелою вперед и вперед. Однако подвластный теперь уже малейшему рывку и каждому смиряющему движению крепко зажатого в хозяйской руке повода, конь только вздрагивал, остервенело грыз мундштуки и сатанел от огня, разбушевавшегося в его утробе.

Навстречу всадникам высыпал весь аул. Но, завидев полковника, женщины и грязные, как чертенята, дети стремглав разбежались врассыпную по юртам. На месте остались стоять только лишь почетнобородые в роду старики да сбившиеся за ними в кучу джигиты.

Едва не врезавшись на полной иноходи в пугливо шарахнувшуюся в сторону толпу, Саранский резко осадил коня и, презрительно взмахнув нагайкой, крикнул:

— Эй, вы, ко мне, азиаты!

Толпа оборванных кочевников с раболепной поспешностью приблизилась к грозному всаднику и, приветствуя его преувеличенно низкими поклонами, выжидающе замерла.

Затем один из белобородых патриархов рода, рослый, в ветхом бешмете старик, выступив из толпы вперед, спросил в знак приветствия полковника на родном своем языке о том, здоровы ли у русского большого начальника руки и ноги и не утомился ли в пути его быстрый конь?

— Ты, тамыр, о моих конечностях не беспокойся — свои лучше на всякий случай побереги... — насмешливо ответил по-русски на почтительное стариковское приветствие Саранский и, перейдя на суровый, начальнический тон, спросил: — Кому принадлежит сей аул? Есть ли какие новости в ауле? Хабар бар, как говорят у вас по-киргизски?

— Это аул пастухов из рода Кугалы. Мы пасем табуны аткаминера Кеньжигараева, — ответил ему старик. — А какие могут быть новости у степного пастуха для большого начальника и русского человека? Я слышал, что в ауле Жаркен вчера на закате справлялись поминки по случаю смерти аткаминера Гурдукулова, и на байге близ урочища Коен-Бедаик загнали самого злого байского иноходца... А к нашим табунам подходили в прошлую ночь волки. Но храбрые джигиты отбили отару и прогнали союлами хитрого зверя в далекую степь...

— Храбрые, храбрые у вас джигиты! — все с той же презрительной усмешкой, неуважительно покосившись на молодых

кочевников, сказал полковник. Потом, пытливо приглядевшись к коричневому, притерпевшемуся к ветрам, лишениям и зною лицу патриархального старца, желчно спросил: — Итак, других новостей у вас для меня, стало быть, нет?

— Уй-бой! Какие могут быть новости у степного пастуха для большого начальника и русского человека?! Я все рассказал, о чем говорили мне степи...

— Хитер ты, азиат, вижу... Только чем бы вот про волков, аткаминеров да поминки городить, сказал бы ты лучше мне, куда от вас ускакал молодой офицер на вороной тройке?

— Молодой офицер?! На вороной тройке?!

— Да. Да. Да. Молодой. На тройке.

— Степь свидетель — я не видал молодой офицер на вороной тройке. Я совсем ничего про это не знай. Совсем ничего не знай я... — отрицательно покачав головой, горячо сказал старик даже по-русски.

— Ах, вот как?! Совсем ничего не видал? Ослеп? Отлично... — злобно рванув поводья и осадив все еще продолжавшего танцовать под ним жеребца, процедил сквозь зубы полковник.

— Уй-бой! Какой такой офицер? На какой такой тройке? Не знай я. Не знай. Не знай... — растерянно озираясь, продолжал бормотать старик по-русски.

— Погоди. Погоди, тамыр. Сию минуту. Сейчас ты у меня, подлец, все узнаешь, — подтягивая на весу ослабевшую под седлом подпругу, сказал как бы про себя полковник. Потом, выпрямившись в седле, обвел он испытующим взглядом выжидательно притихшую толпу пастухов и, обращаясь теперь уже ко всем, спросил:

— Может быть, из вас кто-нибудь про офицера докажет? Пастухи все, как один, потупясь, молчали.

— Выходит, никто не хочет правды начальнику сказать? Никто не видел из вас ни молодого офицера, ни вороной тройки? — глухим, но уже накаленным злобою голосом повторил свой вопрос полковник.

Однако и тут ему никто не ответил.

Пастухи стояли, поникнув, не проронив ни слова, доводя тем самым полковника до полного бешенства, ибо он видел по свернувшему с тракта знакомому свежему следу фаэтонных колес, что Аркадий был в этом ауле. Но что заставляло этих людей умалчивать о таком, в сущности, совершенно очевидном для полковника факте, — этого он не знал, и это было для него теперь новой мучительной загадкой. И Саранский, будучи сам человеком глубоко неискренным, озлобленным и

скрытым, заподозрил пастухов в каком-то злом умысле, видя в них чуть ли не соучастников какого-то темного, направленного против него сыновнего заговора. Он, немало насоливший на своем веку этим людям, всю жизнь презирая их и считая кочевников ничтожным, по природе трусливым и мстительным народом, ожидал от них, разумеется, всего. И если у них даже не было бы оснований мстить за что-то ему, — все равно он глубоко был убежден в том, что каждый из них почтительно изгибавшихся в три погибели перед ним при встрече способен был при случае убить, уничтожить его как врага. «Такова уж природа этих дикарей. Что ж тут поделаешь — степные варвары! Азиаты!» — любил брезгливо поговаривать о кочевниках полковник Саранский. Между тем в душе он отлично понимал, что дело тут далеко не в природе, а скорей в тех сложных национальных и классовых взаимоотношениях, которые сложились между ним, деятельным представителем русских колонизаторов, и ими, коренными обитателями киргиз-кайсацкой степи. Будучи не глупым, начитанным и даже для своего времени и окружающей среды довольно-таки образованным человеком, полковник Саранский хорошо знал, что корни взаимного недоверия и вековой национальной вражды между кочевниками и русскими уходят в глубь истории, ко второй половине XVIII столетия, ко времени вторжения в степную Сибирь казачьей вольницы, колонизировавшей этот, до того вольный, край. Именно с той далекой поры и началось становление тех национальных и классовых взаимоотношений между коренными обитателями и колонизаторами степи, сложный переплет которых породил между двумя народами и взаимное недоверие, и национальную рознь, и глухую вековую вражду. Однако, хорошо зная об этом, Саранский не мог и не хотел оправдывать своих личных, тоже в конце концов не совсем мирных взаимоотношений с кочевниками причинами социального, классового или национального порядка. Нет, когда дело доходило до его личного отношения к этому народу, то тут полковник, отбросив в сторону все свои познания в области истории, экономического и социального устройства, видел перед собой в лице кочевников только лишь дикарей, степных варваров, трусливых и мстительных азиатов, которые не могли, с его точки зрения, претендовать на лучшее к ним отношение со стороны русских людей.

Так думал полковник Саранский сию минуту и о пастухах, безмолвно стоявших перед ним, готовых по одному его повелению мгновенно стать на колени, как готовых в то же самое время заставить упасть перед ними ниц и его самого.

«Страшный, страшный, в сущности, этот народ. Варвары. Варвары. Дикари!» — мысленно твердил, приглядываясь к ним

полковник, и, размышляя о том, как бы сорвать ему сейчас свою злобу на беспутного сына и обиду за похищенную им любимую выездную тройку и великолепный парадный экипаж.

Наконец, беспокойный, злобно шныряющий по толпе взгляд полковника случайно упал на молодого высокого парня в малиновой тюбетейке. Парень этот, на вид которому было лет около двадцати пяти, стоял несколько на отшибе от толпы и, как показалось в эту минуту Саранскому, не совсем дружелюбно и раболепно, вопреки прочим своим сородичам, косил на него крутым, по-беркутиному зорким взглядом.

Бегло окинув наметанным оком высокую, гибкую фигуру парня, глянув на скуластое, резко очерченное его лицо, на упрямый, энергично выдавшийся подбородок, Саранский сразу же почувствовал в этом человеке волевой, твердый, цельный характер и ощутил странную неприязнь к нему.

Откуда взялась эта неприязнь — Саранский не понимал толком и сам этого. То ли независимая, почти вызывающе спокойная поза, в которой стоял в стороне от толпы этот парень; то ли его резко бросившееся в глаза полковнику строгое, скупо отсвечивающее задубевшим загаром умное лицо; то ли, наконец, ладно сидевший на его плечах, туго перетянутый в талии тяжелым степным поясом яркозеленый, хотя и потрепанный, но, видать, праздничный бешмет — чорт его знает — что, но что-то в нем раздражало Саранского.

И полковник, на мгновение забыв об Аркадии и даже о не выходившей до сего из ума тройке вороных, проникся вдруг такой, казалось, беспричинной и жгучей ненавистью к этому парню, точно это был не какой-то там безымянный, впервые встреченный им пастух, а закоренелый враг его, с которым давным-давно искал подходящего случая свести бог весть какие-то старые счеты разгневанный полковник.

И не спуская с этого парня потускневших от ненависти глаз, чувствуя, что уже не в силах подавить в себе нарастающей против него злобы, Саранский крикнул:

— А ты что — у бога теленка съел — в стороне встал?! На каком основании там выстроился?!

— А где же мне надо выстраиваться перед вами, господин русский начальник? — спокойно, не без удивления и плохо прикрытого ехидства спросил полковника смутно улыбнувшийся парень.

— Не знаешь, сукин сын, до сих пор своего места перед начальством?

— А откуда мне знать? Я степной пастух, а не воин...

— Э-ээ! Да ты, оказывается, разговаривать еще умеешь?!

— Приходится. Язык — не лопатка...

— Такие языки с корнем из поганого хайла вырывать надо.

— Трудная работа...

— Ничего. Как-нибудь справимся!

— Да вам не привыкать...

— Вот именно.

— Только, — как это говорится по русски, — на кого нарвешься...

— Из молодых, смотрю я на тебя, азиат, да ранний! Так еще у нас говорится по-русски.

— Хорошо говорится. Правильно.

— Беркут! Высоко паришь, только где-то, милый друг, сядешь?! И такая есть поговорка на русском языке.

— Тоже не плохая поговорка. Только с высоты-то ведь, пожалуй, виднее.

— Это правильно. Но смотри, подлец, как бы ниже кур не пришлось опускаться! Пешего-то сокола и воробьи, говорят, дерут. Смотри, варнак! Гляди в оба!

— А я так и делаю...

— Ну, то-то! А то ведь в два счета крылья могут обломать — и не пикнешь.

— Обломаешь беркуту крылья, у него еще когти с клювом останутся — птица злая...

— Молчать, выродок! — не выдержав, наконец, словесной дуэли, крикнул не своим голосом полковник. Он был бледен и, с трудом дыша, точно задыхаясь, неожиданно тихо, почти вполголоса, спросил после секундной паузы парня: — А ты, собственно, кто такой будешь? А?

Ответа не последовало.

Парень стоял, не изменив своей непринужденной, почти издевательски спокойной позы, и, ничем не выдавая ни волнения, ни гнева, ни тревоги, молчал.

Полковник понимал, что недоброе это было молчание, и потом, внутренне собравшись в комок, затих, выжидающе полуприкрыл отягощенные тоской и злобой глаза.

Было тихо.

Тогда, не подымая сиреневых век, Саранский снова зловеще спокойным и тихим голосом спросил парня:

— Кто ты такой? Я жду от тебя ответа...

Но вместо парня опять заговорил рослый старик.

— Это мой сын Ибрай Тарангулов, — уверенно прозвучал в ответ на вопрос полковника голос патриархального старца.— Это лучший джигит в роду Кугалы. Недавно он поборол самого Котуртага — сильнейшего из прославленных борцов из-за озера Кургальджин. Об этом хорошо поют бродячие

степные певцы—жирши и акыны... Но он молод, мой сын Ибрай Тарангулов. Он глуп еще и горяч у меня, как необъезженный конь в отгуле, и на него не надо кричать и не надо сердиться большому начальнику и умному русскому человеку... — заключил старик. И в знак покорности он хотел было прикоснуться худыми длинными пальцами к серебряному стремени всадника и погладить рукой осыпанное мелким жемчугом бедро его коня.

— Пшел прочь, собака! — крикнул полковник и с такой силой брезгливо пнул тупым носком сапога в тощую грудь старца, что тот, нелепо всплеснув над головой длинными, как у привидения, руками, плашмя грохнулся навзничь и, поперхнувшись подобием крика, притих и закрыл глаза.

И не успел еще Саранский снова разинуть пересохшего от злобы бранного рта, как парень в малиновой тюбетейке, ринувшись со всех ног к нему, так стиснул костлявыми пальцами поводья у схваченного под уздцы коня, что жеребец, пугливо шарахнувшись в сторону, присмирел и, зябко подрагивая от напряжения, покорно приопустил свою красивую гордую голову.

И тогда с минуту — или же только какую-то долю ее — и всадник, привставший на стременах, и парень, сграбаставший под уздцы коня его, оба стояли друг против друга неподвижно и молча, как памятники.

Замерла, воровски затаила дыхание, привстав на цыпочки, и толпа пастухов, ошеломленно глазевших на эту немую, почти торжественную сцену.

Еще секунда —

и Саранский впился правой рукой в позолоченный эфес сабли, —

рывок, —

и голубое пламя стального клинка, стремительно выпорхнувшего из ножен, ослепительно блеснуло в раскосых глазах кочевников и неподвижной свечой застыло в воздухе.

Мгновение —

косой смертельный удар наотмашь, —

и... все было бы кончено.

Этого ждали невольно съежившиеся, втянувшие в плечи головы, зажмурившиеся от ужаса пастухи.

И сделай бы Ибрай Тарангулов в этот момент одно малейшее движение, рванись бы он в сторону, оборонись бы поднятой кверху рукой или — что еще хуже — бросься в бегство, — бесспорно Саранский раскроил бы обнаженным клинком его досиня выбритый, прикрытый малиновой тюбетейкой череп: рука в таких случаях у полковника не была приучена к промахам и дрожи.

Но тут — вот уже развернувшись в плечах и слегка накренившись всем корпусом набок, Саранский приготовился для удара — однако, встретившись со спокойным, холодно блеснувшим взглядом неподвижно застывшего перед ним парня, полковник мгновенно утратил, граничавшую с безумием, решимость и медленно опустил отяжелевший вдруг, точно налившийся ртутью, клинок.

Что с ним случилось — Саранский не понимал этого сию минуту и сам. Но во всяком случае не страх и не безволие испытывал он, глядя на огрубевшие от ветров острые скулы парня и на всю его прямую, подобранную фигуру, — нет, здесь не было места ни безволию и ни страху, ибо Саранский был волевым человеком и отнюдь не был трусом. Что же касается того непривычного ощущения, которое он испытывал сейчас, то оно скорей всего близко было к какому-то страшному равнодушию и такому внутреннему опустошению, такой огромной физической усталости, какая бывает свойственна только человеку, познавшему тяжелый нервный припадок.

На секунду Саранский как будто утратил даже понятие о реальном: он плохо соображал, где он и что с ним. И только резко прозвучавший в раскаленной тишине тяжелый вздох с трудом поднявшегося с земли старца вернул полковника к действительности. Оглянувшись, он увидел, как двое юрких подростков, вынырнувших из толпы, подхватили старика под руки и поволокли его в ближайшую ветхую юрту.

— За что ты ударил старика, господин русский начальник? — очень спокойно и очень тихо спросил, наконец, полковника Ибрай. И, не дождавшись ответа, с едва уловимым волнением и дрожью в гортанно-вибрирующем голосе, продолжал: — За то, что пьяный твой сын, молодой офицер на вороной тройке, забрал у него последний бурдюк кумыса?! За то, что офицер обещал пристрелить, как собаку, каждого, кто посмел бы проговориться о том, что его видели в нашем ауле?! За это ты готов был убить старика, храбрый русский начальник?!

Ибрай сделал передышку.

Затем, не теряя последнего самообладания и не сводя с полковника накаленных до блеска, скупо отсвечивающих под траурными ресницами глаз, он выпустил из рук повод и уже более суровым и требовательным тоном сказал:

— Спрячь свой меч и уходи от нас, злой человек!

Вспыхнув, Саранский хотел было что-то ему ответить, но только покривил губами и, не найдя, видимо, нужных слов, сжался, смолчал. Потом, так и не вложив в ножны обна-

женной сабли, он рывком развернул встрепенувшегося под ним жеребца и, подав знак рукой присмиревшему в сторонке драбанту, поскакал от этого места прочь.

XXXIV

Марина росла в станице круглой сиротой. Ее считали незаконнорожденной дочерью бывшего войскового старшины хорунжего Брандта и вывезенной им из Фирюзы наложницы — полуцыганки, полуузбечки, имени которой в станице так никто и не знал.

Говорили, что Брандт без ума был от этой маленькой, хрупкой, как подросток, ни слова не говорившей по-русски, пугливой и необычайно красивой женщины. Хорунжий любил ее и ревновал чуть ли не к каждому казачишке. Поэтому около трех лет прожила она затворницей в древнем и сумрачном доме на войсковой квартире Брандта за наглухо закрытыми на железные болты с уличной стороны ставнями. Она избегала попадаться на глаза станичному люду не только из-за болезненной ревности Брандта, но и из-за страха еще перед старыми казаками, не раз открыто угрожавшими Брандту расправиться с его иноверкой, которую считали они виновницей всех бед, обрушившихся на линейный народ с появлением ее в станице.

Знойное, суховейное лето 1891 года; страшный пожар, уничтоживший в том же году добрую половину старинной крепости и оставивший без крова сотни душ; небывалый мор на рогатый скот и, наконец, голод, охвативший всю степную полосу Западно-Сибирского края, — все эти лишения и бедствия многие из станичных старожилов приписывали грехопадению хорунжего Брандта, а больше всего — колдовским навождениям иностранной его дикарки.

Так, например, оба георгиевские кавалеры — и дед Арефий и Фонбарон — изловчились высмотреть как-то вечерком сквозь заборную щелку гуляющую по саду сожительницу хорунжего и клялись потом шопотом на миру, что дикарка эта не кто иная, как только та самая индийская чревовещательница и колдунья по имени Нагима-Али-Хан, которую оба видели они, будучи в Хивинском походе под шатром афганского чародея и заговорщика ядовитых змей на ферганском базаре. Кавалеры божились крестом и матерью господам станичникам и господам старухам, что колдунья у них на глазах превращалась из роскошной благородной барышни в лютую ведьму и летала средь бела дня над городом Ферганой на огненном помеле.

Словом, дело дошло до того, что станичный поп Фи-

лимон — старикашка трусливый, не в меру коварный и жуликоватый, прислушавшись к ропоту мирян и издавна затаив в душе некое неудовольствие Брандтом, настрочил как-то на него в канцелярию духовной консистории длиннейший донос и, обвинив его в кощунстве над законами православия, высказался даже за отлучение вероломного хорунжего от православной церкви. Тогда по велению епископа Омской епархии прибыл в станицу для учинения над Брандтом духовного опроса и следствия непристойно молодой, самоуверенный и развязный благочинный отец Иосафф.

Но вся беда была в том, что Брандт знавал этого Иосаффа еще до того, как последний был изгнан за явное нерадение к батальным наукам из Омского кадетского корпуса, после чего махнул в духовную семинарию, где так преуспел в богословии, что вскоре облачился в шелковую рясу священнослужителя, втерся какими-то бог знает путями в доверие к самому епископу и в сане благочинного явился чинить опрос войсковому старшине, хорунжему Брандту.

Брандт, знавший отца Иосаффа тупым, ленивым и лживым Сафкой, которого когда-то не без удовольствия и смаку дубасил по голове кадетской линейкой, теперь, встретив его в сане благочинного, жестоко высмеял на миру духовного следователя за столь подозрительную смену армейского мундира на поповскую рясу и наотрез отказался притом давать ему какие-то бы там ни было показания о себе, а тем более о своей наложнице.

Когда же на другой день обескураженный таким образом перед всеми мирянами попытался было благочинный, при содействии попа Филимона, проникнуть в дом Брандта для увещевательской пастырской беседы с блудным сыном наедине, — а за одним он втайне надеялся, разумеется, и выглядеть обольстительную, по словам попа, дикарку, — то и тут отца Иосаффа постиг позорнейший конфуз, опорочивший благочинного на всю епархию.

А дело было так.

Изрядно подвыпивший перед этим по случаю новорожденной дочери Брандт до того был разгневан непрошенным визитом к нему отца Иосаффа, да к тому же еще совместно с попом, что, ни слова не говоря, взял благочинного за шиворот шелковой рясы и спустил его с высокого своего парадного крылечка вниз головой.

Надо сказать, что столь непредвиденный полет для священнослужителя был не совсем удачен: во-первых, у него слетела с головы, угодив в лужу конской мочи чудная, кофейного цвета, фетровая шляпа; во-вторых, лопнула на шее массивная серебряная цепь, и отец Иосафф обронил вместе

с цепью нагрудный крест — отличительный знак его благочинного сана. Само собой разумеется, что тут ему было не до креста, конечно, и ни до шляпы, — бог с ним со всем, в конце концов, — только бы самому невредимым и непоруганным во-время убраться. И слетев с крыльца на четвереньках, постыдно ткнувшись лицом в дорожную пыль, отец Иосафф, однако, не потерял присутствия духа, вскочил ловко на ноги и хватил, не оглядываясь на Брандта, за резво улепетывающим впереди его попом Филимоном. С перепугу попы забежали почему-то прямо в церковь и довели до икоты смятенным видом своим заспанного трапезника. Опомнившись спустя некоторое время только в алтаре, где, стоя перед престолом, и обнаружил благочинный, к великому своему смущению, греховную потерю креста и воистину превосходной шляпы.

Ни того, ни другого благочинный так и не нашел. А из-за этого и весь сыр-бор разгорелся. Случай помог — и за постыдное надругательство над саном священнослужителя, да еще облеченного пастырским доверием и благословением самого епископа, — против Брандта возбуждено было судебное преследование.

И случилось тогда с хорунжим то, о чем давно пророчили ему, осуждая его за вероломную связь с иноверкой, бродячие ярмарочные кликуши, станичные старухи и старики. Около трех лет каркали они на всех перекрестках о том, что ничего иного не принесет эта дикарка, кроме страшных бед для приютившего ее казачьего общества да несчастья для самого хорунжего, рискнувшего сдуру связать с нею свою судьбу. Каркали, каркали да и накаркали.

И вот повалились тогда на голову Брандта обиды, лишения и беды одна за другой. Не успел он еще доложить наказному атаману в рапорте о причинах скандального столкновения с отцом Иосаффом, как обрушился на кровлю семейного брандтовского очага новый удар: внезапно умерла, совсем уже было оправившаяся после родов, горячо любимая им его затворница, оставив на руках хорунжего крошечное, беспомощное аукающее существо, которое нарекли они вместе без крещения в церковной купели Мариной.

Казаки не позволили Брандту осквернить трупом туземки своего православного кладбища: они отвели под могилу ей отдаленное, считавшееся нечистым, место. И хорунжий схоронил иноземную свою чародейку вдали от станицы, меж древних скифских курганов, среди развалин полуисчезнувших глиняных азиатских мавзолеев и земляных батыевых городищ. И не остыла еще сырая земля над одинокой могилой этой рано умершей под чужим и неласковым северным

небом женщины, как оглашен был станичным атаманом на миру указ наместника края, генерала от кавалерии и губернатора Шмидта об отстранении хорунжего Брандта от поста войскового старшины, лишении его вышеуказанного чина, а равно всех имевшихся у него заслуг и наград и даже казачьего звания.

И тут же вскоре, не дав опомниться от всех пережитых потрясений разжалованному Брандту, учинен был над ним негласный суд присяжных. В станице потом говорили, что веди бы на этом суде себя Брандт иначе, по-иному, быть может, сложилась бы и вся его дальнейшая жизнь. Но он, доведенный до отчаяния и большим личным горем и грубостью присяжных, нагло издевавшихся во время процесса над чувством подсудимого к покойной женщине, не выдержал и договорился до непозволительных, по определению суда, выражений по адресу правосудия, нанес прямое оскорбление наместнику степного края и епископу Омской епархии, а косвенное — самому царю, за что и поплатился потом более жестоко, чем этого ожидали некоторые даже не совсем в пользу его настроенные казаки. Суд нашел в подсудимом политически преступного человека и по совокупности преступлений, якобы совершенных им, не только приговорил его к десяти годам каторжных работ в Акатуе, но, кроме того, лишил его всех прав состояния, а в том числе и права отцовства на незаконнорожденную дочь.

Таким образом, Марина, оставшаяся от родителей грудным ребенком, была передана по приговору станичного общества на воспитание к опекуну. Так как львиная доля средств, вырученных от распроданного с молотка движимого и недвижимого брандтовского имущества поступала в полное распоряжение опекуна,— а средства были не малые, — то и охотников взять на себя воспитание ребенка было хоть отбавляй. Однако верх взял на опекунских выборах состоявший в родстве с попом и станичным атаманом самый жадный до чужого добра, самый смиренный и богобоязненный на вид старик в станице, школьный попечитель Анемподист Никоныч Иконников. На его-то попечение и была передана маленькая Марина, которую поклялся он на миру вспоить и вскормить до совершеннолетнего ее возраста.

XXXV

Шли годы.

Марина росла замкнутым, необщительным, дичившимся и взрослых и сверстников ее ребенком. С малых лет тянулась она к уединению, чуралась тех игрищ и забав, которые свой-

ственны были детям казачьей станицы, и долгие знойные летние дни любила она проводить в степи, вдали от тревожного людского внимания и чужих зорких глаз.

Девочка еще ничего не знала тогда о своем сиротстве и не подозревала о скорбной участи своих родителей. Но отчего-то полюбились ей с детства угрюмые развалины древних степных мавзолеев да внушавшие всем ее сверстникам трепет и страх холмы земляных городищ. Чего только не говаривали бывало станичные казачата про эти заманчиво и загадочно синеющие в степном просторе места! И чем только не пугали дети и своего и мариниого воображения, наперебой рассказывая про эти заколдованные курганы, могильные памятники и холмы! Это туда, оказывается, слетались для сговора над могилой заморской ведьмы все степные колдуньи, нетопыри, и горе было б тому человеку, который оказался бы около этих курганов в глухой, неурочный час!..

И маленькой Марине приятно и жутко было слушать по вечерам страшные эти рассказы. Однако каждое погожее летнее утро девочка, поборов страх, тайком от сверстников убегала в таинственные холмы. Какая-то глухая, неотразимая властная сила влекла ее в места, которых сторонились порой даже взрослые люди. И здесь, по соседству с безымянной могилой, даже и не подозревая о том, что это могила и что в этой могиле была некогда похоронена без креста и церковного покаяния родная ее мать, только здесь и любила маленькая Марина коротать в одиночестве дни, полные тишины и ослепительного знойного блеска. И только здесь, среди проросших кипцом, ковылем и бессмертником надгробных камней и серых гранитных плит, в этом, обойденном людскими тропами, но зато любимом зверьем и хищными птицами месте, — только здесь и находила девочка доступные ей одной самозабвенные игрища и забавы. Никто не мешал ей тут разговаривать с гранитными плитами, выведывать у окрестных камней, холмов и курганов темную их судьбу и учиться понимать, о чем шепчут травы, или улавливать ухом невнятный ропот этой греховной, заколдованной злыми людьми земли. И маленькая Марина понимала, о чем вполголоса шелестела листвою одинокая береза, что росла на одном из соседних холмов, и жаловалась девочке на свое одиночество и на то, как скучно томиться ей здесь, вдали от веселых березовых рощ и прохладных дубов. И Марина жалела березу и утешала ее, говоря ей разные ласковые слова и напевая всякие, тут же выдуманные песни, которым учило ребенка в такую пору собственное, переполненное беспричинной тоской и любовью, необъяснимой тревогой и радостью детское сердце.

Так вот, среди степной тишины, среди одиноких забав и

игриш на пропитанном солью и зноем ветру и при рано проснувшихся в девочке очень тревожных и очень еще неясных желаниях, и прошло, пролетело маринино детство. И навсегда, на всю жизнь запомнился ей почему-то только дремотный звон колокольчика, что однажды коснулся чуткого детского уха ее, да взволновавший ее тогда до слез вид уходящего в степную даль каравана. Было это в один из жарких летних полдней. Забывшись, полузаснув, Марина сидела в тени развалин древнего глиняного склепа, утомленная от забав и равнодушная к грудам камней и к перешептывающимся о чем-то вокруг нее сухим травам. И вот вдруг, как будто очень далекий и, точно в сновидении, смутный звон колокольчика заставил ее очнуться. Тогда, подобно встревоженной шорохом птице, внутренне насторожась и вся встрепенувшись, увидела девочка проходивший поодаль от курганов верблюжий караван. Неся на своих горбах огромные, затянутые в ковры и войлок пыльные тюки, шли верблюды вереницей, мерно покачиваясь под гортанные окрики и протяжные песни беспечно сидевших на вьюках оборванных, темных лицом погонщиков. Впереди каравана на самом красивом, на белом, как лебедь, верблюде ехал коричневый весь и похожий должно быть на индийского факира предводитель, о котором немало слышала девочка от старых станичных георгиевских кавалеров. Голова предводителя была повязана белой чалмой, а на шее красивого его верблюда покачивался и позванивал волшебный колокольчик. Караван уходил, удалялся все дальше и дальше. И точно не шли уже, а плыли верблюды в серебрящемся просторе степных ковылей, то исчезая, то вновь появляясь там, вдали, у слегка затемненного знойной дымкой горизонта. А маленькая девочка долго еще продолжала стоять на вершине кургана. Заслонивши от солнца глаза крошечной ладонью, до боли напрягая зрачки, смотрела она вслед уходящим путникам. Куда, в какую далекую и счастливую страну уводил их коричневый предводитель? И отчего при виде этого каравана и темных лицом погонщиков так тревожно и больно забилось тогда, точно облитое горячей кровью, сердце девочки? И почему до слез взволновал ее и навсегда запал в душу дремотный звон волшебного колокольчика?..

Но прошло детство.

Рано кончилось оно для Марины. И ничего, кажется, от него не осталось, кроме болезненно яркого воспоминания об ушедшем в степную даль караване и удивительном колокольчике.

Ушел караван.

Ушло детство.

Прошла и юность.

Но остался и жил в глубине души тревожный и грустный напев некогда прозвучавшего на знойном ветру колокольчика. И только один волшебный и призрачный звук его напоминал в часы одиноких раздумий Марине о невозвратном детстве и каждый раз, просыпаясь в ней, наполнял ее сердце беспричинной тоской, неопределенными мечтами и непонятными ей самой желаниями. И не потому ли так ревниво прислушивалась она всегда к каждому бубенцу и не спускала досиня черных глаз с каждой промчавшейся мимо нее почтовой или земской тройки, что пробуждалась в ней в такие минуты глухая, издревле прижившаяся к сердцу тоска по какой-то далекой, необыкновенной, счастливой стране, мечта по какому-то иному, неведомому, но властно зовущему ее к себе краю?..

XXXVI

Марина росла, мужала, выравнивалась в высокую, гибкую станом, не по-здешнему стремительную в движениях, легкую на поступь девушку. Тогда на диковато-яркую, бросающуюся всем в глаза красоту ее стали мало-помалу заглядываться молодые казаки, и, чувствуя это, она нередко доводила их одной своей смутно блеснувшей на мглистом лице улыбкой до смущения, до несвойственной им застенчивости, до робости. Сверстницы Марины, станичные девчата-невесты, да и молодые замужние казачки видели в ней соперницу и, втайне завидуя хищной ее прелести, глубоко ненавидели ее, хотя и были убеждены, что никто из казаков не посмеет связать своей судьбы с бесприданницей, с чужой по крови и сословию полудикаркой. А о стариках и говорить было нечего: слишком свежа у них была еще в памяти греховная связь хорунжего Брандта с похороненной им без креста и покаяния околдовавшей его с ног до головы иноверкой. И уже по одному этому, — имей даже за собой Марина набитые приданым сундуки, — никто не рискнул бы из старых людей дать своему сыну для женитьбы на ней родительское благословение.

Но приданым Марина не могла похвалиться. Скупой опекун, прибравший к рукам, немалое по тем временам, родительское состояние своей воспитанницы, не очень заботился о дальнейшем ее благополучии. Впрочем, и сама она меньше всего задумывалась над этим. В то время, как все ее сверстницы, исподволь готовясь к замужеству, с малых лет до просватанья только и думали, как бы выманить у родителя или заручить поденной работой на стороне лишнюю копейку для того, чтобы обернуть при случае сбереженный таким образом рубль на расшитое гарусом полотенце или припасти на вос-

кресную рубаху будущему мужу аршин-другой чесучи или сатинета, — Марина была совершенно равнодушна ко всему этому. И, чуждая честолюбию своих сверстниц, она не особенно горевала о том, что не имелось в девичьем сундуке у нее ни чесучи, ни кисейных занавесей на брачную постель, ни крикливых расшитых гарусом, показных, свадебных полотенец.

Не было в Марине и свойственного всем девушкам ее возраста обычного пристрастия к нарядам. Однако одета она была и в будни, и в праздник всегда одинаково чисто, опрятно, к лицу.

И только однажды напала на нее вдруг страсть к дутым стеклянным бусам. Было это во время летней ильинской ярмарки в станице, в любимую пору семнадцатилетней Марины. Бесцельно бродя в яркий праздничный день по базару, увидела она в палатке ирбитского татарина целый ворох жарко играющих на солнце разноцветными волшебными огоньками стекляшек; Марина неожиданно до того прельстилась столь нехитрым девичьим убранством, что не стерпела и накупила себе целую дюжину этих, нанизанных на шелковые шнурочки, причуд. А потом, уединившись в горнице, она долго прихорашивалась у зеркала. Обнажив тонкую смуглую шею и слегка затемненную у сосков маленькую шафранную девичью грудь, Марина примеряла на себе то одни, то другие бусы и жадно любовалась собой. Цветные стекляшки, окольцевавшие шею и плечи Марины, тускло отсвечивали в скупом, сумеречном свете порозовевшей от вечерней зари горницы и придавали строгому облику девушки много наивной торжественности и еще более диковато-яркого, первобытного очарования и откровенной прелести. И, присмотревшись к своему отражению в зеркале, Марина решила, что она и на самом деле хороша собой так, как не может быть хороша ни одна из станичных ее сверстниц. А когда надела она вместе с самыми яркими бусами любимое свое, расшитое бисером на груди и на буфах, кубовое платье, то тут вдруг охватило ее такое непривычное волнение, такой беспричинный трепет, что впервые за всю свою девическую юность потянуло ее выйти в таком убранстве на народ, на улицу, к сверстницам и вместе с ними в песнях, в игрищах и забавах провести короткую летнюю ночь вне этой душной, пропахшей кожей и воском, давно опостылевшей ей иконниковской горницы. Впервые захотелось ей вихрем ворваться в хоровод и закружиться, опьянеть, потерять голову среди веселого девичьего гульбища под высоким, настежь распахнутым звездным небом.

Так Марина и сделала.

XXXVII

Уже в сумерки, сияющая и нарядная, вышла она за ворота и ворвалась в девичий хоровод так легко, непринужденно и просто, словно появлялась она в нем не в первый раз. Решительно, с разбега разомкнув собой цветную хороводную цепь, встала она между высоким смуглолицым казаком Агапом Бушуевым и маленькой пухлой казачкой, соседкой своей по дому и сверстницей, Варей Румянцевой. И, разъединив эту уже нареченную в народе пару — жениха с невестой, Марина молча и властно взяла их обоих за руки и, не нарушая медлительного хороводного ритма, легко и плавно пошла по его течению, тотчас же запев вместе со всеми высоким необыкновенно прозрачным и теплым голосом:

Плыла лебедь,
Плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами...

Неожиданное появление нарядной, похорошевшей, до пьяна возбужденной и необычайно веселой Марины в кругу молодых казаков и казачек до того поразило всех, от мала до велика, что вокруг хоровода скоро собралась огромная толпа из немолодых станичников, стариков, подростков и пожилых казачек. Все они с восторгом и изумлением смотрели, разинув рты, на внезапно разгулявшуюся затворницу и терялись в догадках, никак не разумея того, что же в конце концов произошло с ней, этой, до сего чуравшейся и людей и улицы нелюдимой девушкой.

А Марина, словно не замечая ошеломленно глазевших на нее старых и малых зевак, не обращая ни малейшего внимания на присмиревших от удивления и зависти к ней сверстниц, продолжала кружиться с хороводом по станичной площади. Опередив запевавшую ранее в хоре Варю Румянцеву, она сама уже повела за молодым своим, впервые вырвавшимся на простор, высоким, золотистым голосом эту взволновавшую ее до слез, до горечи девичью песню:

Ни отколь взялся,
Ни отколь взялся,
Ни отколь взялся млад сиз-орел.
Прилетел — ушиб,
Налетел — зашиб,
Он зашиб-убил крылом лебедь белую,
Легок пух пустил,
Белы перышки распустил,
Распустил пух по поднебесью,
Белы перышки — по синю морю...

Нет, никогда еще так не трогала за душу, никогда еще не волновала эта печальная песня Марину так, как тронула и взволновала она ее в эту минуту. И странное чувство овладело девушкой: вместе с грустью, навеянной скорбным напевом о гибели белой лебеди, ощутила она прилив бурной радости, и сердце, переполнившееся этой радостью и невыразимой нежностью к кому-то, готово было разорваться на части. Чуть приоткинув назад обнаженную голову, уронив на плечи с нее бирюзовый кашемировый платок, точно в каком-то забытьи, в бреду, в полудремоте, двигалась по хороводному кругу Марина следом за умолкшей вдруг Варей Румянцевой, двигалась и вела за собой за руку уже не сводившего с нее быстрых глаз молодого казака Агапа Бушуева. Ей было и стыдно, и радостно ощущать в своей маленькой горячей ладони такую тяжелую, сильную мужскую руку, — стыдно потому, что одно прикосновение ее к этой руке казалось Марине началом заговорнически тайного сближения с чужим, но отчего-то встревожившим ее человеком. А между тем ей было приятно и лестно знать, что рядом с ней был именно этот, а не какой-то другой казак, хотя она никогда в жизни не думала о нем, не ждала его, не искала с ним этой встречи и очутилась бок о бок с ним совершенно случайно. Нет, все это было каким-то сплошным наваждением! И чисто женским наитием Марина знала уже, что даром это ей не пройдет. Чутьем, присущим только женщине, она понимала, что случилось нечто такое, что перевернет всю ее былую, затворническую жизнь, а может быть, и перевернуло уже. Но что это было такое — она не знала. Однако, несмотря на испытываемое ею волнение, мысль ее в такую минуту была предельно проста и ясна: нет, теперь она уже не может больше оставаться одна, как прежде, без подруг, без хороводов, без песен, а может быть — и без этой сильной, большой, теплой мужской руки, что так крепко и надежно стиснута была в пылающей девичьей ладони, — нет, не могла она больше оставаться без этого, — нет, нет и нет. Она чуяла, что перешагнула порог, по ту сторону которого осталось былое ее уединение, и возврата назад для нее уже не было. Здесь совсем неожиданно распахнут был перед ней иной, новый мир, и мир этот так ослепил ее ярким своим необычайным светом, что девушка ничего не видела перед собой, но, ослепленная этим тревожным и радостным блеском, она доверчиво и покорно пошла с замирающим сердцем навстречу тому волнующему, зовущему и неведомому, что ждало ее впереди. И чем обостреннее становилось в ней чувство тревоги, тем возбужденнее, тем озорнее, притворяясь беспечной и бойкой, вела она теперь себя среди подруг.

А тут еще, как на грех, откуда-то взялся знаменитый

гармонист, красивый собой и всегда как будто слегка хмельной казак Сашка Ханаев. Кроваво-вишневый корпус дорогой расписной по бортам перламутром, стобасовой гармонии его утопал в голубых и пышных, как букли майской сирени, бантах, в паутине роскошных кружев, в атласных лентах, заменявших ему наплечные ремни, поддерживающие на уровне груди эту волшебную музыку. Это был тот самый Сашка, который так исполнял марш «Переход Суворова через Альпы», что вгонял в слезы старейших в станице георгиевских кавалеров. А однажды на благотворительном балу в доме атамана военного отдела полковника Шайтанова до того заиграл вальсом «Воспоминание о Пржевальском» гимназистку Таню Саранскую, что она у всех на глазах приколола к его гармонии самый пышный маркизетовый бант от собственного бального платья, а потом ей стало дурно, и Сашку поспешили удалить с бала, о чем он любил потом хвастаться, утверждая, что гимназистка была в него по-уши влюблена. Влюблена ли была Таня Саранская в Сашку — это неизвестно. Но все станичные девки от него были без ума — это факт. Потому-то и не скупились они на расточительные убранства стобасовой его гармонии, щедро украшая ее и банты, и ленты и кружева, всячески задаривая прославленного гармониста и обворожительного кавалера кашемировыми кисетами и разноцветными фантиками, со значением расшитыми бисерной мишурой. И не было еще в станице ни одной девушки, которая не обожала бы Сашку и втайне не рассчитывала хотя бы на временную, хотя бы на короткую его любовь. Но Сашка знал себе цену. Не очень-то был он падатлив на обольстительные девичьи приманки и речи и часто, захмелев, среди молодых казаков говаривал, что полюбит только такую писаную красавицу, ради которой не жалко станет ему при встрече грохнуть оземь свою гармонь. А судя по всем его повадкам, было похоже, что так он при случае и поступит. Но как ни старались станичные барышни, а прельстить гармониста ни красотой, ни нарядами, ни подарками не могли. Оттого-то и входил он в круг их всегда немного какой-то рассеянный, задумчивый, что не трогали его ни восторженные девичьи улыбки, ни устремленные на него сияющие глаза. Таким же вот и на этот раз принесла его откуда-то нечистая сила, надменного, красивого, точно с неба свалился он в хоровод. Неожиданно очутившись с гармонью в руках в самом центре замедленно вращавшегося, ярко пестрившего цветными девичьими нарядами круга, Сашка обвел его скучным, равнодушно прищуренным взглядом, лукаво подмигнул вскользь Машке Байджигиту — самой бойкой, озорной и восторженной из девчат, и стоило ему только чуть дотронуться пальцами до от-

зывчивых, звонко прощебетавших ладов, как грустная хоровая песня мгновенно оборвалась на полуслове. Затем стало так тихо, что все услышали вздох рывком зажатого Сашкой оранжевого меха гармонии и скрип порозовевшего от вечерней зари зеркального сашкиного сапога.

— Здравствуйте, я вас не узнал! — насмешливо сказал Сашка, кивая по сторонам. — С праздничком, девушки. С веселым днем вас, красотки!

— И вас равным образом, — ответили хором девки.

— А и скушные, послышу я, песни што-то у вас сегодня, барышни! Или загрустили за кем?

— А за кем нам грустить, как не за вашим обличьем, Александр Ананьич?! —полушутя, полусерьезно сказала со вздохом Машка Байджигит.

— Но-о?! — деланно изумился Сашка. — Неужто и в самом деле за мной так наскучились?

— Ишо бы не заскучать! Сколько лет, сколько зим, можно сказать, не видались — смерть, как натосковались... — призналась, не оробев, Даша Шебанова.

— Ох, сумлеваюсь я што-то за чудные ваши речи, барышни! Плохо я верую вам, извиняйте меня на этом, красотки... — явно напрашиваясь на любезности, продолжал все в том же насмешливом тоне балагурить с девками, небрежно перебиравший перламутровые лады Сашка.

— А вы уж поверуйте...

— И сделайте нам такую милость.

— Не сумлевайтесь на этот раз за нас, Александр Ананьич...— заглушая вполголоса разговаривавшие лады гармонии, шумно, наперебой защебетали вокруг Сашки девки.

— Ах, верую. Верю. Прелестно, сударыни. Однако поете-то вы сегодня все-таки определенно не согласно моему вкусу, — махнув с веселым отчаяньем на девок рукой, сказал Сашка.

— С нашими кавалерами не то ишо запоешь! — опять, перебивая друг друга, защебетали девки.

— Без музыки-то у нас што-то и песня не поется, и голосок не тянется...

— Хоть бы вы развеселили нас ради праздничка, восподин музыкант!

— Не оставьте без уважения нашей просьбы.

— Фунт монпансье «Ландрин» вскладчину на ярманке для вас купим...

— Коробочку папирос—«Зефир». Найвысший сорт. С духами. Четвертак десяток. Ароматические...

— Бухарской халвой попотчуем.

— Шадринскими пряниками. С изюмом! На чистой патоке!

— Только сыграйте нам на все шесть фигур кадрель. Уважьте.

— Лучше бы казачка!

— Нет — «Метелицу»!

— Польку «Бабочку». Польку! Польку! — послышались со всех сторон требовательные заказы.

Но Сашка уже плохо слушал, о чем шумели девки. Заметив в хороводе Марину, он почувствовал, как у него сразу же онемели с разбега остановившиеся на клавишах пальцы.

Нет, нет, нет, решительно ничего не понимал Сашка. Да. Решительно ничего. Определенно. Недаром при первом же взгляде на эту высокую, диковатую на облик девушку мгновенно забыл он обо всем на свете: о хороводе, о горячих девичьих просьбах и даже о собственной, тяжко повиснувшей у него на груди стобасовой гармонии. И только немногие из девок заметили, как мгновенно преобразился, просветлел обожаемый ими гармонист и, насторожившись, долго не сводил с Марины изумленно раскрывшихся, странно потемневших глаз.

Наконец, словно придя в себя от непривычной для него растерянности и минутного замешательства, он лихо тряхнул своим пышным пепельным чубом и, решительно шагнув в сторону Марины, с такой страстью и удалью рванул гармонь, что могучий, густой рокот ста ее басов уподобился торжественным и грозным звукам целого духового оркестра. И грянула подхваченная вслед за гармонью всем, вновь пришедшим в движение хороводом, подняла на цыпочки всех старых и малых зевак просторная, переполненная тревогой и радостью песня:

Вдоль по улице метелица метет.
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Медлительный в движении и яркий, как карусель, хоровод плыл, кружился в глазах Марины, и сердце ее при звуках этой новой песни билось так сильно, что она уже не только не могла петь, но ей даже трудно было дышать. Теперь уже не она держала за руку Агапа Бушуева, а Агап Бушуев, перехватив тонкую ее руку в запястье, крепко держал ее в своей широкой, жесткой ладони, и Марине казалось, что только благодаря прикосновению этой сильной, надежной руки казака и удерживалась она еще в хороводе, и кружилась вместе со

всеми по этому, воистину заколдованному кругу. Так утомило ее ощущение беспричинного счастья, что она испытывала физическую усталость, головокружение и даже тоску.

А Сашка шел уже с Мариной совсем рядом, плечо к плечу, и целый ураган восторженных и в то же время призывно грустных звуков бушевал в утробе его гармонии. С удивительной четкостью и проникновением выговаривали под стремительными пальцами гармониста перламутровые лады:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли столь на белое лицо.

Марина чуяла, что это ее требовательно уговаривал с помощью гармонии и всего поющего хоровода обворожительный гармонист:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Тем временем Агап, не выпуская крепко зажатого в руке мариниого запястья, следовал за ней молча. Он, считавшийся в станице одним из лучших песенников, никогда бы не утерпел прежде, чтобы не подхватить дружной песни, и потому безмолвием своим на этот раз немало удивил всех казаков и девок. Между тем Марине казалось, что это о его стремлении вдоволь наглядеться на нее говорилось в песне, и именно за него так горячо и взволнованно уверял ее гармонист:

Красота-ль твоя с ума меня свела,
Иссушила-ль добра молодца, меня...

XXXVIII

...Но что случилось?

Почему вдруг оборвалась на полуслове разбушевавшаяся, как пожар, хоровая песня? Смолкла, точно пришибленная, поперхнувшись отчаянным воплем, гармонь. Взвизгнули пронзительно девки. И опять на мгновенье стало так тихо, что слышен был шелест кашемировых оборок на чьем-то подоле да короткий, стремительный свист промелькнувших над головой незримых птичьих крыл.

Марина видела, как девки, разомкнув хороводную цепь, сбились в кучу, а некоторые из них испуганно шмыгнули за спины своих кавалеров. На месте остались только парни — рослые, в ухарски заломленных набекрень форменных казачьих фуражках, с буйными чубами, заслонявшими черные лакированные козырьки, в ярких сатинетовых воскресных рубахах, перетянутых широкими кушаками на животах, — они были поистине живописны и даже несколько, пожалуй, воинственны и грозны. Такими по крайней мере они пока-

зались в эту минуту Марине, и только их почему-то запомнила она из всего того, что произошло затем на станичной, площади. Впрочем о том, что произошло, она узнала несколько позже, уже со слов Агапа. А произошло такое событие, о котором в станице не могли потом забыть за целые годы.

Случилось так, что только за исключением одной Марины, явившейся прямой виновницей этих событий, все присутствовавшие при этом на площади видели, как Сашка, долго выкруживая около девушки с ревущей в руках гармонью, норовил обольстить Марину собственной внешностью, громовым рокотом всех ста басов и хоровой песней. Однако, заметив, что Марина, погруженная в свои думы, даже ни разу не подняла на него полузакрытых глаз, Сашка, приблизившись к ней вплотную, попытался было тогда на ходу втереться в хоровод, стараясь вклиниться между ней и Агапом.

Но Марина, инстинктивно прислонившись плечом к Агапу, вынудила осадить обескураженного гармониста назад.

Эту первую сашкину неудачу заметили в толпе, и Сашка скорее почувствовал, чем услышал, ехидное улюлюканье и озорные, подковыривающие свистки, пришедших по этому случаю в неописуемый восторг станичных зевак, а в особенности близнецов Карауловых.

Но Сашка был парень не из робких и теряться в таких случаях не прывык. Поэтому, притворившись равнодушным к свисткам и улюлюканью, он решил, что ему однако ничего не осталось больше делать теперь, как только итти напролом, разъединить у всех на глазах эту пару и хотя, может быть, и силой и пусть даже не на всегда, а девушкой сию минуту и во что бы то ни стало завладеть. И, приняв такое решение, он с невиданным остервенением и выкрутасами, варьируя на басах «Метелицу», снова приблизился к Марине и вдруг с таким расчетом рванул левой рукой гармонь, чтобы вышибить одним, как бы нечаянным ударом локтя из хороводной цепи Агапа. Да Агап, заранее, видимо, угадав коварное намерение гармониста, был уже настороже: еще крепче стиснув в запястье маринину руку, он и на сей раз сумел защитить девушку от не в меру назойливых преследований пылкого кавалера.

Вслед за этой второй неудачной попыткой Сашки в толпе зевак раздался громовой разряд хохота. Казаки, столпившиеся за цепью хоровода, предвкушая уже неминуемое побоище, для затравки азартно кричали Сашке:

— Трусишь, восподин музыкант. Трусишь!

— Робеешь, подлец! Робеешь!

— Это тебе не на гармошке тинь-тилили тиликать!

А некоторые, приняв сторону Сашки, подогревали его с другого боку так:

— Не уступай ему крали, Сашка! Не уступай!

— Эх, за свою барышню, варнак, при случае постоять не умеешь!

— Не позорь ты, ради бога, своей музыкальной нации!

— А там девка-то, девка-то, воспода станишники, — прямо персидская княжна чисто!

— Кровь с молоком!

— Патрет!

— Картина кисти живописца!

Казаки не скупились на масло, расточительно выплескивая его в огонь, и он бушевал в Сашке, перекаляя бешенством расширившиеся его зрачки, напрягая до дрожи каждый нерв его, каждый мускул.

Сашка уже не слышал подстрекательных окриков из толпы. Он и без того, осатанев от обиды и озлобления, вдруг остановился, как будто ошарашенный ударом бык, и так свирепо, с размаха захлопнул растянутую на косую сажень гармонь, что она дико рявкнула и дала некоторый перекос в палисандровом своем корпусе.

Вот в эту самую минуту и оборвалась хоровая песня на полуслове. Вот тут-то и наступила та страшная тишина, при которой услышала Марина шелест кашемировых оборок и прозвучавший над ее головой в лиловом вечернем небе стремительный и короткий свист птичьих крыл. И странно, что Марина была испугана не смятением и гвалтом, поднявшимся было вокруг нее, а этой, бросившей ее в оторопь тишиной.

Тишина эта длилась всего несколько мгновений.

Затем Сашка, на секунду задержав помутневший, невидящий взгляд на слегка побледневшей и от этого еще более похорошевшей Марине, весь напружинился, высоко занес над головой поднятую обеими руками, как глыбу, гармонь и вдруг ринулся со всех ног на Агапа.

Тогда, глухо вскрикнув, Марина вырвалась из рук Агапа и бросилась бежать из хоровода прочь, по направлению к своему дому так, точно за ней гнались.

Агап же, ловко ускользнув от прямого, расчетливого и, бесспорно, смертельного удара Сашки, так в свою очередь хватил взбешенного гармониста кулаком по виску, что тот, подпрыгнув в воздухе, грохнулся наземь вместе с простонавшей в его руках гармонью.

На ноги поднялся Сашка с великим трудом лишь тогда, когда на площади Агапа уже не было. И только покинутая своим нареченным женихом Варя Румянцева, стоя на отшибе от сбившихся в одну кучу подруг, испуганно смотрела на

сразу поблекшего, оскорбленно съежившегося гармониста и пыталась даже еще улыбнуться ему до того растерянно и фальшиво, что Сашке даже стало жалко ее.

Так закончился первый выход Марины на уличное девичье гульбище, и первая же попытка ее войти в круг своих сверстниц наделала для многих большой беды.

Мало того, что из-за нее впервые в жизни осрамился так недостойно, на глазах у всех одностаничников, прославленный гармонист, так он к тому же еще и надолго лишился сдуру изуродованной им роскошной своей гармонии, что являлось для опомнившегося позднее Сашки Ханаева настоящим бедствием.

Но все это было еще полбеды.

Самая страшная беда постигла Варю Румянцеву.

XXXIX

На другой день после рокового появления Марины в хороводе и публичного столкновения из-за нее между Агапом и Сашкой Ханаевым молнией облетела поутру станицу весть о том, что Агап Бушуев наотрез отрекся от высватанной за него невесты. Большего позора и бесчестия для просватанной и уже приготовившейся к венцу девицы, разумеется, нельзя было и придумать. И событие это до того поразило станицу, что многие из казаков и казачек долго не хотели поверить в скандальную правдивость такой новости, о которой только и было разговору на всех перекрестках и у всех ворот.

Да и трудно было поверить этому.

Невеста была далеко не дурна собой, девушка работящая, приветливая, а главное — с достатком. И, наоборот, когда прошел слух о храбром сватовстве Бушуевых к единственной румянцевской дочке, то большинство из станичных жителей были убеждены, что Варю за Агапа, конечно, не отдадут.

Отец Вари, Никонор Романыч Румянцев, занимающий пост станичного атамана в прошлом, был человеком более состоятельным, чем отец Агапа — Платон Тимофеич Бушуев. По сравнению с Румянцевым, Бушуевы были бедняками: двадцать десятин посева, штук девять рабочих лошадей да дойных коров, имевшихся в хозяйстве, — это для сибирского казака, по тем временам, было еще не ахти каким богатством.

У Румянцевых же ходило по осени около полуторы тысячи одних только шеленских овец, не считая табуна рогатого скота и сравнительно обширных посевов. Кроме того, они являлись совладельцами новой паровой мельницы, построенной в станице на паях с династией скотопромышленников Боярских, и вообще люди жили на широкую ногу.

О выдаче единственной своей дочери за Агапа Бушуева отец Вари на первых порах даже слышать не хотел и сватов, засланных бушуевским домом, сначала принял, говорят, недостойно, молча указав властным своим перстом сначала на грузный от бронзы и золота киот, потом — на порог.

Но Варя, связанная с Агапом давней близостью, слезами и угрозами в случае отцовской немилости наложить на себя руки, уломала-таки смолоду слабого на женские слезы старика и добилась от него родительского благословения.

После длительного торга с Румянцевым сваты, вдоволь поломавшись друг перед другом при определении суммы запроса, ценой в конце концов сошлись, и в доме Румянцевых состоялось рукобитье.

А цену набил Никонор Романыч Румянцев своей дочке немалую. И согласно обоюдно принятого обеими сторонами условия, Агап обязан был справить невесте: модный сак с отделкой из темной шелковой тесьмы, шубу на кенгуровом меху под темносиним сукном или мятым плюшем, остроносые гамбургские ботинки со шнурком с парой глубоких калош, семь аршин кашемиру и пять бирюзы для подвенечного и воскресного платьев, фату и сто двадцать пять рублей наличными деньгами.

Узнав о таком запросе, Платон Тимофеич Бушуев со своей старухой в голос ахнули — вот это заедет сношка в копеечку! Батюшки светы, да слыханное ли это дело — такая дороговизна! Нет, такой цены на девок в станице еще не набивали. И не по карману был принят такой запрос для Бушуевых, не по достатку...

Однако невестынька приходилась бушуевским старикам по душе. А кроме того — и это главное — уж очень лестно было им породниться с таким состоятельным и почетным станичником, каким был у всех на счету Никонор Романыч Румянцев. К тому же и приданого за будущей снохой, по слухам, было немало. Одних только вышитых рукотертов, судачили бабы, припасла Варя двадцать семь штук, а от одежи сундуки, по рассказам, ломились. Помимо всего прочего, Платон Тимофеич со своей Агафьей Андреевной втайне надеялись, что как там ни скуп был и не прижимист старик Румянцев, а уж на брачном-то вечере авось ради единственной дочки расщедрится и благословит, глядишь, молодым с сотняшку овец или окажет некоторый капиталец наличными деньгами. Ну, а тогда и Агапу можно будет самостоятельно встать на ноги, и родительское их хозяйство нетрудно будет поправить...

Словом, пораздумав да пораскинув умом-разумом, старики решили, что Варя такого запроса стоит, и выбором сына остались они премного довольны.

И две недели, не доедая, не досыпая, метался Платон Тимофеич, загоняв всех своих лошадей, между городом, станцией и станицей. Мыкался он как угорелый вдвоем со старухой по городским базарам, по степным ярмаркам, по купцам, по магазинам, но все до нитки, что было выговорено Румянцевым при запросе, вместе с деньгами — сто двадцать пять целковых чистоганом, как одну копейку, — все вручил Платон Тимофеич своему дорогому сватушке в обусловленный срок своевременно.

Изрядно выпив по этому случаю, сваты, обнимаясь, лобызали друг друга, хвастались каждый своим дитем, пели всю ночь напролет крикливо и вызывающе полузабытые войсковые казачьи песни и, упав на колени перед позолоченным румянцевским киотом, клялись, прослезившись от восторга, во взаимной любви и преданности до гробовой доски.

А поутру — бах!

Хватил их, совсем уже породнившихся сватушек такой удар, от которого после ночного шумного пиршества и бдения оба разом они протрезвели. Узнав об отречении Агапа от Вари, сваты почувствовали себя так, словно окатили их при всем честном народе с головы до ног из-за угла ушатом ледяных помоев.

Но не ушла от позорища и Марина.

Вскоре после того, как стало известно о растроившейся свадьбе Агапа с Варей, в одну из непогожих, грозовых ночей были облиты смолой новые, только что выкрашенные в канареечный цвет тяжелые, резные ворота иконниковского дома. Между тем в станице всем было совершенно ясно, что сделано это было в отместку иконниковской воспитаннице за инокровно-порочную красоту ее и за те обиды и беды, которые причинила она многим и многим при первом же своем, видать, неурочном появлении в хороводном кругу девиц, посеяв между одностаничниками взаимную ненависть, озлобление и вражду, вызвавшую затем непристойное надругательство друг над другом.

Таким образом, не замешкали люди отомстить и Марине. Но чьих рук это было дело — то ли оскорбленной отказом Агапа Вари Румянцевой, то ли не менее оскорбленного Сашки Ханаева, то ли иных, давно искавших такого удобного для отместки случая марининых сверстниц? Этого в станице никто не знал. Впрочем, мало кто и интересовался этим. Не все ли равно — чьих рук это дело? Самое главное, что Марина все-таки не ушла от людского посмешища. Она была оплевана, опорочена и как! Ведь ничего не считалось позорнее для девушки этих залитых смолой, заплеванных яичной скорлупой, обезображенных ворот. Только самые последние,

гулящие в станице девки да отпетые вековушки и удостаивались такого срамного бесчестия, которое ложилось грязным пятном не только на девушку, но и на весь ее родительский кров.

И если Марина до своего рокового появления в кругу сверстниц имела в станице только недоброжелателей и завистниц, то после этого случая она нажила уже себе прямых и непримиримых врагов. А враги, досужие сплетницы и станичные кликуши, перемывая в поклепах и вымыслах кости Марины, подняли из гроба даже беспокаянную тень ее матери. Корили Марину сиротством. Корили бедностью. Корили бесприданьем. Корили грехопадением родителя ее, без вести сгинувшего на акатуйской каторге хорунжего Брандта. Чего, чего только не припомнили ей за эти черные дни!

Травля, поднятая против Марины, преследовала ее на каждом шагу. Ей уже буквально не давали прохода ни бабы, ни девки, ни даже настрополенные старшими против нее подростки, безнаказанно швырявшие в нее камнями, высмеивавшие ее вместе с оголтелыми толпами девок, с кучками злобно шипевших по заугольям старух и распоясавшихся станичных головорезов. Стоило ей только показаться на улице, как тотчас же градом сыпались на поникшую девичью голову такие грязные, коробившие сердце и душу слова, что от злобы, смертельной тоски и горькой обиды в узких и темных глазах Марины мерк свет и подкашивались резвые ноги...

И Марина поняла, что все пути к девичьим радостям, к ярким уличным гульбищам и шумным забавам навсегда теперь были заказаны для нее. Да. Навсегда были заказаны. Навсегда. Навсегда.

Но что делать?

Ведь в то же самое время навсегда закончилась, ушла вместе с юностью в прошлое и былая, затворническая маринина жизнь. Вот и карты на сей раз не врали: как ни раскидывала их Марина, как не гадала о темной своей судьбе, а пути ее они ей не раскрывали. Наоборот, падала на путь ее дама пик — злодейство. Поздний разговор с бубновым королем. Коварство трефового валета. Рядом с девяткой пик ложилась семерка — к удару, слезы. Потом очень неприятное свидание в казенном доме с червями. Очень неприятное — пиковая восьмерка с королем червей. Очень неприятное соседство.

Да, не было Марине пути.

Но не было и возврата к прошлому. Это Марина знала и без карт, без ворожбы, без трефового валета, и без позднего разговора с бубновым королем, и без неприятного свидания с червями в казенном доме. Знала Марина и без этого, что закрыться, как прежде, в горнице и отсиживаться в полном

уединении она уже больше не могла. Она не могла этого сделать больше всего не потому, что опекун ее, напуганный дурной славой, окружившей его воспитанницу, а стало быть, и весь дом его, — теперь, как и прочие, стал попрекать ее сиротством, непристойными родителями и даже куском хлеба, — плевать она хотела на этого трусливого, строптивого и лживого старикашку, и, кроме безмолвного презрения к нему, ничем иначе не отвечала на ханжеские его речи. Нет, ни сплетни досужих сверстниц, ни грозные, пророческие вопли кликушенствовавших старух, ни упреки ее опекуна, — ни это, а совсем другое волновало и тревожило теперь Марину. Так на смену беспричинной тоске и неопределенным желаниям, прежде часто тяготившим ее, пришла к ней тоска по человеческой близости, тоска по чьему-то заботливому участию, по ласке, по теплоте.

По ночам она вставала с постели и босиком, в одной мадеполамовой сорочке часами просиживала у настежь распахнутого в палисадник окна. Свежи и призрачны от обильных рос и вызревших полнолуний июльские ночи в степной Сибири. В такую пору всегда пахнет гарью и слегка подвянувшим за день густым и горьким пустошным сеном. Вокруг стоит мертвая тишина. Чуть внятен, почти неуловим на слух шелест неугомонных листьев серебристого тополя. Дерево, стоящее в полосе лунного света, похоже на огромный меч едва колеблющегося в дыму голубого пламени, а трепещущие листья его — на порхающих над огнем темнокрылых бабочек.

Точно завороженная, заколдованная смотрела Марина на этот, казалось, пылающий в мглистом дыму тополь. И часто с вечера до самой утренней зари, дрожа от ночной прохлады, а может быть, и от непривычного напряжения нервов, слуха и зрения, чутко прислушивалась она к каждому звуку и шороху, прислушивалась и все ждала кого-то, ждала, ждала...

Может быть, она тогда еще не хотела признаться самой себе или, может быть, она еще не знала, а только лишь чувствовала, что ждала никого иного, а одного, странно близкого и в то же время совсем чужого для нее человека, и человеком этим был, кажется, Агап.

Да, кажется, это был Агап.

... — поздний разговор с бубновым королем?!

Да, это с ним, пожалуй, должна будет говорить Марина. Правда, он ничего не обещал ей. И она ничего ему не обещала. Ведь это совершенно случайно, бог знает, как очутилась тогда она рядом с ним в хороводе. Ведь даже ни слова не сказали они друг другу тогда... И это очень и очень смешно,

наверно, сидеть всю ночь напролет у настежь распахнутого окна босиком, в одной рубашке, сидеть, ревниво прислушиваясь к ночной тишине, ждать его, ждать, ждать... И смешно. И обидно. И глупо. И больно.

Все это Марина отлично понимала.

Но что поделаешь? Опять тут было, должно быть, какое-то навождение. И Марина, подвластная этому навождению, не в силах была уже совладеть с рассудком. Потому и не могла она по ночам сомкнуть воспаленных бессонницей глаз. Потому и прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку.

Но тихо было в ночи. И только изредка чужие слышались шорохи и шаги. Чужой звучал иногда где-то поодаль шопот. Чужой смех звенел в переулке. Чужие горячие, вкрадчивые речи и вздохи доносились из лунной полумглы. Чужое счастье проходило мимо Марины.

А тот, кого ждала она, не откликался, не отзывался, не шел.

И вообще, Агап, как в воду канул. После столкновения с Сашкой Ханаевым и разрыва с Варей Румянцевой он, как и Марина, перестал показываться на людях, совсем скрылся из глаз, исчез. Стороной Марина слышала, что разгневанный решительным отречением сына от нареченной ему невесты Платон Бушуев сгоряча выгнал его из дому вон. Говорили, что Агап пропадал недели три после всего этого в степной стороне, опасаясь будто бы отцовской немилости, в одном из аулов гостеприимных кочевников. А затем, выждав пока немного отхлынет горячее родительское сердце, он, как ни в чем не бывало, вернулся в дом и тут же вскоре ушел со своим полком в лагеря, на полуторамесячные строевые конные учения.

Но вот минули и эти два долгих месяца. Возвратился с походными песнями в станицу оттрубивший на лагерном сборе казачий полк. Завершилось шумное пиршество по этому случаю среди казаков и казачек. А Марина попрежнему не могла дождаться, дозваться, докликаться сердцем Агапа, хотя и не переставала ждать его по ночам у распахнутого окна, как не переставала гадать на бубнового короля, и еще более болезненней и ревнивей прислушиваться к каждому неясному шороху, к каждому звуку.

Наконец, однажды, — это было уже поздней осенью, — снова случайно свела их судьба лицом к лицу. Но в этот раз встретились они без свидетелей, один на один.

Как-то в сумерках привела Марина на водопой к озеру выездного иконниковского коня.

Стоял один из тех погожих, необычайно прозрачных и

вдоволь уже прохладных вечеров, какие бывают в конце октября. Это был один из тех вечеров, когда в канун первых заморозков и близкого снегопада наступает в природе великая, умиротворяюще торжественная тишина, и мир, безмолвный от бесстрастия и покоя, заставляет тревожней и горше биться в такую минуту молодое, не знавшее еще равнодушия и усталости человеческое сердце.

Обнажен, дик и пустынен был в эту пору озерный берег. Только одинокая белая, как лебедь, гусыня, не то отставшая от стаи, не то оставленная хозяином на племя, сиротливо сидела неподалеку от мостков на песке и, дремотно охорашиваясь, часто перебирала пощелкивающим клювом свои жемчужно лоснящиеся на оттопыренном крыле перья.

На большой высоте проходил над озером в этот час подгоняемый заоблачными ветрами месяц.

Марина стояла в самом конце далеко уходящих в озеро, зыбко колеблющихся под ногами мостков и, придерживая за повод по колено забредшего в воду коня, зачарованно смотрела на отраженный озером лунный осколок. Противоположного берега, затерявшегося в полумгле, было не видно. И Марине казалось, что ее, окруженную кромешной бездной неба и воды, понемногу относило в глубь озера все дальше, дальше и дальше. И точно не мостик, не жердочки колыхались у нее под ногами, а дно утлой лодки, незаметно отчалившей от берега и медленно уносимой в этот студеный, таинственно поблескивающий под луной водяной простор. Это было очень непривычное для нее, полухмельное, до головокружения приятное и в то же время немного жуткое, тревожное ощущение. Оно передалось, должно быть, и коню, потому что и он, чуть касаясь бархатистыми губами воды, только притворялся пьющим, а на самом деле, навострив уши, тоже с тревогой и изумлением косил алмазным зрачком и что-то слушал.

Может быть, от этого непривычного ощущения, а может быть, и от внезапно проснувшегося тягостного предчувствия не то близкого счастья, не то беды, неведомо почему, но у Марины так что-то больно кольнуло сердце и уже по-настоящему вскружилась голова, что она, закусив губы и прикрыв глаза, едва удержалась на ногах.

И не удержалась бы, наверное, не подоспей к ней в эту самую минуту Агап.

Марина не слышала его приближения. Но она узнала его по одному прикосновению рук, властно схвативших ее сзади за локти. Неожиданное появление Агапа нисколько не напугало, не встревожило и даже ничуть, казалось, не удивило

ее, точно они заранее условились об этой встрече на таких неверных, предательски колеблющихся под ногами мостках, точно она ждала его здесь, точно этого не могло просто быть иначе...

Марина даже не сразу открыла глаза.

Странная слабость, близкая к забытью, к дремоте, к дурману, вдруг овладела ею. Покорно и доверчиво отпрянув назад, она повисла на окольцевавших шею ее и талию упругих руках Агапа.

Губы ее беспомощно приоткрылись. Они сразу же запеклись от жары, мгновенно высушившей ее рот, и так мелко и судорожно подрагивали, словно все пытались сказать что-то и не могли.

Она ощущала только одно горячее дыхание Агапа над пылающим своим виском, жесткий, прохладный его подбородок, касавшийся ее щеки. И ничего, ничего больше не чувствовала, не понимала, не видела и не слышала в эту минуту Марина, бессильно повиснув на надежных агаповых руках...

А в конце ноября, в одну из первых вьюжных ночей подлетела к воротам иконниковского дома глухо позвякивающая бубенцами шальная тройка. И не успел сидевший на козлах за кучера молодцеватый собой и бравый на вид казак Корней Шебанов с шиком осадить на полном скаку очумевших от восторга и вьюги лошадей, как из распахнутой в эту самую минуту калитки стремительно бросилась навстречу к подлетевшей к воротам тройке высокая, закутанная в оренбургскую шаль женская фигура. Едва не попав под копыта привставших на дыбы лошадей, женщина по-птичьи, легко и проворно впорхнула в темный зев наглухо крытой степной ямщицкой кибитки. Затем раздался ухарский гик кучера. И тотчас снежный вихрь, объявший кибитку, мгновенно слизал следы сгинувшей в воющем мраке неуловимой, как привидение, бешеной тройки.

В ту же самую ночь в маленькой церковке, что стояла в степи на отшибе от недавно осевшего верстах в тридцати от станицы переселенческого хутора, затеплились под утро немощные огоньки дешевых восковых свечек. И степной путник, застигнутый непогодью в дороге, заметив эти, похожие на волчьи зрачки, далекие огоньки, никак не мог подумать о том, что там, в пустыне гулкой, холодной и сумрачной церкви стояла в этот глухой, непогожий, предрассветный час под венцом беглая чета новобрачных. Нет, никому никогда и в голову бы не пришло таких мыслей. До венчания ли в такую погоду!

XL

Верой и правдой служил в свое время Платон Бушуев богу, царю и отечеству. Золотой георгиевский крест на мундире и бронзовая медаль за кульджинский поход — яркие тому доказательства. Ничего не скажешь — примерный был казак. И в полку, на действительной службе в городе Верном, и в суровых походах и маршах, и в кровопролитных сражениях и в битвах с бусурманами, и в мирные годы жизни среди родного станичного общества, — везде и всюду слыл он за храброго, исполнительного, порядочного, рассудительного казака. Словом, жизнь была прожита не в укор людям, отечеству и богу. Наконец, всем было известно, сколь много сил и ревностного усердия положил он, не щадя живота своя, на примерное воспитание сынов своих, норовя вырастить их не последними казаками. Да не пошли видно впрок родительские наставления старшему из сынов Агапу. Рано выйдя из-под отцовского послушания, горько обидел большак старика своим неожиданным отречением от нареченной невесты, а еще больше и горше — самовольной женитьбой на бесприданнице. Оно хоть со временем Платон Тимофеич смирился и с этим горем, простил, пойдя на уступки слезным мольбам Агафьи Андреевны, и эту сыновью вольность, но обиду за оскробленное отцовское самолюбие в душе на Агапа затаил.

Правда, Марина, войдя в бушуевский дом на правах законной снохи, очень скоро пришлась старикам по душе, и оба они, сжившись и свыкшись с нею, готовы были признать ее за вполне достойную любого казака супругу. Послушная приветливая и расторопная, она умела угодить во всем свекрови своей и свекру, а прямым, решительным, волевым и открытым характером была по нраву обоим им.

Не в пример другим казачкам, Марина оказалась мастерицей на все руки. На все хватало ее. Везде она успевала. И строгий, издревле заведенный порядок в доме блюла. И всю немалую домашность, свалившуюся на ее плечи, вела умело. И птица была у нее напоена и накормлена во-время. И огороды раньше всех выполоты и политы. И со стряпней до зари управлялась. И коров успевала выдаивать чуть свет. А в горячую страдную пору никогда не отставала от мужа, от свекра и деверя на полевых работах. Никто из казачек быстрее и чище ее не жал серпом. Никто из баб не успевал наравне с ней вязать пшеницу в снопы за самосбросом. Никто из них не работал так проворно и ловко граблями во время молотьбы на току, как работала, стоя у барабана, Марина.

Сердце радовалось у стариков, глядучи на любую мари-

нину работу. Решительно все горело у нее в руках. Огонь была баба. Веселая. Озорная. Песенница. Шутница. А ведь редкая женщина шутку понять может — это тоже ценить надо!.. И, вопреки пророческим карканьям старух, вопреки злоязычному шопоту всех завидовавших Марине казачек и вопреки даже собственным ожиданиям Платона Тимофеича, снока пришлась ему ко двору, и старик был ею пока премного доволен.

Однако, несмотря на все это, глухой сердечной тревоги Марина в свекре не угасила, не уняла. Опороченное прошлое снохи, а главное, чужая, темная кровь ее — вот что часто тревожило Платона Тимофеича, лишало его душевного равновесия и покоя. Простив оскорбительную для него, старика, вольность старшему сыну, не проявив над ним в свое время отцовской власти и воли и благословив в конце концов Агапа заветным прадедовским распятьем на смешение родовой казачьей крови с чужой по природе, по облику и повадкам женщиной, Платон Тимофеич ощущал иногда пробуждавшееся в душе угрызение совести, и это угнетало его. Вот почему, трижды говея в году, он каждый раз слезно каялся на исповеди станичному священнику отцу Никонору в этом, вольно принятом на душу грехе. Но и раскаяния не приносили смущенной душе желанного покоя и очищения. Вся беда была в том, что, чувствуя себя виноватым перед богом и перед одностаничниками, старик не мог изменить своего сердечного отношения к снохе. Он дорожил золотыми ее руками, заботливым на редкость для снохи, приветливым и ласковым отношением к нему и ко всем его домочадцам.

А между тем Платон Тимофеич понимал, что самовольная женитьба Агапа на Марине роняла в глазах одностаничников былое достоинство всего древнего казачьего бушуевского рода. И не могло это, по мнению старика, не отразиться и на собственном его упрочившимся положении, которое занимал он в станичном обществе. И хотя в минуты своего недуга раскаивался он в грехах, но раскаяние это было, по сути дела, запоздалым, отречься от снохи он уже был теперь не в силах, и потому никакое ревностное покаяние не могло принести ему того утешения, которое искал он в нем.

Двухлетнее отсутствие Агапа в семье не только не расхолодило былых, взаимно сердечных отношений между снохой и стариками, а, наоборот, во многом упрочило их. Семья Бушуевых, оставшаяся без Агапа, жила душа в душу. Не знал бушуевский дом ни обычных в таких случаях распрей и пререканий, ни скандалов, ни ссор, и добрые люди только завидовали царившему здесь миру, редкому согласью, спокойствию.

Побег Агапа из действующей армии явился для дома Бушуевых большой катастрофой. Но горе, обрушившееся громовым ударом на мирный семейный кров, еще больше сроднило Марину со всеми, убитыми бедой домочадцами, и она острее стала ощущать после всего этого кровную близость свою к впавшей в несчастье семье.

Тяжелее и горше всех переносил эту новую беду Платон Тимофеич. После унизительного допроса на миру самим атаманом 2-го военного отдела сотником Шайтановым, после оскорбительных угроз и укоров со стороны некоторых одностаничников, в числе которых был, между прочим, и Никонор Романыч Румянцев, требовавший публично выдрать родителей дезертировавших фронтовиков розгами, после всех выслушанных на старости лет в станичном правлении надругательств, насмешек и пережитых в эти минуты потрясений, — после всего старика было трудно узнать. Куда девалась былая его, еще совсем молодцеватая выправка и осанка?! За одну неделю темная, прежде скупо отсвечивающая редкой бобровой проседью борода его обрела теперь от изобилия нахлынувших на ее седин тяжелый, свинцовый оттенок. Свернулись и опустились, как подбитые крылья, могучие его плечи, и весь он стал словно меньше ростом, напоминая собой подстреленную птицу.

Дней пять после столь постыдного и безрезультатного допроса в станичном правлении отсиживался Платон Тимофеич, не показываясь даже домашним, на дальней своей пашне. И многое передумал он в невеселом своем уединении за эти дни.

Горько было старику признаваться в том, как подсидел, оскорбил, опорочил его Агап перед лицом всего сибирского линейного казачьего войска. Очень горько. Но, собравшись с мыслями, Платон Тимофеич решил, что терять присутствие духа перед этой новой голгофой ему не след и рук опускать в такой беде не годится.

Это было великим и тяжким испытанием для него, но он чувствовал, что у него еще было достаточно сил, средств и решимости для искупления сыновьего предательства. И рановато собрались господа одностаничники лишать его всех боевых заслуг, предавать старика всеобщему посмешищу и позору. Поторопился почтенный Никонор Романыч Румянцев пригрозить ему, престарелому и не менее почетному казаку, публичной расправой над ним в отместку за сына розгами. Рановато задумали станичные воротилы об отречении Платона Бушуева от казачьего звания и станичного общества... Рановато. Ибо не все еще было потеряно для него. Далеко не все...

Да, он признает, что со старшим сыном его случилось

большое несчастье. Не устоял Агап на боевом посту. Сбился с праведного пути. Бежал с поля брани изменивший присяге воин. Попутала его там какая-то темная, нечистая сила. Что ж — в семье не без урода!..

Но не один ведь сын у Платона Бушуева, и Агап для него — не свет в окошко. Нет. У Платона Бушуева, слава богу, второе дитя начеку. Второй воин ногу в походное стремя поставил. А чем плох, скажите на милость, казак из Агея?! Чем плох он, будущий защитник русской земли, слуга отечества и государя?! Ведь это он, а никто другой, все первые призы на последних конных учениях по джигитовке и рубке лозы забрал. Недаром же он единственный из мобилизованных однослуживцев устную благодарность от есаула Султанова за ловкость на днях получил. Силен Агей. Лить не вылить в родителя. Смел. Находчив. А ростом и выправкой любому кавалергарду не уступит — верба. Хоть сейчас прямым маршем в императорскую гвардию отправляй. Разве не сумеет такой казак постоять за поруганную честь родителя?! Нет, кто-кто, а уж Агей-то не посрамит чести русского оружия. Не уронит он достоинства древней казачьей своей фамилии и в обиду отца не даст...

И, окрыленный этой, прочно укрепившейся вдруг в нем уверенностью в Агее, старик оживился, просветлел.

Вернулся он домой с пашни такой повеселевший, разговорчивый, возбужденный, словно от горя и пережитых им потрясений не осталось и следа.

День был воскресный, и за обедом, когда собралась к столу вся бушуевская семья, Платон Тимофеич, втайне любуясь только что вернувшимся с внеочередного полкового смотра, подтянутым и бравым, в парадной форме, сыном, заинтересованно стал расспрашивать его:

— Ну-с, как там со смотром у вас, служивый?

— Так себе. В амуниции опять обратно ковырялись...—недовольно и холодно ответил Агей.

— В амуниции?! Как так? Да ведь ее, кажись, в присутствии атамана военного отдела только на прошлой неделе проверяли?

— Смотрели. А сегодня ишо раз обратно всю душу с нашего брата готовы были наизнанку вывернуть...

— Што так приспичило?

— Делать, видать, восподам офицерам нечего. Вот и роются. Блох в казачьих подштанниках днем с огнем ишшут.

— Эх ты! Никак, стал быть, новое начальство нагрянуло?

— Были...

— Кто ж опять там такие?

— А чорт их там не разбирал. Все они одинаковые... Две

каких-то интендантских шкуры, говорят, из города Омска Один в чине полковника, другой за подъесаула. Да ишо одна гнида в нашем полку появилась: сынок нашего барина Саранского тут же около ихней свиты вертелся.

— Это сотник-то, што ли? Да он как суды попал?

— Говорят, через наместника края назначения в наш полк добился. Помощником командира эшелона у есаула Султанова с нами идет. Вот тоже не было печали, да черти накачали...— с явным уже раздражением в голосе сказал Агей.

— Ну, вот тебе и на! — удивленно развел руками старик.— Отчего бы это ты супротив его-то вдруг навострился? Офицер он молодой, правда. Зато нашенский...

— Все они нашенские...

— Однако жа...

— Должно быть, нам с этим помощником горького до слез в походе хлебнуть придется.

— Ну, об этом ишо рано тебе, сынок, говорить. Клепать загодя на человека не стоит. Плох ли, хорош ли он будет для казаков — этого ты знать пока не можешь.

— Знаю.

— Да откудова все ж таки? Ведь ты его первый раз в обличье видел? Любопытствую...

— Што ж такова, што в первый раз?! Сразу видно сокола по полету... Да и люди говорят.

— Мало ли што там люди не набуровят. У тебя пока ишо, слава богу, своя голова на плечах. Чужие-то речи, сыночек, тожа ведь слушать надо с умом да умеючи...

— Я и без людей сам всего его насквозь чисто вижу — гнида, — тупо глядя на сковородку с оранжевыми, жарко дымящимися перед ним блинами, сказал Агей с глухим и злобным упрямством.

— Чем жа это он тебе так скоро насолил? — не без тревоги спросил, помолчав, Платон Тимофеич сына.

— Мне — ничем чисто. Ничево он мне не исделал ишо худова. Руки у ево, видать, до меня не дошли покудова. За ребят вот шибко обидно.

— А за ребят пошто?

— А пото, што не успел он перед полком в чине помощника командира эшелона явиться, как сразу же с места в карьер с матери на мать изголяться над казаками зачал, — вот пошто!

— Это каким же манером, скажем?

— А таким манером, што у некоторых полковиков все принятое на прошедшем смотру обмундирование обратно побраковал. Есаула Султанова с нами как на грех седни не погодилось. А этот с двумя интендантскими шкурами и распоя-

сался. Показал некоторым ребятам кузькину мать. И, скажи, кто у ево под браковку-то попал! Самые што ни на есть малоимущие казаки. Прямо один к одному, как на выбор. У Тимки Михина форменные шаровары с лампасами похерил и тут же двое полотняных низиков в клоки собственноручно изодрал: к ошкуру с гачами придрался — не по артикулу, видишь ли, исделаны модисткой были! У Петьши Ширяева обе пары сапог с гамбургскими передами нестроевой обувью признал: голяшки, говорит, будто бы супротив нормы обужены и подбор к тому же завышен на целый перст. У Митрофана Калугига все седло, узду с нагрудником и две гимнастерки в полнейший брак снес. У Андрея Бекетова переметные сумы со всем их гамазом одним взмахом пера в реестровой книге выхерил. Капитону Балабоеву ево же холщевыми портянками по обличью съездил. У парня одна портянка короче другой на три вершка оказалась... Это как, тятя, по-твоему, правильно?

— Што эта? — спросил, притворившись непонимающим, старик.

— Ну, вот эта самая... молодого казака в строю смотровыми портянками по обличью лупить.

— Нас прежде не так ишо воспода офицеры лупили... — уклончиво ответил на вопрос Агея Платон Тимофеич.

— Ага. Ну ладно. Вас, может быть, и похлешше ишо лупили. Не спорую. Я прежних ваших армейских порядков не знаю... Но только бы я на месте Капитона ему, варнаку, при таком случае ни в жисть не спустил. Не на меня он с такими портянками, пусть молит бога, нарвался! — гневно, зачем-то отодвинув от себя резким движением горшок с просяной кашей, глухо проговорил Агей.

— Эк ведь ты как! — придержав поднесенную уже ко рту ложку с кашей и изумленно посмотрев на Агея, сказал Платон Тимофеич.

— Вот так...

— А што бы ты на месте Капитона с восподин сотником исделал? — с трудом проглотив-таки с ложки кашу, осторожно спросил старик.

— Сдачу бы наотмашь ему, сукину сыну, с места не сходя, сдал.

— Во как! А потом бы прямым маршем из строя под военно-полевой суд пошел? Так выходит?

— Там потом куды угодно...

— Бух, стал быть, в речку, и дна нет...

— Ага.

Наступило молчание. Тягостным оно было для старика. Есть ему после таких агеевых речей не хотелось. Но он продолжал машинально черпать из обливного горшка густое, вяз-

кое варево и, с трудом глотая его, едва сдерживал в себе готовую вырваться наружу опять проснувшуюся в нем обиду и требовательно вдруг застучавшийся в виски гнев. Злые слова укора, направленные против непозволительных суждений сына, уже вертелись на языке и готовы были сорваться с него каждую секунду. Вот он совсем хотел было заикнуться насчет поучительного примера с Агапом и наговорить в назидание Агею немало желчных и оскорбительных, накопившихся у него за дни уединения обличительных слов с тем, чтобы понял молодой, неразумный казак, куда, в какие дебри может завести его это непочтительное отношение к начальству... Но, встретившись со спокойным, глухим, темным взглядом Марины, старик вспомнил и ощутил притаившуюся в узких глазах ее тоску и ту немую боль, которую испытывала сноха, терзаясь проступком без вести пропавшего мужа. И одного этого взгляда Марины, брошенного на заметно теряющего последнее самообладание свекра, достаточно было в такую минуту для того, чтобы остудить стариковский пыл и вернуть Платона Тимофеича к благоразумию. Так уважал он сноху и так в то же самое время в душе побаивался иногда ее, что сразу, столкнувшись со взглядом ее, остыл, охлынул, обмяк и понял, что гнев его не ко времени и ни к месту. Поэтому, наскоро опустошив до дна горшок с кашей, поспешно проглотив заметенные со стола ладонью хлебные крошки, старик осенил себя щедрым крестным знамением и уже непринужденно, легко и почти весело сказал Агею:

— А и горяч ты у меня, сынка. Порох. Взрывчатый. Огнеопасный.

— Весь в батюшку. Как две капли воды... — заметила с ласковой укоризной Агафья Андреевна.

— В меня, мать. В меня. Што верно, то верно. Тут согрешил я с тобой, каюсь, каюсь, — забормотал с шутейным прискорбием старик, проворно набивая доморощенным листовым табачком самодельную трубку.

— Кайся не кайся, а в раю тебе все равно не побывать, — полушутя, полусерьезно осудила его Агафья Андреевна.

— Это почему жа ты меня опять так приговорила? — искренне удивился такому заключению Платон Тимофеич.

— По тому самому. С таким карахтером да ндравом только к самому сатане в преисподнюю и дорожка осталась...

— Эк, у тебя зато, смотрю я, карахтерец чисто ангельский!

— Да уж все посмиренней твоева.

— Оно и видно. Прямо сама твоя благочестивая душенька в райские врата из утробы так и просится. Ну, валяй. Сыпь прямым маршем от нас, грешных, в уготованные на небеси

чертоги. Там, небось, для тебя все первопрестольны входы и выходы давно настежь раскрыты. Ждут.

— Это уж как сам восподь меня, грешную, рассудит...

— Хе. Меня дак ты будешь загодя судить, а тебя — восподь?! Ловко придумано. Браво, воспода ребята. Биц. Биц. Ура... Стал быть, мою грешную душу на том свете взвод пеших чертей с барабанным боем будет встречать, а твою — святые апостолы с духовым оркестром?! Благодарствую вас за преуведомление. Только за какие это такие грехи ты меня, старуха, на старости-то лет в гиену упекать хочешь?

— А за те самые, штобы ты вот хоть ради праздника-то попусту в сердца не входил, не грешил зря да абы-то што не буровил... — строго оговорила старика Агафья Андреевна.

— Да ты што у меня, с умом?! Какие могут быть тут сердца! Это ведь только одна ты с дуру в грех меня ввести в любой секунд можешь. Через тебя, того и гляди, на самом деле в гиену попадешь... — резко вырвав изо рта дымящуюся уже трубку, снова вспылил Платон Тимофеич.

— Не шуми. Не шуми. Чую ведь я, куды ты клонишь... — торопливо прибирая со стола опорожненную посуду, сказала с многозначительным вздохом Агафья Андреевна.

— Чуешь... А сколько раз точено тебе было про то, штобы ты к военным делам нашим никакова касательства не имела! Мы — казаки. Воины. Нам по полевому уставу секретничать промеж собой дозволено. У нас могут быть всякие тайны. А што говорит раздел за нумером три, параграф семь дробь четыре этого устава — ты знаешь? Нету. Не при тебе писано. То-то. Не по-бабьему ишо разуму вникать в таковые речи...

— Ладно уж. Не грози мне своими уставами. Не генерал-губернатор!

— А ты к войсковому разговору касательства не имей. Не суйся, куда тебя не просят. Эк, ведь воспожа кака тожа!

— Та кака-никака, а не в укор добрым людям. Рассудку у тебя взаймы просить не стану...

— А я им с бабой и делиться не хочу.

— Было бы чем ишо поделиться-то...

— Ты меня своей чортовой анбицией до потери полной сознательности не доводи! — потемнев в лице, прикрикнул на старуху Платон Тимофеич.

— Не хайлай.

— Не выводи из терпения.

— Все чисто тебя выводят...

— Ну, хватит вам, хватит пыль-то до потолка подымать,— примиряюще улыбнувшись ощетинившимся друг против дру-

га старикам, сказал Агей, поочередно окинув обоих веселым оком.

— Хе. Я не знаю, с чево эта она на меня наплыла! — беспокойно заерзав на скамье, сказал с ребяческой обидой и удивлением Платон Тимофеич, обращаясь к сыну. — Да мало ли мы о чем промеж собой не поспорим! Всяко бывает. Не бабьева ума это дело...

— Я не берусь судить, — нашева ли ума это дело, — подала, наконец, свой голос и молчавшая до сих пор Марина. — Скажу только, што зря вы, папаша, барина под защиту взяли...

— Ась? Ась? Это какова такова барина? — удивленно спросил ее старик, успев уже позабыть и о своем разговоре с Агеем и о Саранском.

— А тово самово, который на севодняшнем смотру казаков, по словам Агея, браковкой обидил. Нехороший он человек. Правду сказал про него Агей. Поверуйте... — сказала Марина.

Сказано же это было снохой с таким убеждением и с такой свойственной ей прямотой и спокойствием, что старик, пока она не поднялась из-за стола и не вышла за двери, не нашелся даже сразу, что ей и возразить. Однако он понял, что Марина знала о сотнике что-то большее и особенное, чем знал о нем он, Платон Тимофеич.

Через минуту сенки, в которых трапезничала бушуевская семья, опустели. Все один за другим разбрелись. И только один Платон Тимофеич долго еще продолжал сидеть за столом, забыв о торчавшей в губах, но давным-давно потухшей трубке.

Долгим показался старику этот пустой и назойливо яркий воскресный день. Бесцельно шляясь по пустому, до скуки чистому дому, по просторной, опрятной и тоже до тоски выметенной ограде, не находил себе Платон Тимофеич ни дела, ни места. Тоска, рассеявшаяся было в душе его, вновь навалилась на него и казалась теперь еще тревожнее и горше. Знакомый ему уже духовный недуг вновь властно овладел сердцем, разумом, телом, точно все уже и уже затягивались на нем железные обручи усталости. И, наконец, доведенный до полного изнеможения, Платон Тимофеич бессильно опустился на обросшее конотопом бревно, что лежало около сарая внутри ограды, и, горестно поникнув, просидел здесь до самого вечера.

В сумерках вернулся домой Агей. Не заметив притулившегося близ забора родителя, он вывел из стойла и быстро оседлал свою нестроевую, но любимую в бушуевской семье лошадь, на которой проходил пока, за неимением строевика,

все полковые конные учения. Подтянув подпруги и еще раз наспех осмотрев со всех сторон, достаточно ли правильно и хорошо было пригнано к лошадиной спине новое походное седло, Агей взялся левой рукой за луку, занес в стремя ногу и приготовился уже было садиться.

Но в это время Платон Тимофеич, словно очнувшись от долгого забытья, вспомнил, что самого-то главного он так и не сказал сегодня сыну, не порадовал его. А вспомнив об этом, он встрепенулся и почти на-рысях подбежал сзади к Агею. Затем торопливо, точно опасаясь, что тот сядет сейчас в седло и ускачет прочь, сказал ему:

— Совсем из ума вылетело. Слышь ты... Строевика я тебе, сынок, у кыргызов в табуне вчерась облюбовал — ахнешь. Огонь чисто — не лошадь. Я такого коня только на туманных картинках да под генералом Скобелевым под Коканлом видел. У меня аж сердце зашлось, на такую красоту глядучи...

— А цена ей кака будет? — спросил Агей, без нужды перетягивая подпругу.

— Ох, дороговато зверь заломил — четыреста пятьдесят целковых. Конешно, поторговаться, полсотенную авось и скосит...

— Где ж эта мы такова капиталу-то наберем? — холодно, с едва заметной усмешкой пробормотал Агей, продолжая возиться с подпругой.

— Корову продадим, да двух турпачков с нетелью я уж обрек на то же... Ну, а там ишо што-нибудь продам. Только, я думаю, нам за таким конем попускаться не след, — еще горячей и взволнованней проговорил за спиной сына Платон Тимофеич.

— Што ж, посмотреть надо... — все так же с прохладцей сказал Агей и, чуть коснувшись носком смотрового сапога дрогнувшего стремени, мигом взмахнул в седло и сразу же вспугнул с места коня, коснувшись поджарых его боков коваными своими подборами.

— А ты это далече? — спросил ему вслед старик.

— По делам службы. К сотенному командиру што-то опять вызывают... — ответил на ходу Агей и, слегка пригнувшись в седле, стремительно выскочил вместе с конем в распахнутые ворота.

Тупо глядя вслед сыну, Платон Тимофеич молча посасывал пустую трубку. Глаза его застил не то сгустившийся сразу же сумрак, не то какой-то тяжелый туман.

Старик хорошо знал, что последние слова Агея о вызове его к сотенному командиру были простой отговоркой. На самом же деле, несмотря на решительный запрет отца, что сде-

лан был сыну назад тому две недели, Агей снова поскакал на переселенческий хутор к приворожившей его на станичной ярмарке девушке.

Долго ли, коротко ли стоял Платон Тимофеич посреди ограды в полном отупении — он этого не знал, не помнил. Только было уже, пожалуй, очень поздно, когда бесшумно, почему-то даже на цыпочках, войдя в прохладный от ночного мрака свой дом, присел он прямо под порогом на голбец для того, чтобы разуться и пройти, не запачкав половиков, в горницу.

На голбце спала Агафья Андреевна.

Старик узнал ее по отрывчатому, глуховатому дыханию и отчего-то несказанно обрадовался ее присутствию. Затем он ощупью нашел в темноте горячую, старчески жесткую, маленькую ладонь давней и в сущности самой верной своей подруги, осторожно коснулся этой ладони студеными, черствыми пальцами и вздохнул при этом так глубоко, облегченно, душевно, как не вздыхал давно.

Слава богу, он был еще пока не один!

XLI

В конце апреля 1916-го года посланцы линейных казачьих станиц степной Сибири прибыли с реляцией, адресованной императору, в Петроград.

Ехали они до столицы долго. И за всю эту мученическую дорогу Маркел Шебанов успел натерпеться столько лихой беды, столько тревог и лишений, что готов был, не достигнув высокой цели, плюнуть на все полномочия и вернуться ни с чем с полпути во-свояси. Довел же, до этого Маркела никто иной, как спутник его по этому беспримерному странствию, письмоводитель Лука Стабровский.

Началось с того, что, заручившись на ближайшей к станице станции железнодорожными билетами до самого Петрограда, путники опоздали на поезд по вине Луки, которому наспех перелицовывал станционный портной черную суконную тройку, приноравливая ее по требованию заказчика к последней столичной моде. Собственно, тройка вполне была готова задолго до отхода товаро-пассажирского поезда, с коим должны были отбыть станичные посланцы в Петроград. Но Лука, примеряя костюм, так долго вертелся перед зеркалом, что, несмотря на нетерпеливые понукания Маркела, все же опоздал к отправлению поезда на целых полчаса. Следующего поезда в нужном им направлении спутникам пришлось дожидаться трое суток. С трудом выправив старые билеты и потеряв на каждом из них по три рубля, Маркел изнывал от досады, тоски

и безделья. и волей-неволей стал отсыпаться, приютившись с дозволения знакомого весовщика в сумрачном здании товарной конторы.

А Лука, на минуту отлучившись от Маркела по собственной нужде, вдруг точно сквозь землю провалился и бесследно сгинув с маркеловых глаз, пропал на все трое суток.

Только позднее выяснилось, что, вогнав Маркела в новую заботу, отбив у него былой покой, сон и аппетит, Лука вновь уединился в портняжной мастерской Рафаила Файнберга из Риги, — так титуловал портного местный живописец на вывеске, — и снова занялся своим туалетом. Крайне обеспокоенный за только что перелицованную свою тройку, в коей предстояло предстать при вручении в державные руки реляции перед самим императором, письмоводитель, тщательно осмотревшись, нашел, что перелицованный костюм его не совсем соответствовал тем изысканным светским модам, в которых принято было, судя по иллюстрациям «Нивы», появляться просителям при царском дворе.

Портной Файнберг из Риги, поломавшись, выжал довольно увесистую доплату, заново перекроил тройку соответственно строгим требованиям Луки и, на сей раз премного угодив ему своим искусством, раздобыл к тому же для него перекупленную у приказчика галантерейного магазина фисташковую манишку и пару галстуков. Галстуки эти, правда, были слегка потерты, однако былой прелести еще не утратили и пришлись письмоводителю вполне по вкусу, к лицу. Один из галстуков бордового цвета имел форму так называемой «селедки», другой расцветкой в тон первого — вишневой «бабочки».

После многократных примерок, приглядок и прилаживаний костюм, наконец, был готов. И Лука, обильно наелозив репейным маслом жесткие свои, непокорно торчавшие на макушке волосы, не в меру нафикстуарив круто завинченные кверху рогульками гусарские усы, облачился в дважды перешитую парадную тройку. Затем нацепив при помощи портного на фисташковую манишку под стоячий, с загибами на углах, крахмальный воротничок оба галстука сразу в накладку, «бабочку» на «селедку», письмоводитель, ревниво присмотревшись к зеркальному своему отражению, нашел себя достаточно живописным.

В самом деле, и фисташковая манишка, и ловко пришпиленные под стоячим воротничком галстуки, накосо пронзенные тяжелой бронзовой брошью с бирюзовым глазком на конце, — все это на фоне черного, несколько схожего по форме с фраком, письмоводительского костюма придавало лицу Луки довольно-таки бойкое, вполне независимое, слегка

надменное и немного, пожалуй, даже благородное выражение...

Словом, наружностью своей Лука остался доволен. И на исходе третьего дня он, опасаясь, как бы не опоздать опять к злополучному поезду, и, не успев даже снять с себя одетой для примерки парадной формы, стремительно бросился со всех ног на станцию.

На платформе Лука появился уже после второго звонка. У Маркела же сердце оборвалось при этом втором гулком ударе, и он, отупев от отчаяния, озлобления и обиды, в нерешительности стоял на перроне, тщетно отыскивая Луку в толпе глазами. А пока Лука в свою очередь носился как угорелый в поисках спутника по перрону, прозвучал третий удар станционного колокола. И только при пронзительной трели обер-кондукторского свистка и при оглушительном реве паровоза спутники, наконец, завидев друг друга, молча, как по команде, бросились к тронувшемуся поезду.

Садиться пришлось в первый попавший вагон уже на ходу. Страшная это была минута, и оба незадачливых пассажира запомнили ее на всю жизнь. Маркел при акробатическом прыжке на подножку едва не вывихнул левую руку, обронил вместе с походной алюминиевой кружкой войсковой медный котелок и полуведерный, незаменимый в дороге эмалированный чайник и просто чудом удержал облицованный цинковой жестью полковой свой сундучок, на дне которого хранилась бережно завернутая в освященное при напутственном молебне холщевое полотенце реляция.

XLII

Нарядившись в перелицованную тройку и попав в ней прямо от портного в битком набитый людьми вагон, Лука раздумал разоблачаться в дороге, решив доехать в таком виде хотя бы до станции Сызрань-Пассажирская. Дело в том, что в Сызрани он рассчитывал щегольнуть модным костюмом, фисташковой манишкой, бронзовой брошью и двумя галстуками перед одной, близкой сердцу его, особой, хорошо знакомой ему еще по службе в городе Верном, бывшей горничной полкового врача Лизанькой Кувыкиной. Много с тех пор воды утекло, когда, состоя в писарях при штабе полка, Лука угощал Лизаньку при тайных ночных свиданиях пригоршнями свежего урюка, дарил ей на память духи «Нарцис» и певал вполголоса под аккомпанемент штабной гитары романс про черную шаль... Старая это была песня. Но и по сию пору он вел с бывшей горничной некоторую легкую переписку по образцам имевшегося в его распоряжении любовного письмовника, а нередко посылал ей письма и собственного сочинения, преимущественно в стихах, коими тайно баловался он с малых

лет. Судя по последнему ответному письму, пущенному Лизанькой от 26 февраля сего года, она, пребывая в добром здравии и равном благополучии, состояла теперь на какой-то легкой ваканции при станционном буфете города Сызрани и, хотя была замужем за порядочным человеком, не забывала о тайных верненских свиданиях, о свежем урюке, духах «Нарцис», штабной гитаре и о нем, Луке. Так что на встречу с ней письмоводитель вполне надеялся и потому всячески норовил сохранить до приезда на Сызрань-Пассажирскую столь обольстительный свой внешний вид.

Лука был уверен, что все от костюма его будут без ума. Однако, к великому его изумлению, Маркел не только не высказал сколько-нибудь заметного одобрения по поводу ловко сидевшей на письмоводительской фигуре шикарной тройки, а, наоборот, не ахти даже как дружелюбно косился на него. Лука и не подозревал, что всем своим необычайно модным, непривычным для маркеловского ока нарядом, а особенно изысканной вежливостью и перенятой, по старой памяти у штабных офицеров благородными манерами доводил он своего спутника до прямого озлобления, до бешенства.

В самом деле, искося поглядывая с верхней полки на вертевшегося у окна письмоводителя, Маркел просто диву давался, изумляясь его франтовству и такой разительной перемене во всех его повадках, в походке, в говоре, в облике, в стати, — откуда только все в нем и взялось! Так, пробираясь на остановках к выходу, Лука, проворно работая локтями среди сгрудившейся в проходе толпы мужиков и баб, вежливо улыбаясь, тростил:

— Извиняйте, конешно. Простите. То есть, пардон...

Но больше всего Лука обозлил Маркела тем, что как только предстал перед ним в перелицованной тройке, при манишке, броши и двух галстуках, то даже и тогда, в момент незабываемой для обоих их первой посадки на поезд, при дикой спешке и страшной панике, какая обуяла в такую минуту в особенности перегруженного разными вещами Маркела, — даже и тогда начал вдруг Лука разговаривать с ним почему-то на «вы».

— Эй вы, Маркел Игнатьич! Имайтесь, имайтесь скорей вот таким кандибобером за данную загогулину! — кричал он испуганно семенившему за поездом Маркелу.

Все это возмущало Маркела.

И вот однажды ночью, когда навертевшийся за день у окошка Лука забрался на верхнюю полку и улегся бок о бок со спутником на покой, Маркел, не выдержав, раздраженно сказал ему:

— Што-то ты, слышь, Лука, погляжу я на тебя, уж шибко

нотный какой-то стал? Просто не подступить теперь к тебе чисто... Восподина, што ли, из себя какова опять коробишь?

— Хе. А вам, Маркел Игнатьич, с меня удивительно? — спросил, помолчав, Лука с усмешкой.

— Ищо бы не удивляться! Очень даже...

— Напрасно, понимаете ли... Вы, возможная вещь, несколько забываетесь, куда мы с вами едем?

— Нету. Я пока ишо крепко об этом помню. А за тебя вот, слышь, говоря по совести, што-то не шибко ручаюсь...

— Ах, какой пассаж! — насмешливо воскликнул Лука.

— Ну, ты мне дурочку-то тут не при. Разговаривай со мной по-русски... — сердито предупредил его Маркел.

— О, нет, уважаемый Маркел Игнатьич! — с пафосом произнес Лука. — Иногда, знаете ли, обстоятельства момента вынуждают прибегать в некотором смысле и к французскому диалекту. А особенно, конечно, в высшем обществе...

— Ну, мы ишо с тобой пока не высшее общество. Стало быть, и языком-то трепать свысока неча...

— Однако, смею заметить, вам не мешало бы, Маркел Игнатьич, перед предстоящей высокой аудиенцией сие запомнить, что вообще в придворных кругах принято большей степенью выражаться на французском наречии, — осуждающе строго заметил ему Лука.

— Мало ли што там не принято! Я тебе не министр иностранных отношений, — на всех чисто языках абы каки-никаки речи говорить. Я человек степной, простой, смертный, открытый. Никаких твоих иностранных наречий, кроме кыргызского, не признаю. А на родном своем русском языке я тебе как угодно выражусь... — с мрачной решимостью заявил своему собеседнику Маркел.

— Охотно верую вам, Маркел Игнатьич. Не спорю. Дискуссий на сей счет с вами не произвожу. Но учтите особенность предвходящего момента. Ведь нам предстоит с самим государем императором лично говорить!

— Ну и што жа из этого? Государь должен любое наречье понять...

— Поймет, разумеется. Но тем не менее, выражаясь фигурально, мы должны будем при высочайшей аудиенции соблюдать соответственный моменту артикул и принятый этикет как по внешности нашей формы, так и по обращению, штобы наша словесность не покоробила бы державный слух... — поучающе сказал Лука.

— Забуровил! — презрительно оговорил его Маркел.— Пардон! Удиенция! Артикулы! Атикеты! Ты меня этими иноземными словами твоими не соборуй, в грех, Лука, лучше не вводи. Хоть я и сознаю, што грешно мне в такую минуту пред

исполнением священного долга выходить из себя и гневаться, да ничего видно не исделаешь — вынуждашь, приходится.

— Не понимаю вас... — передернув плечами, сказал с ехидцей Лука.

— Не понимаешь? — удивленно спросил Маркел и сурово отрезал: — Это худо дело, Лука. Ты вот меня нотному обхождению с государем императором учишь — это пользительно для моей малой грамоты, может, и впрок... Только пошто жа ты сам-то вот ведешь себя в такой час недостойно? Крутишься, вертишься на глазах у добрых людей, как кикимора...

— А именно? — с настороженной обидчивостью спросил Лука.

— А именно? Смотрю я на тебя и злобствую. Будто на блины ты к теще в город Петроград али на какой-нибудь машкарад едешь, а не челобитную от народа к императорскому двору везешь. Вот тебе и именно!.. Да ты не пыхти, не фыркай, не входи в сердца. Извиняй меня. Но я люблю напрямки резать. Родителями покойными, царство им небесное, на том замешан. Правду в глаза всегда кому хошь скажу.

— Не думаю я серчать... — тихо откликнулся Лука.

— Ну то-то... Я к чему это все клоню, — ровнее и тише заговорил после передышки Маркел. — А к тому и клоню, штобы вредну анбицию из тебя выбить. Вот што. Нам с тобой воспода станишники святыню доверили. Все народное горе с собой в полковом сундучке к царевым стопам везем. Как при этом надо себя соблюдать? Знаешь? Свято — вот как! Ведь это все равно, што нас на боевой пост для охраны полковова знамя поставили: замри на месте с клинком наголо, отреши от себя земные мысли! Верно я говорю?

— Правильно...— глухо отозвался Лука на вопрос Маркела.

— Ну вот видал, кака така ятна политика отсюда получается, — проговорил Маркел сурово и торжествующе. — А согласно этой политики мы на сей раз по параграфу войскового устава должны себя соблюдать. Денно и нощно обязаны, стал быть, начеку, на карауле стоять. Так я эту политику понимаю. Ты об этом хоть раз подумал?

— Разумеется, размышлял-с... Я по данному вопросу все же некоторую умственность при себе, Маркел Игнатьевич, знаете ли, имею... — заносчиво ответил Лука.

— Нету, ничего ты не имеешь, должно быть, Лука, — решительно отрезал Маркел. — Ты уж извиняй меня, но што-то не похоже, штобы така дума в голову тебе ударила. Я душевно тебя предупреждаю. Путь у нас с тобой ишо вся переди — долгая, затруднительная. А ты вот на первых же порах, восподи благослови, меня уже подковать на ходу успел.

— То есть? Что значит — подковать? Не совсем понимаю ваших туманных выражений...

— А то и значит, што я из-за твоей, можно сказать, амбиции и горя уже хлебнул, и в расходе оказался. Так, например, благодарственно твоему костюму мы чуть вторично на поезд не опоздали — раз. А я в один секунд всей своей полковой походной стремлюдии лишился — два. Ить подумать надо, ни кружки теперь при мне, ни котелка, ни чайника! Вот и покукуй теперь в дороге-то без такова сурьезнова сервизу до самова города Петрограда. А там одна алюминиевая кружка для меня чего стоит, цены ей нет! Она мне всю мою жизню на чужбине сопутствовала: и в полку, и в городе Верном верой и правдой служила, в походах и в битвах завсегда неотлучно при мне была... А про чайник и вспоминать тошно.

— Хе. Нашли о чем скорбить в данную минуту, — о сервизе! Надо, Маркел Игнатьевич, быть выше тому подобных мелочей земной жизни, как справедливо выражался по этому поводу один знаменитый греческий философ, — ввернул Лука.

— Вона! — злорадно сказал Маркел. — Приехали... Я не знаю, как бы стал выражаться твой греческий философ, ежли запихать бы ево, сукина сына, вот на эту самую полку да девять ден до самого города Петербурга без чаю проманежить.

— Ну, и обратно глупости вы говорите. Разве человека такой умственности данным образом запужаешь? Он вон в бочке жил, да никогда не роптал и не сетовал на тому подобные неудобства.

— Нет, Лука. Не желаю слушать. Брось смешить-то меня, на ночь глядя. Посади тебя в бочку, — ты не то ишо забуровишь. Я рад-радешенек, што хоть сундучишко-то при мне в живности остался. Но што бы, скажем, получилось из такой картины, ежли бы я эту оказию совсем с прошением на высочайшее имя потерял? Ить это бы полный позор тогда для нас чисто. Стыд. Срамота одна...

— Да, знаете ли, это было бы в некотором роде не совсем, конечно, пикантно... — пробормотал Лука.

— Нету, Лука, никудышна твоя политика получается, — все в том же суровом, осуждающем тоне продолжал, как бы не слыша его, Маркел. — Я так мыслю, што ко встрече с самодержавцем всея России надобно бы нам подготовить себя духовно: сердце и разум молитвой укрепить, от нечестивых помыслов отрешиться и так оно и далее... Я гласный обвет при напутственном молебствии перед нашим выездом из станицы царю небесному дал. Если, скажем, земной государь император внемлет нашим мольбам и ублаготворит через нас

с тобой линейный народ наш по всеподданнейшему прошению, то я нонешней осенью в город Верхотурье к Симеону Праведному для молебствия схожу. Шестьсот с лишним верст туды и обратно в пещем порядке исделаю. Плюс неугасимую лампаду перед образом угодника в доме у себя до конца дён моих теплить буду...

— Ну, я таковых сурьезных обязательств перед творцом согласно моей натуры взять на себя не могу... — признался, вздохнув, Лука. — А я и не осуждаю тебя за это. Не осуждаю пото, што ты ить ишо на тако дело слабый духом. Тобой большей частью дурна плоть и нечиста сила руководствуют, — строго сказал Маркел. — Но не в этом опять же обратно ить дело. Я к чему веду? А к тому, што при твоей умственности да при твоем живописном почерке, как справедливо говорят некоторые воспода станишники, тебе аж в личной канцелярии любого их сиятельства завсегда слободна ваканция найдется. Вникни в речи мои. Сыми с себя ради бога этот рататуй с бантиком. Облекись, по примеру меня, в форму сибирского нашего казачьего войска, ежли с пользой для общества к царским стопам припасть хочешь. Вот тебе последнее напутственное слово мое. Слышал? Вникай...

Лука не откликнулся. Но по тому, как притих, присмирел он вдруг, с головой укрывшись бобриковым своим дипломатом, Маркел понял, что цели своим осуждением непристойного поведения спутника он достигнул, а поэтому, прекратив разговор, решил повыждать теперь, что из всего этого будет дальше.

XLIII

На другой день Лука, поднявшись чуть свет, мигом переоделся в полковую форму, а тройку с манишкой, брошью и галстуками, жестоко осмеянными Маркелом, упрятал в походный вещевой мешок. Затем раздобыл у кондукторской бригады огромный, рассчитанный на артельное дело чайник, пулей слетал на первой же остановке за кипятком. Потом, ловко подъехав к сидевшему в тамбуре мрачному, неразговорчивому монаху, ухитрился выудить у него чуть ли не целую осьмушку фамильного чаю и, приготовив завтрак, разбудил Маркела.

— Чай?! — удивленно вытаращив на Луку заспанные глаза, вскрикнул Маркел фальцетом.

— Так точно. Фамильный. С острова Цейлон. Ароматический, — бойко отрапортовал Лука.

— Ура! Вот за это я тебя, восподин одностанишник, чувствительно благодарствую, — весело сказал Маркел, горячо

обрадовавшись не столько чаю, до которого, как все степные сибиряки, был он большой охотник, сколько былому, привычному для глаза внешнему виду письмоводителя и необычайной его услужливости.

Еще бы не радоваться Маркелу! Ведь перед ним снова был тот самый Лука, которого привык он видеть за долгие годы совместной полковой службы, за век, прожитый бок о бок с ним. Вот он снова душевно и просто стал говорить Маркелу «ты», объясняясь с ним простым, доступным его понятию языком, и от трескучей, умопомрачительной тарабарщины, которой лихо щеголял письмоводитель только вчера, сегодня в его речи не осталось и следа. Как рукой сняло с Луки все его вчерашнее напускное щегольство и барство и все то непристойное кривляние, которым доводил он Маркела до бешенства.

«Ну, слава богу, дело теперь, кажись, пошло на лад. Видно постановил я его разумным словом на путь праведну!» — мысленно решил Маркел, премного довольный тем, что откровенный разговор с Лукой не пропал даром. Маркелу было лестно думать, что в разговоре этом вышел он победителем и, что такой в конце концов дошлый, начитанный, разбитной и бывалый человек, каким выглядел в глазах его письмоводитель, выходит, и побаивался и в то же самое время уважал его, полуграмотного, но не обиженного умом и жизненным опытом рядового казака Шебанова Маркела...

Однако, несмотря на все это, Маркел на всякий случай решил поглядывать за дальнейшим поведением письмоводителя в оба. На то у него были довольно-таки серьезные основания: в канун выезда из станицы в Питер подвыпивший Лука выболтал ему о тайной переписке с Лизанькой Кувыкиной. И Маркел, догадываясь теперь о сокровенных намерениях спутника встретиться с давней своей возлюбленной на пути следования в Петроград, всерьез стал побаиваться, как бы это предстоящее свидание не по годам пылкого Луки с полковой его кралей не наделало бы новой беды. Вот почему больше всего страшился теперь Маркел одного: как бы не проспать ему город Сызрань — место предполагаемой встречи Луки с его возлюбленной, как он говорил, дамой сердца.

А между тем все пока шло у них теперь хорошо и гладко. Ехали они вполне спокойно, уютно, мирно. Баловались чайком. Резались с утра до вечера в подкидного, в три листика, в шестьдесят шесть. В сотый раз обсуждали обстоятельства предстоящей встречи и детали устного разговора с монархом. А по вечерам, в сумерках, завалившись на верхний свой ярус, пели вполголоса старинные войсковые казачьи песни, и это выходило у них так душевно, стройно и трога-

тельно, что их расхвалил даже сам грозный с виду обер-кондуктор. А пассажиры, слушавшие степное казачье пение, охотно делились с полюбившимися им песенниками, кто чем мог: и фамильным чайком, и рафинадом, и астраханской селедкой, и леденцами, и моршанской махорочкой, и саксонским листовым табачком.

Словом, помирившись с письмоводителем и поближе сойдясь с пассажирами, Маркел совсем уже успокоился и беспечным, почти увеселительным стал ему казаться теперь этот столь не близкий, доселе тревоживший его путь. «Теперь нам только бы Сызрань благополучно проехать, а там, бог милует, и до Питера доберемся в один секунд», — думал Маркел, украдкой поглядывая за Лукой и не менее десяти раз за день справляясь у кондукторов, точно ли по расписанию следует поезд и действительно ли во-время прибудет он в эту самую Сызрань.

Но вот, прободрствовав всю последнюю роковую ночь под Сызранью, — поезд прибывал туда на рассвете, — Маркел, как на грех, не выдержал, прикурнул головой к заветному своему сундучку и замертво заснул. Случилось же это с ним в тот самый момент, когда поезд на минуту задержался у закрытого сызранского семафора. И надо же было случиться такой беде, чтобы он, этакий, прости господи, старый дурак, беспробудно продрыхал не только получасовую остановку в Сызрань-Пассажирская, но и продул бы еще бог знает сколько, если бы не разбудил его уже на ходу поезда обер-кондуктор. Дернув Маркела за свесившуюся с верхней полки ногу, он крикнул:

— Эй ты, ваше благородье, господин казак! Спишь себе и в ус не дуешь. А подголосок-то твой за поездом без памяти чешет.

У Маркела похолодело во рту.

— Отстал варнак?! Зарезал-таки. Усоборовал! — крикнул он не своим голосом, с грохотом сорвавшись на пол с верхней полки. — Нету... Остался... зарезал он меня:

— А проездные билеты у кого из вас на руках имеются? — с профессиональной строгостью спросил Маркела обер-кондуктор.

— Билеты, восподин старший, при мне обое...

— Тем хуже для отставшего.

— Што жа мне теперь, ваша высокородье, прикажете с им, варнаком, исделать? — спросил Маркел.

— Это тебе, господин казак, виднее...

— Да у него, подлеца, главное дело, никакого капиталу на руках нету. Ему без меня до Питера ни в жизнь не добраться.

— Ах, он к тому же и без денег?! Совсем красиво. Тогда

придется тебе, батенька, сняться с поезда на первой же остановке. Вертайся с первым же встречным поездом обратно в Сызрань-Пассажирскую. А там, небось, друг друга разыщите... — посоветовал Маркелу обер-кондуктор.

Раздумывать было некогда. И Маркел, моментально сграбастав свои и письмоводительские монатки, не обращая уже никакого внимания на сочувственные возгласы и на многочисленные, как всегда в таких случаях, очень разноречивые советы окруживших его пассажиров, вихрем вылетел в тамбур.

Вскоре поезд, резко замедлив ход, со свистом проскрежетал тормозами и остановился. Тогда, не теряя ни минуты, Маркел изловчился и спрыгнул со всем своим багажом с площадки на землю. Но не успел он еще как следует оглядеться и опомниться, как поезд, звонко лязгнув буферными тарелками, снова рванулся с места и, прогромыхав мимо Маркела, бойко и ладно разговаривая колесами, пошел от него туда, в заманчиво синеющую в лесном просвете чужую, зовущую даль.

Но каково же было удивление Маркела, когда он, подозрительно оглянувшись вокруг себя, не заметил ничего такого, чтобы хоть сколько-нибудь было похоже на обжитый разъезд, а тем более — на станцию. Пустынно и необычайно по-полевому тихо было окрест. И только вправо, саженях в пятидесяти от себя заметил Маркел одиноко притулившуюся близ железнодорожного полотна небольшую, казенного типа будку. Приведя в относительный порядок свой багаж, с тревожным чувством торопливо направился Маркел к этой будке.

Неподалеку от будки рылся в снегу, окапывая занесенные штабеля шпал маленький, не по годам расторопный, проворный на вид старик. Маркел подошел к этому старику и, приподняв над головой тяжелую свою мохнатую казачью папаху, приветствовал его.

— Помогай бог, ваша степенство! — сказал он, кланяясь старику.

— Милости просим, добрый человек. Милости просим, — кивая в ответ Маркелу, отзывчиво откликнулся старик.

— А это кака така будет станция? — спросил, помолчав, Маркел.

— Игде это — станция? Здесь-то? — ответил ему недоуменным вопросом старик.

— Ну да. Здесь. Вот именно...

— А никакой такой станции, добрый человек, тут отроду не бывало и нету. Это в прежние времена здесь разъезд Кукуй значился, да как война открылась, так его тем временем и отменили. А я с тех пор в путевых обходчиках тут остался и по сию пору им при этой дистанции состою. Так мы с

внучкой в будке и проживаем... — доложил словоохотливый старик.

— Вона, каки-таки дела-то? — промычал Маркел, чувствуя, как опять он, до того быть, влип в историю, погорячившись, и выскочив сдуру из поезда совсем не там, где было надо.

— Да ты куда, добрый человек, путь-то свою держишь? — заинтересовался старик.

— Я — далеко. В город Петроград, ваша степенство. Только мне ба вот прежде на Сызрань-Пассажирскую сей секунд завернуть надо. Там у меня племяш при проволошном телеграфе в хорошей должности состоит. Сорок семь целковых на месяц жалования получат. При казенной квартире. Карасин и дрова готовые... — начал было врать зачем-то Маркел, но запнулся и, помолчав, спросил внимательно слушающего его деда: — А поезд-то обратно на город Сызрань скоро будет?

— Обратный товаро-пассажирский пройдет через нас завтра об эту пору. Только тебе он, добрый человек, непричем, — ответил старик со вздохом.

— Вот тебе на. Это пошто жа так-то? — тревожно спросил Маркел.

— А по то, что он здесь остановки не имеет, на сквозную идет.

— Дозволь, как жа это так не останавливаются?! Ить этого жа не должно ба быть... Ить сейчас только поезд стоянку себе здесь исделал.

— Ну, этого я не знай, почему так вышло. Не иначе, как машинисту до ветру вдруг приспичило, вот и запнулся он тут около нас на один секунд.. — полушутя, полусерьезно сказал старик. — А так вообще, ежли согласно всех правил движения, то ни одному поезду стоять здесь теперь не положено. А я же их правила-то эти все скрозь на-зубок знаю. Слава богу, не первый год на дороге служу...

После столь решительного стариковского заявления Маркелу крыть было нечем. «Ну, стал быть, тут мне и каюк, хана выходит. Ни на поезд обратно не сядешь, ни депеши, случай чего, отсюдова восподам станишникам по проволошному телеграфу не отобьешь. Достукался я с тобой, варнак. Заехал...» — подумал он о Луке. И, чувствуя, как от бешеной злобы к письмоводителю снова заныло в животе неприятное, тошнотное замирание, а от сознания собственной беспомощности опять стало холодеть во рту; чуя, как на лбу и на переносице начал выступать разом прошибивший Маркела ледяной пот, он бессильно опустился на валявшуюся в ногах шпалу. И ничего кроме не нашелся сделать в эту минуту Маркел, как только извлечь из кармана туго набитый махор-

кой кисет — единственного своего великого утешителя во всяком горе — и, развернув его на колене, глухо предложил старику:

— Ну, што ж, присаживайся, ваша степенство, да давай закурим...

XLIV

Через два дня Маркел вернулся в Сызрань. Дорого далось ему это возвращение. Свыше двадцати верст прошагал он по шпалам. Обремененный багажом, выбившийся из сил, измученный, похудевший, усталый, кое-как добрался он с грехом пополам до Сызранского вокзала. Но и здесь ожидало его немало новых и не менее тяжких испытаний.

Ни на вокзале, ни в городе Луки не оказалось. Ухлопав на тщетные поиски письмоводителя около пяти суток, Маркел, наконец, разузнал, что работавшая ранее судомойкой при станционном буфете Лизанька Кувыкина, бросив с месяц тому назад своего законного мужа, спуталась с кассиром товарной конторы и скрылась из Сызрани с ним в неизвестном направлении. Что же касается Луки, то это никто иной, как он, судя по рассказам наблюдательных людей, продал с плеча какому-то татарину свой пиджак и, выправив в кассе новый билет до Ряжска, отбыл на другой день с почтовым поездом на розыски своего спутника...

Делать было нечего — пришлось с первым же попутным поездом броситься по горячим следам Луки. Однако на этот раз Маркелу повезло. В Ряжске письмоводителя он-таки настиг. Как потом выяснилось, Лука был вынужден высадиться здесь лишь потому, что денег, вырученных от продажи пиджака, хватило ему для оплаты проездного билета только до этой станции. А тут, по словам Луки, рассчитывал он раздобыть на худой конец еще несколько целковых, кои позволили бы ему, в том случае, если бы не встретился он с Маркелом, самостоятельно добраться до Петрограда.

Но благо еще наткнулся Маркел на Луку в тот самый момент, когда в полутемном углу сумрачного зала III класса станции Ряжск грязный, измятый и порядком даже постаревший за дни одиноких странствий письмоводитель жарко торговался с неким монахоподобным старцем, стараясь всучить ему полуснятый уже с плеча старомодный свой бобриковый дипломат...

Встретились Маркел с Лукой молча. Вот когда, можно сказать, оба они, взглянув друг на друга, тотчас же утратили всякий дар речи. И не только в первое мгновение этого свидания молчали они, как убитые. Нет. Даже и позднее, когда,

снова заручившись билетами, сели они в вагон и опять сразу же завалились на полюбившуюся им, напоминавшую о домашних полатях верхнюю полку, даже и потом, вволю выспавшись и успокоившись от пережитых потрясений, ухитрились отмолчаться наши путешественники, ни слова не сказав друг другу за всю дорогу от Ряжска до Петрограда.

В Питер прибыли они в сумерках. Но прежде чем отправиться на розыски расквартированного в окрестностях столицы Особого сводно-казачьего лейб-гвардии его величества полка, — в нем служили некоторые земляки, одностаничники Луки и Маркела, — Маркел завел Луку под темные византийские своды маленькой Иверской часовни, что была неподалеку от Аничкова моста. Поставив по свечке пред строгим ликом какого-то угодника — иконы древнего письма в полумраке часовни трудно было разузнать — и наспех помолившись за успехи в делах предстоящих, путники вышли, пересеча мост, на Невский.

Широкий, окутанный призрачной арктической полумглой проспект был ярко озарен огромными, точно плавающими в воздухе электрическими шарами. Далеко-далеко, в мутно-зеленоватую бездну холодного простора стремительно убегали золотистые, тревожно мерцавшие по обеим сторонам Невского цепи огней. Как обезумевшие мчались мимо похожие на снежные вихри, беснующиеся тройки. Пролетали в мгновение ока и будто сквозь землю проваливались рослые, наглые, накрытые голубыми сетками рысаки. Легкие воздушные санки, громоздкие дорогие экипажи и беспрестанно сновавшие взад и вперед, как челноки, глазастые автомобили, — все это, овеянное свинцовым туманом и легкой вьюгой, поднятой лавиной конских копыт, возникало и мгновенно исчезало в глазах, как привидение, как бред, как сон. Огромный, одетый и обутый в асфальт и камень, город наполнен был приглушенным, тяжко и грозно рокотавшим гулом, будто бушевала в гранитном чреве его какая-то темная, дьявольская сила, и страшен был для непривычного уха этот исподволь нарастающий из недр городских преисподен мятежный, утробный гул...

А там, вдали, в непостижимой бездне проспекта, словно в степном просторе, овеянном вьюгой и скупо озаренном луной, вспыхивали голубые зарницы, и совсем по-степному, по-волчьи мерцали кровавые зрачки трамваев. Но, несмотря на расточительное изобилие света, Невский тонул в тумане, терялся в зеленовато-мутной болотной полумгле. И от людей, лавой двигающихся по панели, и от экипажей, от бешеных троек, и от наглых рысаков, стремительно проносившихся мимо одеревяневших на перекрестках городовых, — от всего этого, на первый взгляд, беспорядочного, почти панического

движения, похожего на шальной, яростно бурливый в гранитном русле поток, у Маркела разом перехватило дух. «И как только тут люди живут? Ить эта жа не город, а настоящий вертеп чисто! Ад это, воспода парни. Ад. Ад!..» — мысленно твердил он, оторопело глазея то на огромные, сияющие зеркальные витрины магазинов, то на волшебные вспышки электрических реклам, то на светящийся циферблат башенных часов на каменной громаде Петроградской городской думы.

Вертеп! Вертеп!

Таково было первое впечатление Маркела Шебанова от этого огромного, точно объятого пожаром, задыхающегося в дыму и тумане города, от города, в котором жил император, от города, который считал до сих пор Маркел священным... «Вертеп! Вертеп!» — твердил про себя Маркел, тревожно всматриваясь в беснующий поток Невского проспекта. И, чутко вслушиваясь в недобрый, похожий на отдаленные грозы, грохот и гул, глядучи на хищно мерцающие вдали волчьи зрачки трамваев, Маркел ощущал при всем этом неприязненный холодок в сердце. И смутно чуял он в эту минуту, как чуждо и почти враждебно ему все то, что возникало перед изумленным взором его из мглы, огня и тумана и что именовалось столицей государства Российского.

XLV

В Петрограде Маркелу с Лукой на первых порах повезло. Они сравнительно быстро и без особых приключений разыскали своих земляков, служивших в сводном, лейб-гвардии императорском полку. А земляков в этом полку оказалось немало. Начиная с рядовых гвардии и кончая самим командиром 3-й сотни, в которую входили исключительно сибирские казаки, есаулом Булгаковым, — все это был народ свой, степной, линейный, сибирский. Молодой есаул Булгаков родился и вырос в одной из линейных станиц, где его престарелый родитель, полковник Булгаков, долгое время занимал пост атамана 1-го военного отдела сибирского казачьего войска. А во время русско-японской войны старый Булгаков командовал 4-м Сибирским казачьим полком, и когда в знаменитой кавалерийской атаке дивизии генерала Самсонова под Вафангоу полковник был тяжело ранен в пах и едва не попал в плен к японцам, Маркел Шебанов вынес вышибленного из седла командира с поля сражения и благополучно доставил его на своем коне в походный лазарет. А за спасение командира полка от смерти и позорного плена рядовой Шебанов не только был представлен к награде и надел впоследствии георгиевский, 4-й степени, крест, но, кроме того, получил от

выздоровевшего полковника именной подарок: карманные часы польского серебра с боем и дарственной надписью на крышке и белый с галунами офицерский башлык.

Об этом подвиге Маркела Шебанова хорошо знал и помнил молодой сын полковника есаул лейб-гвардии, Олег Булгаков. Вот почему, когда дежурный по сотни вахмистр Вахрушев отрапортовал командиру сотни о прибывших одностаничниках, есаул, узнав о цели их приезда в Петроград, приказал приютить обоих сибиряков в казармах вверенной ему сотни и немедленно зачислить их на полное войсковое довольствие.

А через два дня, вызвав Маркела с Лукой к себе на квартиру и предварительно ознакомившись с их реляцией на имя царя, есаул сказал:

— Прошение у вас составлено по форме. На сей счет возражений я не имею... Но учтите, господа станичники, что в России у нас одиннадцать казачьих войск. А мне хорошо известно, что за последнее время от всех этих войск в столицу к нам с подобными реляциями на высочайшее имя почти ежедневно прибывает по нескольку депутаций. Следовательно, из всего сказанного мною явствует, что нужду и лишения, о которых довольно-таки, я бы сказал, красноречиво говорится в вашей реляции, терпит сейчас не одно наше сибирское казачье войско — это во-первых. Во-вторых, рассчитывать на продвижение вашего прошения по назначению при такой ситуации в столь короткий срок, как вы, видимо, думали, разумеется не приходится. Ибо считаю не лишним напомнить вам, что депутаты семиреченских, оренбургских, забайкальских и приамурских казачьих войск прожили в Петрограде свыше трех месяцев, да так ничего не добившись, вынуждены были ни с чем возвратиться в свои станицы...

— Помилуйте, ваша высокоблагородье! Неужели и нас ждет здесь такая же горькая участь?! Сами знаете — время весеннее. Сев на носу. Пашни у нас без пригляду и так оно и дальше... — встревожась, взволнованно заговорил Маркел.

— Понимаю, понимаю вас, господа станичники... — участливо отозвался есаул Булгаков. — Но трудно заранее предопределить волю монарха. Однако из уважения к вам и к родному мне войску я обещаю со своей стороны кое-что предпринять и помочь вам в быстрейшем продвижении вашей реляции по назначению...

— Чувствительно благодарствуем, ваша высокоблагородье, за это... — горячо проговорил Маркел. — Только нельзя ли нам предстать перед их императорским величеством лично?

— Не найдется ли для нас данной возможности, ваша высокоблагородье? — спросил вслед за Маркелом Лука.

— Возможность для личной встречи с государем не исключена, — ответил есаул, подумав. — Хорошо, я обещаю вам переговорить на сей счет с дворцовым комендантом, гофмейстером графом Воейковым. Он мне знаком по Пажескому корпусу, где я имел счастье вместе с ним обучаться...

— Покорнейше благодарствуем вас, ваша высокоблагородье! — воскликнул Лука. — Это знаменито получится, ежли вы словесно по данному поводу с самим графом переговорите. Но еще бы лучше было бы для нас, если бы вы перед их сиятельством, командиром конвоя его величества князем Трубецким словечко за нас замолвили...

— Перед Трубецким? — спросил Булгаков и удивленно посмотрел на Луку.

— Так точно, ваша высокоблагородье... Сия просьба наша вытекает из того факта, что обличье господина Щебанова их сиятельству в некоторых смыслах очень даже знакома. А особенно, конечно, самой княгине...

При этих словах Луки Маркел почувствовал, что краснеет, и, незаметно дернув его за рукав гимнастерки, в страхе подумал: «Брякнет ведь с дуру-то дурак про бабу. Провалюсь я тогда на месте в тар-тарары перед есаулом»... Но Булгаков перебил Луку, обратившись к Маркелу с вопросом:

— Как?! Вы, Шебанов, знакомы лично с князем?

— Так точно, ваша высокоблагородье. Было тако дело...

— Любопытно. Это каким же образом?

— А таким, ваша высокоблагородье, што в бытность их сиятельства консулом в китайском городе Кульдже я при них в драбантах состоял...

— И, кроме того, — снова ввязался в разговор Лука, — господин Шебанов их княгиню Марию Васильевну от Кульджи до города Оренбурга лично в свое время сопровождал...

— Ах, даже и княгиню? — с плохо скрытой усмешкой спросил есаул.

— Так точно, ваша высокоблагородье. Даже и им сопутствовал... — признался Маркел.

— Ну, это все может быть... — глубокомысленно заключил есаул. — Я ее знал прежде. Поведения дама была незавидного. Князь ее с драбантом в Царском как-то накрыл. С тех пор они и разошлись. Жена у него сейчас другая. Француженка. Мадам де-Вуран...

— Ловко... — пробормотал Маркел.

— Ну-с, что ж, делу однако это не мешает, — сказал в заключение Булгаков. — Отлично, земляки. Я попытаюсь переговорить о вас по телефону и лично с князем. А его сия-

тельство, разумеется, смог бы помочь вам во многом... Словом, располагайтесь, господа станичники, в казармах моей сотни. Запасайтесь терпением и ждите. Когда будет необходимо, — я вас вызову к себе вторично...

— Слушаемся, ваша высокоблагородье! Рады стараться. Покорнейше благодарствуем!.. — в голос отчеканили Лука с Маркелом и, откозыряв есаулу, лихо повернувшись на носках, вышли из кабинета.

В казарму вернулись они в приподнятом настроении. Повеселевшие, возбужденные, они, перебивая друг друга, рассказывали окружившим их землякам о своем разговоре с Булгаковым. И гвардейцы, выслушав их, хором подтвердили, что ежели есаул принял станичников столь приветливо и душевно, — а такое, по слухам, редко бывало с ним, — то дело теперь, можно сказать, на-мази, и в свидании с императором можно, пожалуй, не сомневаться...

XLVI

А вечером, когда собрались в казарму все свободные от нарядов служившие в лейб-гвардии одностаничники, Маркел решил порадовать их домашним подарком. К великому изумлению всех присутствующих, извлек он из походного своего сундучка бережно завернутую в холстину бутылку самогонного «первача», предусмотрительно захваченную им перед выездом в Петроград в дар гвардейцам, и земляки, усевшись вокруг стола, шумно запировали. Затем к маркеловскому «первачу» присовокупили гвардейцы пару бутылок заморской «виски», что раздобыл к приезду одностаничников пронырливый каптенармус Спиридон Крюков где-то в одной из портовых таверн у мрачного шкипера с английской шхуны. А Макар Таранов, самый рослый из всех сибирских гвардейцев, выставил на стол фигурную бутылку дорогого ликера. Он дня два тому назад украл ее на благотворительном балу в особняке фаворитки Николая II знаменитой балерины Кшесинской.

— Я там в наряде при гардеробной находился. Вот и изловчился, спер... — простодушно признался Макар, дарствуя запировавшим собратьям столь редкостное по тем временам вино.

По приказанию каптенармуса Крюкова все имевшиеся в наличии напитки слиты были в одну бутыль, а затем из всей этой дикой смеси изготовлен был тот самый «смерч», который пивали прежде по портовым тавернам только матросы да прославившиеся своими кутежами на всю империю офицеры кавалерийских полков. «Смерч» удался на-славу. И казаки, рванув этого огнеподобного напитка по первой чарке, сразу раз-

горячились. И, как всегда в минуты первого опьянения, потянуло одностаничников прежде всего на песни. Собрав ради гостей всех полковых трубачей, грянули дружно гвардейцы сначала войскового традиционного Ермака. А потом, когда сотенный запевала Фома Шугаев, горестно прикрыв очи, завел высоким, рыдающим на переливах голосом старинную песню сибирского казачества о былых походах на Коканд и Хиву, невольно навернулись у многих на глаза слезы. И странно было смотреть со стороны на этих рослых, красивых, мужественных людей, как печально преклонили они чубастые свои головы перед древней прадедовской песней и как роняли под трубные звуки горнистов слезу за слезой... Пахнула ли эта песня на них родным простором, горьковатым ли дымом бивуачных костров, солеными ли степными ветрами или воскресила она в душе ревнивые воспоминания о доме, о матери, о жене, — трудно гадать, какие чувства будила она в каждом из пригорюнившихся в сумрачной казарме гвардейцев. Но пели они хорошо, как могут только петь немало выстрадавшие на своем веку, оторванные от родины люди. И это понравилось Маркелу, тронуло старика до глубины души. «Не пропала еще, видать, у казака любовь к родимому краю. Молодцы, воспода гвардейцы. Душевный народ. Сердешный. Наш»... — растроганно думал он, глядучи на взгрустнувших земляков. И как ураган, как разыгравшаяся волна в непогодь, поднималась за трубными звуками песня. Птицей билась она в оконные стекла казармы, просилась на волю, рвалась на простор. И все выше, все горше звучал теперь хрупкий голос запевалы, ведя за собой могучий армейский хор.

Эх, горы Андижана!
Вас мы видим вновь.
Ферганская долина —
Кладбище удальцов..

Маркел знал, что полк лейб-гвардии, в котором служили одностаничники, был прикомандирован к дворцовой охране, и казакам нередко приходилось нести караул в Царскосельском, Гатчинском, Петергофском и Зимнем дворцах. Вот почему старик с нескрываемым благоговением смотрел на земляков, удостоившихся столь высокой чести, считал их счастливцами и ревностно завидовал им в душе. А когда у захмелевших гвардейцев после второй чарки и песен окончательно развязались языки и казаки наперебой заговорили о дворцовых событиях и порядках, Маркел, затаив дыхание, с внутренним трепетом и глухим душевным волнением стал прислушиваться к этим разговорам, и нехорошую, смутную тревогу посеяли они в нем.

— Братцы! — ликующе крикнул багровый от природы трубач Роман Першин. — Послушайте, што я сей секунд доложу. Вот знаменито происшествие опять на глазах у меня получилось. Вы знаете, што вчера ночью в ресторане «Вилла Родэ» Гришку Распутина обратно чуть не убили?

— Знам, знам... — мрачно откликнулся Макар Таранов.

— Откудова тебе это известно?

— А мне об этой конфузии ишо седни утром вахмистр Гармошкин с газетки «Воля России» все чисто сквозь прочитал.

— Ну, газетка тебе сроду так ятно не опишет, как я на словах доложу. Ить же я личный свидетель!

— Докладывай, докладывай, восподин трубач!

— Мы газет ваших не читаем. Валяй, Першин. Рви. Рассказывай, — подогрели трубача несколько гвардейцев.

— Стало быть, так... — продолжал Першин. — Убить, конешно, не убили. А изувечили старца на-славу. Всю морду искровянили. И как только он с таким рылом к государыне императрице покажется. Графья какие-то опять там его из-за одной дворцовой крали — фрейлины — усоборовали. Говорят, он эту фрейлину у министра внутренних дел Штюрмера отбил и в Москву в сандуновские бани на маслянке с ней ездил. Вот они за эту бабочку на ем и выспались. Я же с третьим взводом донцов на усмирение туда попал. Што там было — ярманка! Один граф пестиком его, понимаешь, по сопатке вякнул. Я думал, не устоит наш отец Григорий. А он только пошатнулся. Потом — рр-раз со своей груде наперсный крест, да ка-ак, слышь, крестом-то этим графа-то этого наотмашь по теменю бацнит, так тот аж сквозь всю чисто мраморну залу вьюном прошелся. А потом брякнулся на парадной лестнице, и весь графский дых из его нутра вон!

— Убил?! — недоверчиво спросил каптенармус.

— Замертво. Даже не пикнул.

— Вот собака. Ты скажи, какая рука у него, братцы, шибко чижолая!

— Ну, это ишо там што-о! — сказал белобрысый гвардеец Фаддей Туркин. — Вот я вам сейчас расскажу, как его, варнака, на моих глазах в прошлом году митрополит Варнава с Митькой Козельским в Петергофе дубасили.

— Это какой-такой опять Митька?— спросил каптенармус.

— Хо, да ты што, ночью родился?! Пятый год в гвардии дослуживаешь, а Митьку Козельского не знаешь. Да он с начала войны при государыне императрице совместно с Гришкой в начетчиках состоит. Дурака из себя корчит. За блаженного во дворцовых покоях слывет. Отрок из Оптиной пустыни. Юродивый. За здравие цесаревича Алексея молится...

— А чорт их там не разбирал! — сказал с досадой Макар Таранов. — Ихнего брата блаженных-то там в царицыных теремах кишмя кишат. Рази всех упомнишь.

— Ну, ладно. Словом, стоял я, братцы, в Петергофе на карауле, — продолжал Фаддей Туркин. — А первосвященный-то Варнава, видать, на приеме у императора тем часом находился. Ну, кончился прием. Выходит митрополит в колидор. А навстречу ему старец с юродивым. Встретился с ним Варнава и с места в карьер взял Гришку в шоры. Еретиком, антихристом его обозвал. Не место, говорит, тебе, блуднику и проходимцу, во дворце, поганишь, дескать, ты, хлыст, собой священну императорску особу и так оно и далее... А Гришка слушал, слушал, шнырял по митрополитову обличью своими шарами, шнырял, да ка-ак потом с большой матери его вполголоса пустит! Ей-богу, не совру, братцы! Мне аж неловко стало. Это ить не попа по пьяной лавочке выматерить! А тут митрополит. Высший сан в духовной консистории...

— Вот именно! — глухо всхихикнув, сказал трубач и зачем-то пронзительно продудел в свою трубу.

Но на трубача прицыкнул каптенармус, и он, оставив свою забаву, притих, как притихли все. Казаки точно вдруг протрезвели и слушали рассказчика, не сводя с него воспаленных от хмеля глаз. А Туркин, понизив для пущего интереса голос, продолжал:

— Ну вот. Стою я на карауле. Замер. Мое дело маленькое. А юродивый-то ка-ак взвизгнет не своим голосом. Потом — хоп да на Гришку. Уцепился отрок в старцеву бороду, и пошла рвать. Гляжу, только вороные клочья по паркету из распутинской бороды летят. Гриша-то бык-быком, а с дураком, слышь, вижу, не сладит. Ну, шум подняли, конешно. Огрок старца дубасит. А митрополит вокруг них волчком чещет и не то молитву каку-то творит, не то проклятию Гришу предает — не поймешь, какие речи он там бормочет. Тут, откуда ни возьмись, вылетела расфуфыренная фрейлина Вырубова. Всем вам, конешно, известна такая краля. Она ишо за Гришей-то сама в Тобольск и в Абалакский монастырь ездила, когда его туда генерал Думбадзе с Черного моря выслал...

— Знаю, знаю и про эту фижму... — многозначительно улыбнувшись, сказал трубач. — Только ее Григорий Ефимыч ишо прошлогод бросил. Она теперь при принце Ольденбургском в любовницах состоит. Мне ить все чисто скрозь про них известно...

— Да ты повремени, горнист, про принца-то буровить. Дай человеку про митрополита доказать! — оборвал трубача каптенармус.

— Иду дальше, — сказал Туркин. — Как это, стало быть,

увидела воспожа Вырубова, што дурак на старце повис и бороду пятерней ему чешет, брякнулась она тут в обморок, и аминь... Короче говоря, спасибо, што сама императрица Александра Федоровна погодилась: без ней, как пить дать, укокошил бы отрок старца. Ручаюсь за это...

— Стоп! — крикнул Роман Першин. — Стоп. И про этого Варнаву ишо почишше побывальщину слыхал. Мне один донец из третьей сотни рассказывал. Помните, как Гришка няньюшку августейших детей соблазнил?

— У всех на памяти. Про это весь Петроград звонил, — сказал Таранов Макар.

— Ну вот. Она после этого возьми да и брякни царице, а потом ишо какой-то там фрейлине все чисто выболтала. Ну, а когда начали славить про такую астролябию по всей столице, няньку-то эту срочно признали придворны доктура ненормальной и препроводили для излечения нервов на Кавказ.

— Ловко девки пляшут! — сказал каптенармус.

— Вот и именно... А вы слушайте, кака дальше притча вышла. Приезжает она на Кавказ и встречается там с Варнавой. Он как раз тоже водами свою духовну организму там пользовал. Ну, пришла нянька к нему под благословение да возьми владыке в грехе-то своем и покайся. А владыка давно на Гришку зуб грыз. Вот и решил он отпеть старца за такие дела перед государем. Ладно... Приехал первосвященный в Петроград, испросил себе всеподданнейшего доклада. Государь принял его в Зимнем дворце. Благословил митрополит императора. Ну, тары-бары. Помялся митрополит для приличия, а потом и давай начисто государю и про Гришку, и про няньку, и про баньку резать...

— Про каку таку баньку? — спросил нетерпеливый трубач.

— Погоди ты, не перебивай человеку складу... — снова одернул его каптенармус.

— А про ту и баньку, в которую он дворцовых фрейлин возил, — ответил трубачу Першин. — Иду дальше... Ну, государь император слушал, слушал владыкины речи да потом и говорит ему, што ты-де, мол, ваше преосвященство, лишнего то бы про мои семейные дела не вякал. Большое, мол, неудовольствие ты мне, владыко, такими речами причинил. Я, говорит, не позволю, штобы про мою личную жизнь неподобное барахлили. Никогда, мол, не допущу такой безобразии, штобы каждый, кому не лень, походя приглядывался к тому, что деется в моем дворце, и так оно и далее... Словом, распек он митрополита так, што у владыки в левом глазу задергало. Однако Варнава собрался с духом и на прощанье отрезал: «Слушаюсь, государь, но да позволено будет мне думать, што русский царь должен жить в хрустальном дворце, доступном взору его подданных!».

— Вот это брякнул! Молодцом. Хвалю за ухватку, — заявил Макар Таранов с нескрываемым восхищением.

— Храбрый, видать, архимандрит попался, — заметил капитенармус.

— Владыко — хват. За словом в подрясник не полезет, — продолжал Туркин. — Только вот храбрость-то эта боком митрополиту вышла...

— Как так?

— Очень просто. Во-первых, не успел он после такого высочайшего приему воротиться в свои покои, как его ишо в карете параличем, говорят, шарахнуло: права рука отнялась будто. Во-вторых, синод на другой же день уволил владыку с архипастырской должности. А, в-третьих, по указу синодального обер-прокурора Саблера ровно через девять ден после разговору митрополита с императором выпроводили Варнаву из Петрограда на покаяние в Абалакский монастырь тобольской епархии. Понятно сие тебе, восподин каптенармус?

— Больше чем наполовину...

— Ну, за таки дерзки речи супротив Гришки перед самим государем, — проговорил нараспев трубач, — архимандрит твой, вижу я, дешево ишо отделался. Другого бы за тако дело вместо монастырской кельи в Трубецкой бастион, скажем, по суседству с бывшим военным министром генералом Сухомлиновым в Петропавловской крепости законопатили бы.

— Это правильная речь. Небось, императрица-то, Александра Федоровна, начетчика своего никому в обиду не даст...

— Даст она тебе — дожидайся... Да ить из-за его, варнака, не только архимандриты, а даже министры один за другим кубарем с постов летят. Пришелся не по норову старцу какой-нибудь там главный управитель — хана. Шепнул Гришка царице, а через день этого управителя и нет...

— Што там говорить! Он, подлец, скрозь всей империей руководствует.

— Страшное дело, братцы. Тобольский конокрад, земляк, можно сказать, наш до трону добрался! А?!

— Да, говорят, он, слышь, и в грамоте-то ить не ахти как боек.

— Кака така там грамота — аз, буки да мыслети. Челдон желторотый. Двух словес на записку не запишет.

— Грамота ему непричем, — убежденно сказал трубач. — Он же ить чернокнижник. Колдун. Нечистая сила. Весь чисто дворец опутал...

— Постой, восподин трубач, — перебил его каптенармус. — А ты мне скажи, на каку язву графини да разны там фрейлины его так любят?

— Ну, об этом ты у них спроси...

— Мне у них спрашивать нечего. Я и так все чисто знаю... А грамота ему действительно непричем. Я так мыслю, воспода гвардейцы, што в опочивальне у царицы библии они по ночам не читают. До священного ли тут писанья?!

— Ээ-э-эй! Лишнего-то здесь, каптер, смотри не буровь, — крикнул с притворной строгостью на каптенармуса Макар Таранов и, разливая по чаркам остатки смерчеподобного напитка, заключил:

— Давайте-ка, слышь станишники, запьем это дело для ятности.

Слушал Маркел все эти разговоры захмелевших гвардейцев и ушам своим не верил. У него даже весь хмель разом из головы вышибло. И, поникнув, старик с тревогой думал: «Боже ты мой, и куда я только попал?! Што за навождение?! С ума, никак, спятили ребята — эку ить околесицу про дворец, про царя, про царицу несут... Наш брат, старики, при портрете их императорского высочества даже чихнуть в присутственном месте не всегда рискуют. А они, сынки наши, таки тут речи ведут, аж под ложечкой сосать зачинает... Вот тебе и лейб-гвардия — краса и гордость станиц! Да ить это жа прямой разбой чисто, форменно варначество — про августейшу фамилию чорт-те што в слух барахлять! Шутка сказать — царский дворец! Святое место. Алтарь отечества. Али уже их тут, сукиных детей, и на словестности воспода вахмистры этому учить теперь перестали?!»

Между тем, наряду с такими горькими, злыми мыслями глухой тайный голос нашептывал Маркелу: «Погоди, подумай маленько, старик! Не сгоряча ли ты ишо на гвардейцев-то взъелся? А вдруг да все это на проверку сущей правдой окажется? Што ты скажешь тогда, воротясь домой, воспода станишникам? Проверь, способный ли будешь правде в глаза посмотреть ты, георгиевский кавалер и верноподданный государев воин?!»

Но Маркел, стараясь заглушить в себе этот тревожный внутренний голос, мысленно твердил: «Нету. Нету. Не может этого быть. Брехня это. Все чисто брехня: и про тобольского конокрада, и про опального митрополита, и про юродивого отрока из Оптиной пустыни, и про нянюшку августейших чад, и про флейлину, и про императрицу... все брехня. Злоумышленный поклеп на императорский двор. Кощунствие это. Так я эти речи ваши, воспода станишники, себе шифрую!..»

Нет, не мог поверить Маркел Шебанов в то, что какой-то неграмотный тобольский мужик ворвался во святая святых к русскому престолу и, поднявшись на царский трон, глумясь и издеваясь, вероломно правил теперь великой Россией. Не знал Маркел и не мог знать того, что еще в начале 900-х годов при дворе последнего из русских императоров стали в изоби-

лии появляться какие-то темные проходимцы: отшельники, юродивые, блаженные странники и полусумасшедшие пророки — предсказатели будущего и что, окружив толпою царицу, они, предводимые тобольским «старцем», начали мало-помалу влиять на безвольного царя, а в канун мировой войны и на всю внутреннюю и внешнюю политику России. И если между 1900 и 1914 годами имя «царского лампадника» — таков был придворный титул Григория Распутина — приобрело широкую известность только в кругах так называемого высшего света и разговоры о похождениях Распутина дальше великосветских салонов не выходили, то в начале 1916-го года о «царском лампаднике» говорили уже в действующей армии, а слухи о его пьяных дебошах и оргиях начали даже изредка проникать, несмотря на жестокую цензуру, в печать. О деятельности Распутина было сделано несколько запросов в Государственной думе, и Родзянко, председатель ее, имел в результате этого несколько бесплодных аудиенций у царя. Однако в народе, а тем более в далеких казачьих станицах степной Сибири, ни о Распутине, ни о связанных с ним придворных интригах ничего не знали. А поэтому разговор захмелевших гвардейцев и прозвучал для Маркела неправдоподобным и страшным откровением. И, хотя Маркел понимал, что дыму без огня не бывает, все же страшился поверить тому, что слышал.

Маркел сидел за столом, низко уронив голову. Погруженный в горестное раздумье, он даже не заметил, как замолк хмельной говор гвардейцев. Однако, поразмыслив, старик решил жестко распечь и пристыдить распоясавшихся одностаничников за все их непозволительные по войсковому уставу, порочившие императорский дом речи. Но, подняв голову, он увидел, что за столом уже никого не было.

Вышло же так, что пока размышлял Маркел, поникнув, о непристойных гвардейских разговорах, тем временем, успев наспех хлебнуть по последней чарке, гвардейцы неслышно разбрелись по казарме. Вспугнул их заспанный дневальный. Ему примерещилось, что помощник командира полка объявил о ночном своем показарменном обходе, и потому дневальный встревожил пировавших казаков. Тревога оказалась ложной, за что дневальному твердо обещано было всыпать на следующий день положенных двадцать пять ложек. Но гвардейцы, завалившись по нарам и притворясь спящими, тотчас и в самом деле замертво заснули мгновенным армейским сном.

Не спал только один Макар Таранов. Примостившись против Маркела на кромку нар, он, надсадно посапывая, возился с полуснятым с левой ноги, узким в подъеме, щегольским сапогом. По уверенным и злобным движениям гвардейца Мар-

кел понял, что Макар не был пьян, и потому вполголоса спросил его:

— Слушай-ка, Макар... ты помнишь, што вы буровили?

— Это ты про што, Маркел Игнатьевич? — удивленно взглянув на Маркела, спросил его в свою очередь Макар.

— Про то самое... про их императорские высочества. Забыл?

— А-аа... — скучно зевнув, протянул нараспев Макар. — Это на памяти, конешно...

— Да вы как — сурьезно?

— Хе. Чудной ты, Маркел Игнатьич! А ты што же думал — шутейно? Нету. С этим плохие шуточки, распроналюбезный земляк.

— Не верю я этому... — угрюмо сказал Маркел.

— Не веруешь?

— Никак нет.

— Дело хозяйское... — насмешливо проговорил Макар и, сняв, наконец, сапог, не выпуская его из руки, трезво и пристально посмотрел на Маркела. И великое смятение заметил гвардеец в суровом и строгом облике старого одностаничника.

Помолчали.

Потом, не спуская с Маркела глаз, Макар еще раз спросил:

— Дак ты говоришь — не верую?

— Никак нет, — повторил Маркел. — Душа таких слов не принимат, восподин гвардеец...

— Ну, што ж, ладно, коли душа не принимат. Споровать мы с тобой, Маркел Игнатьич, на ночь глядя, не станем. А вот завтра я уж как-нибудь тебе на досуге да стрезва-то ишо не такое порасскажу. Знаю: горько тебе на старости лет слушать про государя императора такие речи. Да што ж тут поделать, на правду глаз закрывать не приходится. Не показачьи как будто это...

— Так-то оно так, конешно... тут я с тобой полняком согласный, — чуть слышно проронил с тяжелым вздохом Маркел.

— А страшная это правда, Маркел Игнатьич, — как бы не слыша маркеловских слов, продолжал, глядя на него в упор, Макар Таранов. — Иной раз и очам своим не веруешь... Но ничего. Крепись, старина. Ты казак тертый, бывалый, умственный. Придет и твое время. Поймешь. Поверишь...

— Ой, не знаю, Макар...

— Ручаюсь, — убежденно и коротко заключил Макар. Затем, отвернувшись от Маркела, он, преувеличенно тяжко кряхтя и вздыхая, полез на нары и, забившись в темное свое логово, скоро притих.

Было уже далеко за полночь. Стала в казарме могильная тишина. Тускло горел газовый рожок под древним сводчатым потолком. Клевал носом над тумбочкой притулившийся у входа дверей дежурный.

И только один Маркел Шебанов не в силах был сомкнуть в эту ночь своих воспаленных глаз. Уже невнятно синел за окнами ранний мартовский рассвет, и слышен был приглушенный, утробный гул пробуждающегося огромного города. А Маркел сидел, горестно облокотившись на грубую, выщербленную столешницу, и не до сна ему было в этот глухой предрассветный час, не до покоя.

XLVII

Спустя две недели в полку стало известно, что в связи с частичными успехами 8-й армии Брусилова на Юго-Западном фронте, в Петрограде, согласно монаршей воли, предстояло всенародное молебствие о даровании русским воинам победы. Молебствие должно было происходить при участии всей высочайшей свиты. А одновременно с молебствием ожидался и традиционный весенний парад гвардии на Марсовом поле, который обычно принимал только сам император. Узнав об этом, Макар Таранов сказал Маркелу:

— Вот куды вам надо с Лукой во што бы то ни стало пробраться. Это самый подходящий случай для подачи прошения в личные руки императора.

— Што ты, Макар! На таком-то миру?! — испуганно воскликнул Маркел.

— Вот в этом-то и все дело, што на миру. Знашь, цари это любят...

— Што — это?

— Ну, вот эту самую музыку... монаршью милость у всех на виду нашему брату оказывать. Сам, понимаешь, ежли ты, скажем, простой казак, на глазах у всех осмелишься приблизиться к царской ложе и протянуть государю свою челобитную, целовко же будет ему отказаться и не принять от тебя прошения. Верно я говорю?

— Не знаю я, слышь, Макар... Да ведь на такой публике и сробеть, стушеваться пред их императорским величеством недолго.

— А ты не робей. Не тушуйся. Будь казаком.

— Не знаю. Боязно мне, Макар, што-то... — признался Маркел.

— Волков бояться — в лес не ходить, — ввернул с улыбкой Макар. — Да тебе ли робеть-то? Маркел Игнатьич! Дело хозяйское, конешно. Только я бы на твоем месте таким случаем не попустился.

— Легко сказать — не попустился. А попробуй мы — сунь-

ся, дак нашего брата скоро-то ишо туды и не допустят, — полувопросительно, полуутвердительно сказал Маркел.

— Ну, насчет допуску — ерунда. Допуск туды, на их трибуны, вполне слободный. Правда, вот только билеты громадного капиталу стоят. Не поверишь, за само никудышно место надо пару справных меринов вместе с упряжкой отдать. Понятно, што нашей нации такая охальщина, конешно, не по карману. А потому там, на этих трибунах, во время парадов одна высшая знать находится, одни сплошные графья да графини скрозь на скамейках ярусами сидят. Ну, а ежли бы ты и рискнул на раззор, заручился бы таковым билетиком и приткнулся бы где-нибудь, скажем, там к какой-нибудь вос поже графине, то толку из этого для тебя все равно будет мало...

— Это пошто же так-то? — заинтересовался Маркел.

— А по то, што с ярусов тебе потом до царской ложи никак не добраться. Ведь через графски-то головы за борт оттудова на плац не сиганешь. К тому же у бортов полиция шпалерами стоит — куды ты подашься? Правда, зрить будешь все оттудова ятно, как на лодони. А позрить есть на што. Там ведь красота посмотреть, как,скажем, гвардейские драгуны или же царскосельские гусары в красных доломанах вдоль всего Марсова поля в церемониальном марше пройдут — дух захватывает такая картина. Все это — да. Только до царя-то оттудова хоть и близко, да склизко — не подступишься. А вот ежли бы вы с Лукой особый ярлык с голубым кантиком доступили — вот это бы вышел номер!

— А што это за ярлык?

— А это пропуск такой за личной подписью придворного обер-церемониймейстера барона Корфа. С таким ярлыком тебя куды хошь скрозь пропустят. Понял? Это — раз. А потом заметь, што прохождение войск по церемониальному маршу откроют две казачьих сотни нашего полка, а две будут нести почетный караул у царской ложи — это два. И ежли на ваше счастье на караул встанет наша третья сотня, то тут уж царь от вас не уйдет — это три. Мы тогда в таком случае из любой беды своих земляков выручим. Видел?

— Все это ловко, Макар, придумано, — сказал Маркел, подумав. — Только через какую путь ярлык-от самый добудешь?

— А через командира нашей сотни, — оживленно откликнулся Макар. — Ежли наш есаул захочет, он это дело в один темп оттяпат. Булгаков через свою любовницу из французской нации, которая живет с князем Трубецким, што тебе хошь доступит. Ты скажи, и чином ишо человек не ахти как вышел, а благодаря живописному обличью и во дворец вхож, и с великой княжной, государевой дочкой Татьяной, говорят, пе-

ремигиваться уже начал. Вот помяни меня, што он через этих придворных краль, зачем не видишь, в генерал-майоры произведен будет...

— Поехали! — презрительно усмехнувшись в сторону, сказал Маркел. — У тебя, смотрю я, Макар, про императорский двор другова и разговору как будто за душой нету. Буровишь и буровишь абы што. Точно это есть не царский дворец, а — грешно ить сказать-то — публичный дом терпимостей чисто...

— А што греха-то таить — похоже...

— Брось, Макар! — строго пригаркнул на него Маркел, сурово сомкнув вдруг бобровые свои брови. — Хватит брехать-то, восподин лейб-гвардеец. Не доводи меня до греха. Прекрати сии речи... — И старик, взволнованно заерзав на шаткой скамье, отвел от Макара потускневшие от гнева глаза, а затем, переведя дух, с глухой и злобной решимостью отрезал: — А што касательно встречи с государем на Марсовом поле, то я на тако мошенство с ярлыками перед лицом его императорского высочества не пойду. Мне этих ярлыков совесть своя пока ишо дороже...

— Совесть?!—весело и непринужденно воскликнул Макар.— Да при чем тут опять совесть-то?

— А при том, што мне, как верноподданному и престарелому казаку, желательно до государя императора честным путем с прошением достигнуть.

— Это каким же, примерно, манером?

— Только не через есаульских любовниц...

— Во как! А через кого жа?

— У меня другая путь найдется...

— Все-таки? — донимал Макар Маркела.

— Я, например, до их сиятельства, князя Трубецкого самолично дойду. Князь доложит о нашей просьбе императору. Я знаю: их сиятельство, как бывший мой барин, за прежнюю верную службу мою перед ними меня ублаготворит...

— Это вполне резонно, конешно, — охотно согласился Макар. — Только пошто ты думашь, Маркел Игнатьич, што Трубецкой чишше нашего есаула? Где у тебя налицо такие факты? Да ежли ты хотишь знать, князь-то сам благодаря только Григорию Распутину при дворе держится. Они ведь теперь одной секты со старцем — хлысты. Их обоих давно суду предать надо... Да ты погоди, не горячись, восподин станишник. Ты только послушай, каку я побывальщину обратно про их сиятельство доложу... — разом посерьезнев, начал было Макар.

Но Маркел, не желая выслушивать гвардейца, вскочил на ноги, на мгновение задержал на собеседнике раскаленный от

гнева взгляд, а затем, с отчаянием махнув на оторопевшего Макара рукой, поспешно и молча вышел из казармы.

Однако дня через два после разговора с Макаром, Маркел с Лукой были срочно вызваны к Булгакову. Шел теперь Маркел к есаулу неохотно, хотя и не подавал в этом вида Луке. Он, признаться, уже утомился от непривычного безделья, от бесплодных надежд и ожиданий, и его тяготила эта пустая, праздная жизнь в чужом огромном туманном городе. Все выше поднималось в полдень над Петроградом весеннее северное небо и все прозрачнее, все тревожнее блистало оно над золотым куполом Исакия, над пронзительным шпилем адмиралтейской иглы. И только одно оно, это безоблачное, безмятежное петроградское небо напоминало Маркелу о далекой степной весне. И неудержимо влекло старика в такую пору домой. Никогда еще, кажется, не испытывал он такой острой тоски по собственной пашне, по дому, по паре старых своих меринов. И при одном только мимолетном воспоминании о степных ночлегах, о терпком бражном запахе взрыхленной острым лемехом, согретой вешним солнцем земли, при одной только беглой мысли обо всем этом мгновенно и сладко хмелела маркелова голова, и все беспокойнее, все тревожнее начинало биться неугомонное стариковское сердце. И не раз уже досадовал теперь в душе Маркел на то, что зря, должно быть, согласился он на старости лет принять на себя непосильную для него обузу. «Весна, по приметам, в наших местах нонче ранней должна быть и дружной. Небось, уж народ-то там у нас, зачем не видишь, на пашни вывалит. А ты вот без толку шлындай тут по офицерским квартирам, мыкайся вокруг да около императорского дворца, как слепой на ярманке!..» — с горечью думал старик, то и дело заглядываясь на бирюзовое столичное небо. К тому же, с первого же дня по приезде в столицу запала в душу Маркела некая очень смутная и очень неопределенная тревога. С памятного вечернего путешествия по завьюженному Невскому проспекту тревога эта ни на минуту не покидала отягощенного глухой болью стариковского сердца, и Маркел не переставал ощущать ее, кажется, даже во сне. Что с ним было такое — он не знал, но по наитию догадывался, что тяготило его так недоброе предчувствие какой-то, может быть, и далекой, но неминуемой беды. А тут еще эти непристойные, ошеломившие старика, непозволительные гвардейские разговоры об императорском доме, о царице, о царе... Нет, не к добру же приснилось ему в канун выезда в Петроград эта страшная, дотла выжженная вешним палом пустынная степь, траурный крест в зареве окрестных пожарищ и этот молчаливый, точно обугливщийся, орел на придорожном кургане. Снилось тогда Маркелу, что бежал он по этой мертвой степи и никак не мог убежать

от молчаливого орла, неподвижно сидевшего на придорожном кургане, и кричал со страху Маркел, но не мог услышать собственного голоса... Нет, не к добру был этот сон...

С такими мыслями шел Маркел вместе со своим спутником Лукой к есаулу Булгакову. Но есаул и на этот раз встретил станичников столь тепло и радушно, что у Маркела посветлело на сердце, и старику стало досадно за себя, за слова, высказанные им о Булгакове в разговоре с Макаром. «Зря я погорячился, старый дурак. Офицер-то и впрямь душевный»,—подумал Маркел, глядя на приветливо улыбавшегося им с Лукой есаула.

— Ну-с, как вы себя чувствуете, господа станичники? — спросил есаул.

— Покорно благодарствуем вас, ваша высокоблагородье! — с горячностью ответил на есаульский вопрос Маркел. — Но полагаем, што насчет нашей чувствительности доказывать много не приходится. Сами знаете: время не терпит — весна. Истомились мы чисто. Нам этот Питер, как говорится, уже все бока повыпер...

— Хорошо сказано... — улыбнувшись, одобрил уместную поговорку Булгаков. Затем он, сразу посерьезнев и вдруг выпрямившись, как в строю, полузакрыл глаза, выдержал небольшую паузу и только потом уже проговорил:

— Ну-с, земляки, а теперь могу вас порадовать. Прошу через три дня подготовить себя во всех отношениях к предстоящей встрече с императором.

При этих словах Булгакова Маркел с Лукой, встрепенувшись, вытянулись, как по команде, перед есаулом во фронт и, почти не дыша и не мигая, замерли, вслушиваясь в медлительную и торжественно глуховатую речь есаула.

— Только из глубочайшего моего уважения к вам и к родному мне сибирскому казачьему войску, достойными сынами коего вы являетесь, — продолжал вполголоса есаул, — я постарался достать для вас особые пропуска за личной подписью обер-церемониймейстера барона Корфа. Получите, — сказал Булгаков, протянув Маркелу с Лукой отпечатанные на вензелевой бумаге с двуглавым орлом, окантованные голубой каймой, пригласительные билеты. Это были те самые пропуска, о которых говорил Маркелу Макар и которые гвардеец советовал попытаться добыть именно через есаула.

Вручив пропуска в дрогнувшие от волнения руки Луки и Маркела, есаул продолжал:

— С этими пропусками вы беспрепятственно пройдете к левому крылу императорской ложи и будете находиться до окончания парада. Караульную службу близ царской ложи будут нести лейб-казаки вверенной мне 3-й сотни и потому вас там никто не потревожит. Понятно?

— Так точно, ваша высокоблагородье! — в голос и не без щегольства отчеканили Маркел с Лукой.

— Дальше, — продолжал есаул. — Все это время я буду стоять на своем ахал-текинце неподалеку от хора императорских трубачей. Оттуда, где будете находиться вы, вам будет отлично меня видно. После церемониального прохождения войск конница выстроится в резервные колонны вдоль всего Марсова поля. По окончании парада начнутся приготовления к скачкам. Вот в эту-то минуту вы и должны будете особо следить за мной. И в тот момент, когда я коснусь правой рукой левого своего погона, вы смело выйдите вперед и, сделав несколько решительных шагов по направлению к царской ложе, остановитесь напротив императора на двухсаженной дистанции. Затем, вытянувшись во фронт, на минуту замрите. Если за это время император не спросит вас сам о том, кто вы такие и что вам нужно, то тогда, не теряя времени, один из вас, скажем, вот вы, Шебанов, берет руку под козырек и сам заводит разговор с государем...

— Помилуйте, ваша высокоблагородье! — взмолился Маркел. — А какие же слова, дозвольте вас спросить, я в такой час их императорскому высочеству скажу?

— То есть, как — какие слова? Обыкновенные... Ну, примерно, можете начать хотя бы даже вот так. Ваше, мол, императорское величество! Перед вами стоят престарелые казаки Сибирского линейного Ермака Тимофеевича, подшефного цесаревичу Алексею казачьего войска. Мы есть такие-то и такие. Назовите свои имена и фамилии. Затем отрапортуете, что прибыли, дескать, в Петроград с законными полномочиями казачьих станиц степной Сибири, явились, мол, на предмет подачи всеподданнейшего прошения на ваше высочайшее имя и просим всемилостивейщего дозволения, государь, вручить в державные руки вашего императорского величества сию реляцию нашу лично. Вот вам и все. Как видите, в сущности, это не так-то уж сложно...

— Ваша высокоблагородье! — глухим от волнения голосом проговорил Маркел. — А если, опять осмелюсь спросить, государь император, как на грех, не пожелат принять с наших рук оного прошения, тогда што?

— Не думаю этого... — ответил есаул после некоторого раздумья. — Но тут, главное, зевать вам в этот момент не надо. Вот почему я рекомендую вам, земляки, сразу же, как только вы отрапортуете о себе, не дожидаясь ответных слов государя, решительно приблизиться полным маршевым шагом к царской ложе и смело, ничуть не колеблясь, протянуть императору реляцию в развернутом виде. Ясно?

— Так точно, ваше высокоблагородье! — снова в голос молодцевато ответили есаулу Маркел с Лукой.

— Только вот тут как ишо будет беда, извиняйте меня на этом, ваша высокоблагородье, — заговорил Маркел. — Дело в том, што я такой правильной речи перед государем произнести не смогу, а ваши слова запамятую. Самим же нам обратно такого стройного рапорта умственно не составить. А посему нельзя ли будет сделать таку милость и списать мне сей рапорт на бумажку? Это я осмеливаюсь просить вас на предмет устного изучения. А уж наизусь-то я бы отрапортовал государю императору чисто все скрозь без запинки...

— Наизусть, говорите? Хорошо, — сказал есаул, подумав. — Хорошо. Речь я для вас, пожалуй, средактирую и отпечатаю ее на штабной машинке. Но сделаю это только я с одним непременным условием: как только текст вами будет усвоен, бумажка сия должна быть немедленно уничтожена.

— Слушаемся, ваша высокоблагородье!—козырнул Маркел.

— Ну-с, смотрите. У меня, чтобы не осталось никаких следов от подобной шпаргалки, — еще раз строго предупредил станичников Булгаков.

— Насчет следов не извольте беспокоиться, ваша высокоблагородье. Я ее, в крайнем случае, съем, — непринужденно заявил Лука.

— Кк-аак?! — даже заикнулся Булгаков.

— А очень просто, ваша высокоблагородье. Возьму и скушаю. Это надежнее, а для меня такое дело ничего не стоит. Я лично к подобным фокусам давно привычный. Организма, знаете ли, почти с малых лет к этому приучена. В письмоводительской-то практике у меня, понимаете ли, таких случаев сколько хотишь бывало. Каюсь, не один раз уж приходилось в спешном порядке некоторые документы глотать. Сами знаете, с нашими сибирскими варнаками и не этому еще обучишься... Так что я за свою жизнь этой бумаги, пожалуй, дести три съел.

— Нно-о? — искренне удивился есаул.

— Клянусь честью, ваша высокоблагородье.

— Нн-да... Похвально.

— Рады стараться, ваша высокоблагородье!

— Ну, что ж. В таком случае валяйте, скушайте на здоровье тогда и сию шпаргалку... — милостиво дозволил Луке усмехнувшийся есаул. Затем сказав еще несколько напутственных слов станичникам на прощанье, Булгаков пожелал им всяческого успеха и, крепко пожав в знак этого землякам руки, поспешил вежливо выпроводить их из своего кабинета

XLVIII

Вернувшись в казармы, Маркел с Лукой, по настойчивому предложению последнего, приступили к репетициям сцены

предстоящей встречи с монархом. На первых порах Маркел было воспротивился этому, усмотрев и в данном случае нечто такое, что, по его убеждению, несколько оскорбляло священное имя русского самодержца. Однако Лука со всем присущим ему красноречием скоро убедил старика, что без предварительной тренировки они рискуют легко опозориться перед взорами императора и из-за одного неверного шага или жеста может последовать катастрофический проигрыш всей предпринятой операции.

— Ты уж поверуй в меня на сей раз, Маркел Игнатьич, — с жаром уговаривал его Лука. — Пойми, господин станичник, что солидный опыт в этих делах я еще со времен полковой службы за собой имею. Так в бытность мою штабным писарем в городе Верном мне не раз приходилось разыгрывать крайне сурьезные роли в драмах при сцене Верненского офицерского собрания. Там в момент шутейных дуэлей господ офицеров на сцене я обыкновенно из фузеи за кулисами ахал. Допустим, надо изобразить ответственный выстрел, я и царапну. Вот были спектакли — дух захватывало! Мы там лучше чугучакских канатоходцев и бомбейских шпагоглотателей работали. Клянусь честью. Бывало сыпанешь, не скупясь, в сию физию полфунта пороху, пистон — на капсуль и замрешь на месте, когда твоя очередь к изображению выстрела наступит. Зато ка-ак в трагедийный момент баданешь за кулисами-то, дак после этого ни на сцене, ни в зрительной зале с полчаса время от дыму ни зги не видать. Ну тут, конечно, еще почище представление начнется. Некоторые господа зрители никак прочихаться не могут. На некоторых икота нападает. Некоторые, конечно, невзирая на благородных дам, выражаются нецензурно. А другой благим матом орет с первого ряду: «Деньги, сукины дети, давай обратно за эту драму!» и так оно и далее. Словом, эффект получался живописный. Ты не поверишь, господин станичник, что после такого моего залпа некоторых благородных верненских барышней господа офицеры на руках из театру для освежения на вольный воздух выносили...

— Верю, — мрачно пробормотал Маркел. — Воздух там действительно чижолый. Мне тоже ить довелось однажды в этом театре побывать. Наш третий взвод на усмирение пьяных воспод офицеров туды вызывали...

— Ну вот... — продолжал Лука. — А ты послушай, что дальше было. Разыгрывали мы однажды драму. Шесть действий. С прологом и плюс эпилогом. Там одних только убийств из ревности штук пять было. Словом, до самого утра представление шло. Ну, конечно, некоторая публика не выдержала и к полночи начала безобразно похрапывать на

венских стульях. Но у меня в каждом действии по одному ответственному выстрелу было. Хорошо. Так вот, как только это я ахну из своей фузеи, смотришь, народ обыгается и обратно некоторое время на сцену смотрит. Ну, все шло шикарно. Только в последней картине предстоял мне заключительный залп...

— Погоди, погоди,... — пытался было остановить увлекшегося рассказом Луку Маркел. — Ты к чему это опять мне все скраю буровишь-то?

— А ты слушай, — наставительно сказал Лука. — К тому и притча, что без предварительной тренировки-то такого эффекту никогда бы у меня с выстрелом не получилось. Понял? Допусти меня к оружию без репетиций-то, то ведь я бы мог сдуру и не в том месте, скажем, где полагалось, бухнуть. Представим, что в данной драме юнкер берет графиню за ручку и начинает делать этой распутной даме на словах и на мимике разные там любовные выражения. А графиня обратно ему твердит, что «ах, ах, юнкер, я вам не верю!» И вот, представь себе, вдруг ни с того, ни с сего — бац в такую минуту выстрел! Что сие значит? За каким чортом? Конечно, некоторые там господа зрители, развалившись себе на венских стульях, думают, что, вполне может быть, дескать так и надо. А некоторые, наоборот, думают, что, дескать, вроде как сдуру залп-то, мол, дали, ни к селу, и ни к городу вроде как бы царапнули... Ну, ладно, Не в зрителях, разумеется, дело. Главная вещь, тут графиня посреди сцены в обморок с перепугу-то брякнулась. Ах да ах — и бяк об пол. Доигралась! А по ходу данной пьесы ей этого делать раньше шестого акта никак невозможно было. Отчего такая карусель получилась? А очень просто. Впоследствии выясняется, что тут артист, который допустил за кулисами данный выстрел, — это не артист, а сукин сын какой-то. А почему? А потому, что он, оказывается, всего только на одной репетиции был, да и то в сугубо нетрезвом виде... К чему это я веду?

— Не знаю, восподин письмоводитель, — признался Маркел.

— А к тому и веду, что вот и мы с тобой, Маркел Игнатьич, без предварительных репетиций-то при встрече с императором еще не такое можем накуралесить.. — неожиданно заключил Лука и, спохватившись, что заболтался, суетясь, предложил Маркелу тут же приступить к репетиции.

Так они и сделали. Благо, казарма была пуста. Все лейб-казаки, готовясь к предстоящему параду, пропадали теперь с утра до ночи на полковом плацу, и потому никто не мог помешать станичникам в нелегкой их работе.

Соорудив на скорую руку из казарменного стола и табуретки нечто такое, что, по замыслам Луки, должно было изображать царскую ложу, Лука взгромоздился на это сооружение и, величественно скрестив на тощей своей груди длинные, немощные руки, принял, как ему казалось, царственную позу и затем сказал Маркелу:

— А теперь ты представь, что перед тобой не Лука, а настоящий император! Можешь?

— Трудновато, слышь... — простодушно признался Маркел.

— А ты вообрази. Без фантазии в этом деле ничего не выйдет.

— Попробую...

— Ну, вот... Затем предстань передо мной по всем правилам известного тебе артикула и вообще действуй, как нас учил их высокоблагородь есаул Булгаков. Итак, приготовились. Внимание... А ну, начнем, пожалуй! — скомандовал Лука.

При этих словах письмоводителя Маркел вытянулся в струнку, и лицо его обрело наигранно серьезное, притворно строгое выражение. Вытянув руки по швам, он неестественно широко раскрыл глаза и совсем уже было приготовился к рапорту. Но при взгляде на окаменевший, надменный облик Луки, старик, не успев даже вымолвить и полслова, не выдержал и громко расхохотался.

Это и смутило, и обидело письмоводителя.

— Я попросил бы, извиняйте меня, относиться к данному делу посерьезней!.. — строго и осуждающе сказал Лука.

— Нет. Не могу. Извиняй, Лука, — проговорил, прохохотавшись Маркел. — Нету, не годишься ты, видать, восподин станишник, в императоры. Слазь с трону. Не кощунствуй. Не глумись над государем. И не вводи меня в грех, христа ради...

Но Лука был неумолим. Он сердился, упрекал Маркела в невежестве и, опять уклонившись от основной темы разговора, начал было вспоминать о верненском театре, чем так перепугал старика, что тот, покряхтев да поохав, в конце концов сдался. Однако и вторая, и третья, и все последующие попытки Маркела войти, как требовал от него Лука, в свою роль, так ни к чему путному и не привели. Попрежнему при взгляде на письмоводителя, похожего на памятник, Маркел не мог удержаться от смеха и попрежнему не в силах был связать и двух слов. Кончилось же все это тем, что старик махнул на Луку рукой и от дальнейших репетиций наотрез отказался.

— Ничего, станишник, — успокаивающе заявил Маркел разочарованному письмоводителю. — За меня ты не опасайся.

Мне бы только их императорское высочество благополучно доступить, а слова у меня в душе для государя найдутся...

XLIX

Маркел был уверен, что слова у него при встрече с царем действительно найдутся, и потому он даже не стал заучивать наизусть присланной с денщиком есаульской шпаргалки, пренебрежительно сунув ее в кисет и тотчас же забыв о ее существовании. В эти самые последние дни перед встречей с царем старик вдруг проникся непоколебимым внутренним убеждением в том, что государь пожелает милостиво выслушать все его просьбы, жалобы и обиды. А обид и жалоб было столько на сердце, что никаким их пером не опишешь. «Нету, лучше уж я своими словами их высочеству все скрозь доложу»... — решил про себя Маркел. Он не знал, что это будут за слова и будет ли речь его перед лицом царя соответствовать дворцовому артикулу. Однако это обстоятельство ничуть не тревожило старика, ибо он был уверен, что как бы там ни было, а расскажет императору все, что можно и должно.

В ночь перед парадом Маркел не смыкал глаз. Он еще с вечера снарядился в новую войсковую форму линейного сибирского казачества, которой снабдили их с Лукой для такого случая земляки. Форма пришлась старику по фигуре, по корпусу, впору, и выглядел он в ней бравым, подтянутым, на много помолодевшим и даже привлекательным. Впрочем, привлекательным делала Маркела не столь новая форма, сколь огромная пышная баранья папаха, какую носили только сибирские казаки. На траурном черном фоне папахи отчетливо выделялась серебристая, овальной формы, кокарда. Чуть повыше кокарды голубел флажкообразный знак отличия с надписью: «За штурм Андижана!» Сапоги на Маркеле были тоже новые, хромовые, парадные, и приятный мягкий скрип их радовал старика как ребенка. Новая, ладно сидевшая на стариковских плечах форма, и эти дорогие, также взятые у одного из служивых земляков на прокат хромовые сапоги, — все это, как казалось Маркелу, даже как-то несколько возвышало, облагораживало его. И вообще возбужден был Маркел в эту памятную ночь необычайно. Он буквально не находил себе места. Наконец, промыкавшись с грехом пополам до рассвета, он разбудил Луку и, несмотря на ранний час, приказал ему одеваться. Затем, украдкой помолившись в укромном уголке казармы на древний походный свой образок, старик, таясь от чужого ока, отведал кусочек черствой, как камень, просфоры, освященной еще перед выездом в Петроград при напутст-

венном молебствии в станице, и, завершив трапезу, предложил Луке отправиться к месту парада.

Несмотря на то, что до начала парада оставалась еще добрая четверть суток, станичники, по совету земляков, поспешили отбыть на Марсово поле пораньше. Явились бы они туда действительно рано, если бы не дернула опять нечистая сила Маркела довериться на сей раз Луке. Вся беда была в том, что Маркел слабо ориентировался в этом огромном, грохочущем городе. Лука же держал себя так, словно ему известен был тут каждый закоулок, и стороннему человеку можно было принять письмоводителя за коренного петроградца. Вот из-за этой-то хвастливой осведомленности Луки и едва не погубил Маркел в последнюю минуту всего дела. Во-первых, Лука без конца путал номера трамваев и садился почему-то всегда уже на ходу, увлекая за собой потного и растерянного Маркела все время не в те вагоны, в какие следовало. Во-вторых, угадав, наконец, в нужный номер, они дважды уезжали за несколько верст в сторону, противоположную той, куда надо было ехать. В-третьих, затесались в моторный вагон с передней площадки, за что были оштрафованы по целковому и высажены на первой же остановке. В-четвертых, также подвергались штрафу и при высадке за то, что проехали лишних полстанции, сообразно имевшихся у них на руках трамвайных билетов. О том, что пережил несчастный Маркел, за эти часы, — говорить уже не приходилось. Скажем только, что в сознании его созрела и укрепилась одна мысль: «Ну, Лука, — думал он, с нескрываемой ненавистью глядя на своего спутника, — ежли, не приведи бог, опоздаем мы к параду, — убью я тебя, сукина сына. Приму такой грех на свою душу...»

Опоздать, правда, они не опоздали, но вместо утра прибыли к месту назначения уже в двенадцатом часу пополудни.

L

Все трибуны, сооруженные позади царской ложи и протянувшиеся вдоль всего огромного поля, на котором должен был состояться парад, были уже битком набиты людьми. Маркел никогда еще в жизни не видывал такого несметного людского скопления и никогда не подозревал, что от одного говора этой многотысячной толпы может стоять в воздухе такой гул, точно это была не людская речь, а грохот того самого водопада, к которому однажды прислушивался Маркел, некогда стоя в ночном дозоре в далеких андижанских горах. Никогда прежде не видывал Маркел и такого огромного количества роскошных карет, экипажей и разномастных ав-

томобилей, запрудивших всю прилегающую к трибунам площадь. И уж одного этого, столь непривычного для Маркела зрелища вполне было достаточно для того, чтобы от всех былых стариковских треволнений не осталось и следа. Водопадоподобный гул заполнившей ярусные трибуны щегольски разнаряженной толпы, пронзительно злое ржание заложенных в экипажи или танцующих под английскими седлами рослых и наглых рысаков, — все это так возбуждало старика, что он уже не чуял под ногами сырой земли, и с развернутым в руках пропуском шагал как хмельной сквозь бесконечные шпалеры полицейских.

Но прежде чем добраться до своего места, Маркелу с Лукой нужно было пройти напоследок немало еще испытаний. Им пришлось преодолеть еще несколько контрольных постов придворной полиции. Очевидно, облик этих двух казаков, обладавших венелевыми с двуглавыми орлами пропусками, не внушал особого доверия дворцовым жандармам. Вот отчего так мотали Маркела с Лукой, препровождая их под конвоем двух рослых жандармов, точно арестантов, от одного начальника к другому, до тех пор, пока не попали они, наконец, к одному из помощников обер-церемониймейстера барона Корфа, к камергеру двора, гофмейстеру Лерхе. Последний, тщательно ознакомившись с документами казаков и убедившись в неоспоримой подлинности имевшихся у них на руках пропусков за личной подписью Корфа, хотя и покосился потом на станичников с опаской, однако допустить их на места, указанные в пропусках, разрешил.

А места у Маркела с Лукой оказались и в самом деле знаменитые. Жандармы, любезно препровождавшие станичников, поставили их по левую сторону царской ложи, как раз позади той линейки, на которой несли караул, расставленные на саженной дистанции друг от друга знакомые лейб-гвардейцы. Маркелу же совсем повезло: он оказался в затылке у Макара Таранова и на таком расстоянии, что мог даже чуть слышно шепнуть ему о благополучном своем прибытии—благо, поблизости никого не было! — на что Макар, не оборачиваясь к Маркелу, так же полушопотом ответил:

— Ну смотри, станишник!.. Теперь не зевать... Начинается высочайший объезд войск...

— Слушаюсь... — попрежнему, едва слышно, прошептал Маркел и, не сводя глаз, почти не дыша и не мигая, стал смотреть в глубину раскинувшегося перед его взором Марсова поля.

День выдался на этот раз по-летнему прозрачный, солнечный, жаркий. И Маркел, устремившись всем своим существом в глубь поля, видел, что там, неистово сверкая на солнце гренадерскими касками, оружием гвардейских драгун и обна-

женными палашами кавалергардов, замерли уже выстроенные для встречи с царем войска. Измайловцы, семеновцы, преображенцы, павловцы одетые в форму присущего этим пехотным соединениям цвета, в красноватые, зеленые, голубые, оранжевые мундиры, — представлялись издали радугой тончайших красочных оттенков. Фронт кавалерии, вытянувшийся почти во всю длину Марсова поля, тоже поражал резким росчерком ярких, красочных линий: голубой, золотистой, оранжевой, траурной. Здесь уже не только форма всадников, но и масти их лошадей были подобраны по полкам, по сотням, по эскадронам белых от наплечных ментиков царскосельских гусар, голубых атаманцев, синих улан, мрачных гренадеров, алых драгун и серебристых кавалергардов.

Заглядевшись на сияющие гренадерские каски с гардами из вороных конских хвостов, на пронзительные бамбуковые пики улан с цветными флюгерами на копьях, Маркел прозевал момент появления на поле императора. Пока он, разинув рот, глазел на мрачное головное убранство гренадерских воинов, в эту минуту откуда-то со стороны Летнего сада царь выехал на великолепном белом, как кипень, арабе и, галопируя, направился к войску. Сопровождал императора только один трубач из собственного конвоя, следовавший несколько поодаль от царя на сером, в яблочных накрапах, ахал-текинце.

Тогда пораженный необычайной тишиной, мгновенно нависшей над бушевавшими доселе трибунами, Маркел, растерянно озираясь вокруг, долго не мог сообразить, что же в конце концов произошло, что вдруг случилось, хотя и чувствовал, что случилось нечто необычайное. И только в то мгновение, когда от оглушительного рева войск, хором грянувших ответное «здравие желаем» на царское приветствие и когда от этого мощного гула натренированных гвардейских глоток, казалось, дрогнула под ногами земля и тонко зазвенело прозрачное мартовское небо, — только в эту минуту, точно очнувшись от короткого забытия, увидел, наконец, Маркел уже завершавшего торжественный объезд войск императора.

А затем все дальнейшее прошло перед глазами Маркела, как в тумане. Он, правда, видел, как, завершив объезд войск, царь остановился против своей ложи, и трубач его в алом чекмене, бравый, гвардейского роста казак, снова встал на своем ахал-текинце несколько поодаль от императора.

Маркел зачем-то слегка привстал на цыпочки и напряг зрение. Теперь-то уж самодержца можно было рассмотреть вплотную. Но вот, как на грех, хор кавалергардских трубачей, выстроившихся вблизи царской ложи, заслонил собой от взоров Луки и Маркела всадника на белом арабе, и до окончания церемониального прохождения войск мимо царской трибуны царя станичники уже не могли увидеть. Зато им отлично

было видно, как командующий парадом, некий седовласый генерал с окладистой бородой и природной казачьей ухваткой, высоко занес над головой стремительно обнаженную кривую саблю и, мгновение помедлив, так же стремительно опустил ее к стремени. То был немой сигнал насторожившимся в ожидании команды войскам о начале церемониального марша.

Еще мгновение — и головная кавалькада лейб-казачьих чубатых всадников с пиками, увлекая за собой всю массу, тотчас же перестроившегося в колонны войска, двинулась за своим, лихо приосанившимся в седле командиром, мимо окаменевшего на коне, неподвижного, как памятник, императора.

Еще миг — и серебряные трубы кавалергардов, взметнувшись над головами трубачей светлокрылой лебяжьей стаей, грянули традиционный кавалергардский марш.

Тревожный клич сигнальных труб, ослепительный блеск обнаженных палашей и сабель, гулкий топот конских копыт, приглушенный звон стремян, мягкий скрип седельных подушек и легкая пыль, заволакивающая следы конницы, — все это так захватило Маркела, что он, невольно залюбовавшись на столь красочное зрелище, забыл, где находится, как и зачем сюда попал. Так степная вольная казачья кровь, мирно дремавшая до сего в стариковских жилах, вдруг глухо и властно забушевала в нем, а при трубных звуках кавалергардов она затмила на мгновение и сознание, и память, и разум старика...

Но вот смолкнул хор трубачей.

По полю, замыкая последние колонны промаршировавших мимо окаменевшего на арабе императора конных и пеших войск, щегольски продефилировала блестящая гусарская кавалькада. Снова вспыхнул над трибунами возбужденный глухой нарастающий гул. А Маркел все еще не в силах был оторвать своих тревожно блестевших глаз от стянутой в глубь Марсова поля и перестраивающейся там в резервные колонны конницы. Заглядевшись на лихую гвардейскую кавалерию, старик продолжал стоять, не двигаясь, не мигая, как заколдованный, и совершенно забыл в эту минуту о своей реляции, и о долге, и о царе.

А между тем момент для представления императору был самый подходящий. Спешившись со своего араба и окруженный свитой из высокопоставленных князей и генералов, царь направился к ложе. Однако у самого входа в ложу произошла какая-то заминка, и император был вынужден остановиться как раз саженях в пяти от сибирских посланцев. Случилось так, что не совсем обычные для весеннего парада головные уборы этих двух казаков привлекли внимание рассеянно озиравшегося царя, и он пристально присмотрелся к ним.

— Не зевать! Не зевать!.. — чуть слышно, но властно прошипел в струнку вытянувшийся на карауле Макар Тараннов, стоявшему позади его Маркелу.

И Маркел, встрепенувшись при этих словах гвардейца и невольно бросив испуганный взгляд в сторону царской ложи, обмер. Царь стоял теперь почти рядом и, как показалось вконец ошарашенному Маркелу, даже как будто очень внимательно смотрел на него. «Как он, однако, не схож со своими портретами!...» — промелькнула в сознании Маркела возникшая при первом же взгляде на царя трезвая, молниеподобная мысль. Слишком уж обыденным, скучным, лишенным привычной портретной прелести, показалось Маркелу это окантованное окладистой каштановой бородкой и несколько заостренное, с землистым оттенком, императорское лицо. Это было странно, но больше всего поразило и испугало Маркела удивительное сходство царской фигуры с одним, хорошо запомнившимся Маркелу еще по полковой службе, вахмистром Гроболевым, выбившим однажды Маркелу на уроке словесности коренной зуб... Нет, ни ростом, ни выправкой, ни осанкой,— ничем, словом, не прельстил самодержец всея России Маркела Шебанова, не без страха и трепета глазевшего на царя в упор. И только тускловатый блеск неподвижных, иконописных, византийских глаз императора внушал нечто похожее на невольный, порабощающий ужас...

Таково было первое впечатление Маркела Шебанова от живого императора. Возникло оно в какую-то долю той секунды, которую стоял ошеломленный Маркел, храбро глазея на царя. Однако впечатление это было настолько острым и порабощающим, что Маркел уже, вопреки своей воле, не в силах был избавиться от него. «Отстрани, господи, сии грешные мысли!...» — мысленно взмолился было старик. Однако тут уже было не до молитв и не до раскаяния. Нельзя было терять времени. Надо было действовать. И Маркел, движимый в эту минуту скорее чутьем, чем сознанием, машинально дернул за рукав стоявшего бок о бок с ним тоже не живого и не мертвого Луку. Затем, сам изумляясь своей решимости, четким, маршевым шагом направился в сторону императора и окружающей его свиты.

Все это произошло, видимо, так неожиданно для царя и так быстро, что ни сам он, явно трухнувший монарх, — ведь это могли быть и замаскировавшиеся в казачью форму террористы! — ни один из членов блестящей императорской свиты, — никто из них не успел даже обмолвиться и полусловом. И не успел перепуганный император, как говорится, опомниться, как двое пожилых казаков в огромных черных папахах выстроились уже перед ним на саженной дистанции.. Взяв под козырек и вытянувшись во фронт, казаки так смотрели

на императора, что у него хоть и отлегло на сердце, но все же, не выдержав прямого их взгляда, царь смиренно прикрыл слегка припухшие сиреневатые веки и потупился.

И опять эта немая, немало изумившая всех и не на шутку напугавшая многих сцена длилась, может быть, только одну секунду или даже какую-то долю ее. Однако напряжение и среди императорской свиты, и в царской ложе, и на ближайших к ложе, разом притихших трибунах было необычайное. Все, затаив дыхание, ждали чего-то необыкновенного, нервничая и гадая о том, что же произойдет...

Наконец, набравшись духу и попрежнему глядя на императора не мигая, в упор, Маркел очень ясно и очень отчетливо произнес:

— Ваша императорское величество!

Затем он выдержал паузу, прислушался к страшной, тонко звенящей вокруг него тишине и, не переводя дыхания, продолжал:

— ...мы есть казаки первого военного отдела Сибирского подшефного августейшему нашему атаману, великому князю, цесаревичу Алексей Николаевичу, линейного казачьего войска. Прибыли в столицу Российской империи по приговору линейных станиц для подачи всеподданнейшего народного прошения на высочайшее имя вашего императорского величества. Престарелые отцы и матери русских воинов, проливающих на поле брани горячую свою кровь, бьют челом перед вашим императорским высочеством и приносят к стопам вашим жалобу свою на наказного атамана сибирских казачьих линейных войск, наместника степного края, акмолинского генерал-губернатора Шмидта... А по сему дерзаем просить высочайшего дозволения принять от нас в державные руки вашего императорского высочества сию всеподданнейшую гербовую бумагу, на коей изложены все верноподданнические чувства, обиды и просьбы наши войсковым письмоводителем, согласно положенного артикула... — заключил, наконец, вспотевший от напряжения Маркел. И, не дожидаясь ответных слов потупившегося императора, он решительно выступил вперед и молча протянул слегка отпрянувшему назад царю перетянутую крест-накрест махровым шнуром и скрепленную станичной сургучной печатью реляцию.

Тишина.

И снова — минутное замешательство.

Никак, видимо, не ожидая такой прыти от храбро прорапортовавшего казака, царь на мгновение заколебался, не зная, брать ли ему от казака протянутую бумагу или не брать. И некое подобие очень смутной, несколько растерянной и жалковатой улыбки неясно озарило смуглое императорское лицо. Царь вопросительно посмотрел на стоявшего по правую руку

министра двора, барона Фредерикса, одного из ближайших своих советников в подобных, столь затруднительных делах...

— Рекомендую принять, ваше величество... — как и всегда в таких случаях, без слов поняв императора, вполголоса сказал ему барон.

И император с какой-то неестественной поспешностью молча принял протянутую к нему Маркелом бумагу. Затем нервно потеребливая тупыми пальцами острые кромки александрийского листа, царь поднял на казака тускло поблескивающие византийские свои глаза и совершенно неожиданно для Маркела таким же тусклым и глуховатым голосом спросил его:

— А скажи, сибиряк, что это у тебя за знак над кокардой?

«Пытат меня али в самом деле уж не ведат?» — с тревогой подумал Маркел и бойко ответил:

— Сей знак, ваша императорское величество, дарован нашим отцам ишо покойным родителем вашим, в бозе почившем, императором Александром III в одна тыща восемьсот семьдесят пятом году при покорении Хивинского царства, за штурм бусурманского города Андижана. А за взятие приступом крепости Хаки-Хават наш I Сибирский казачий полк, в коем сражались храбрые наши родители, кроме сего знака получил в награду от усопшего императора четыре серебряных сигнальных трубы с дарственной надписью золотыми буквами: «За доблестное прославление русского оружия и за храбрость при взятии Хаки-Хавата». Нам же сие перешло от предков по наследству...

— Храбрые были у вас предки. Похвально, — все тем же глуховатым и тусклым голосом сказал царь.

— Так точно, ваша императорское величество. Весь Туркестан покорили. Смирили ханов Коканда и Хивы. Но и мы не уступим... — с гордостью заявил Маркел.

— Отрадно слышать от простолюдина столь верноподданнические речи, — тихо проговорил император. Потом, пристально присмотревшись к окаменело-бесстрастному лицу казака, спросил: «А не ответишь ли ты мне, лихой сибиряк, на такой вопрос: я тебя раньше нигде не мог видеть?

— Так точно. Вполне даже могли, ваша императорское величество!

— Где же? — несколько оживившись, спросил царь.

— В станице Пресновской, Петропавловского уезда, Акмолинского степного генерал-губернаторства, ваша императорское величество.

— Это когда же?

— В одна тыща восемьсот девяносто первом году, когда ваша императорское высочество, будучи ишо наследником престола, проезжали по нашей Горькой Линии из иноземной

страны Японии в город Петербург. Кроме того, ваше величество ишо имели в ту пору некоторое ранение в голове... Только осмелюсь удивиться, как удержался я в высочайшей памяти вашего величества, — признался и в самом деле ошарашенный словами царя Маркел.

— На лица-то у меня память хорошая, — неясно улыбаясь, как-то про себя сказал царь.

— В таком разе дозвольте ишо напомнить вашему императорскому величеству, — подогретый разговором царя, смело продолжал Маркел, — што в бытность вашу в станице Пресновской я возле царской юрты караул нес. Как сей секунд все скрозь чисто помню. Стою я с шашкой наголо возле юрты. А ваше императорское величество в белом кителе в той самой юрте на кыргыцкой кошме сидит... Затем кликнули вы меня высочайшим голосом до себя и спросили, указуя на зелену саранчу, што прыгала по кибитке: «Это, казак, што из себя будет такое?» Я вам отрапортовал, што это, мол, саранча, или, как говорится, кобылка, ваша императорское величество. За сим, согласно высочайшей воли вашей, я изловчился и кобылку эту поймал. А ваша высочество полюбопытствовали на нее со стороны и соизволили приказать: «Слушай, казак! Сейчас в соседней белой юрте обедает вся моя личная свита. Айда туды и брось эту тварь в блюдо моего телохранителя, генерала от инфантерии Немерцалова»... Сия высочайшая воля вашего величества неукоснительно приведена была тогда мной в должное исполнение. Я явился в юрту, где действительно обедала вся личная свита вашего императорского величества, и бросил означенную кобылку в перловый суп, который хлебали серебряной ложкой генерал от инфантерии Немерцалов. Правда, в первый секунд их высокопревосходительство хотели было предать меня за эту тварь военно-полевому суду. А когда они узнали, што на то была высочайшая воля вашего императорского величества, то, громко захохотавши на всю белую юрту, не только сей суп с кобылкой на здоровье докушали, а ишо к тому же и добавошну порцию попросили.

Маркел хотел было напомнить императору еще и про золотой пятирублевик, полученный тогда же из рук престолонаследника в награду за храбро исполненное высочайшее приказание, но, заикнувшись об этом золотом, смущенно умолк.

В этот момент рослый барон Фредерикс, заслонив от Маркела собой императора, заговорил с ним о предстоящих скачках. И царь, видимо, тут же позабыв о казачьем своем собеседнике, поднялся, окруженный плотным кольцом дворцовой свиты, в ложу, где больше уже Маркелу императора было не видно.

Вернувшись на свои прежние места, Маркел с Лукой приготовились было понаблюдать за скачками. Вытянувшись во

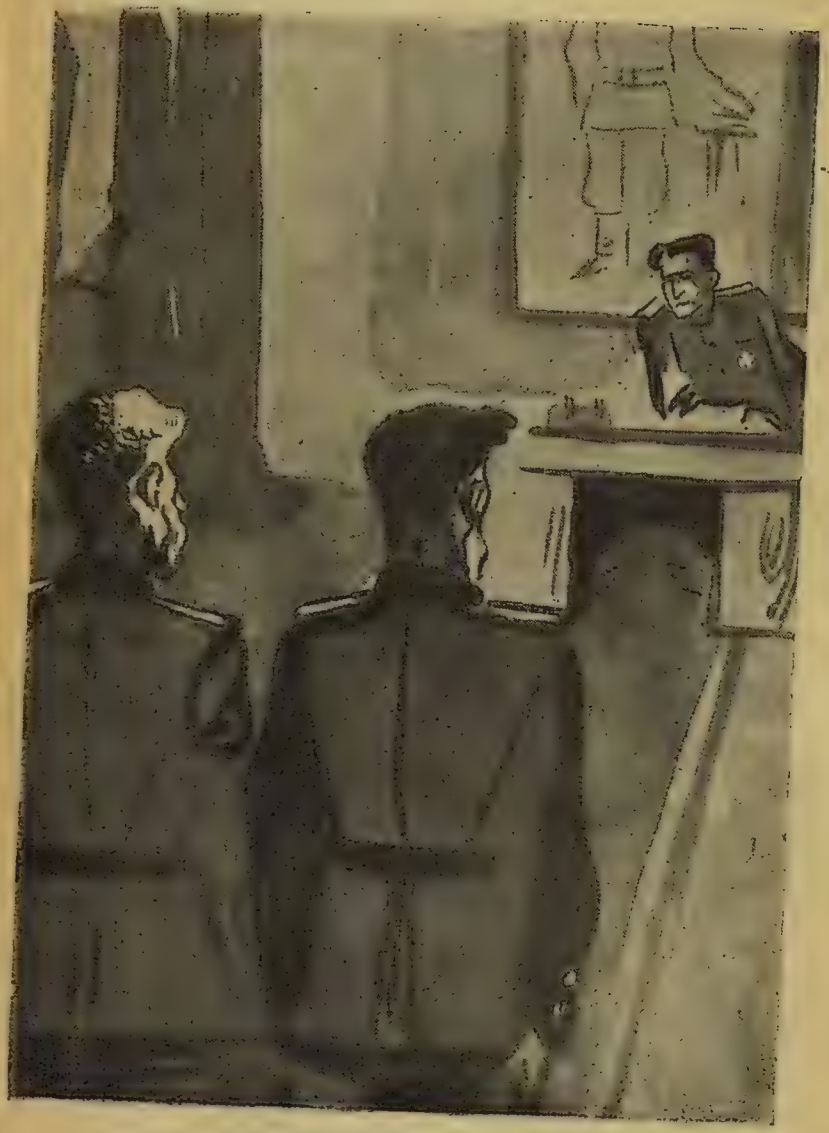
весь рост, Маркел стал с преувеличенным вниманием смотреть на пока пустынное поле, усеянное уже различными скаковыми препятствиями, успевшими за это время возникнуть на нем. Хоть и внимательно присматривался к этому полю Маркел, но он в сущности уже ничего не видел, да и любопытства-то, по правде сказать, никакого уж не испытывал. В голове у него стоял сплошной туман. Сказывалось, очевидно, только что пережитое огромное душевное напряжение, вызванное этой необычайной встречей и разговором с царем. Но когда этот туман, застливший сердце и разум, начал мало-помалу рассеиваться, то Маркел вдруг понял, что он ничего не сказал путного, кажется, императору о том, что следовало бы сказать и о чем передумал он, старик, столько в предшествующие этой встрече долгие бессонные ночи... Однако мысль о том, что реляция была-таки вручена лично в руки царя и что император как-никак изволил заговорить с ним, Маркелом Шебановым, пусть о чем-то, правда, побочном, не имеющем прямого отношения к делу, — эта мысль несколько успокаивала взволнованного до тоски старика и приносила ему некоторое удовлетворение. «Ну, ничего. Главное сделано. Долг перед народом мы выполнили. А государь, бог милует, наших просьб без последствия не оставит...» — думал Маркел, всячески стараясь убедить себя в том, что цели они с Лукой своей поездкой достигли...

Удар гонга, извещавший о начале скачек, рассеял тревожные мысли Маркела, и он снова сосредоточил было внимание на показавшихся вдали, как и всегда, не в меру волновавших его всадников. А при виде лихо прогалопировавшего в глуби поля необычайно стремительного коня, Маркел вновь забыл и о только что пережитых потрясениях, и своем не совсем, на его взгляд, удачном разговоре с императором. Вот он весь ушел во внимание и хотел было уж, как все прочие зрители, шумно захлопать в ладоши легко взявшему первое препятствие лейб-казаку, как вдруг в это самое мгновение ощутил он на своем плече чью-то тяжелую, жесткую руку. Дрогнув от этого прикосновения, Маркел обернулся и увидел стоявшего позади себя казачьего офицера с необыкновенно хищным птичьим лицом. Встретившись с недоуменным и тревожным взглядом Маркела, офицер очень учтиво, но в то же самое время подчеркнуто требовательно вполголоса сказал ему:

— Потрудитесь-ка на минутку со своим спутником последовать за мной.

— Куды ж это, ваша высокоблагородье? — простодушно, но и не без тревоги спросил его так же вполголоса Маркел.

Но офицер ничего не ответил на это и так неприязненно и властно скосил на него зеленоватые свои птичьи глаза, что



Маркел, бессознательно повинуясь воле его, молча кивнул оторопевшему Луке, и оба покорно последовали за офицером.

А минут пять спустя спутники введены были в просторную, голубую от дорогих обоев и сигарного дыма комнату. И не успели Маркел с Лукой перешагнуть порога, как сопровождавший их офицер, шумно захлопнув вслед за ними массивную дверь, скрылся.

Тогда растерянно оглядевшись по сторонам, спутники заметили стоявшего в глуби комнаты за легким ломберным столиком сияющего от седин генерала. В ослепительно белом кителе, с серебряными, в змейку, погонами на квадратных плечах, он показался Маркелу с Лукой громадной посеребренной глыбой: так он был широк в кости, грузен в корпусе и неподвижен. Но взглянув на холеное, одутловатое лицо, на тяжелые, полузакрытые, как у императора, генеральские веки и на этот орлиный, наполеоновский нос, Маркел, признав этого, воистину страшного сейчас в своей неподвижности, излучавшего какой-то мертвый блеск, человека, даже отшатнулся от него, как от ужаснувшего его привидения.

Побледнев, узнал генерала и Лука.

Перед ними был наказной атаман сибирского линейного казачьего войска — Евгений Шмидт...

— Прошу, господа, поближе... — тихо проговорил генерал, не шевелясь и не подымая опущенных век.

И в страшной этой глубокой тишине Маркел с Лукой молча приблизились к неподвижному генералу. Остановившись в двух шагах от него, казаки вытянулись во фронт и только тут, похолодевший от ужаса, Маркел заметил, что на маленьком, искусно позолоченном столике, лежала перед наместником края их только что врученная в императорские руки, испещренная корявыми подписями станичников реляция. А звучно посасывающий дорогую гаванскую сигару наместник бегло перечитывал ее, роняя на развернутый александрийский лист всеподданнейшего прошения хлопья голубоватого сигарного пепла.

В комнате стояла гнетущая тишина. Слышен был только приглушенный и мерный стук часового маятника да, как показалось в эту минуту Маркелу, явно ощутимые удары собственного его, отягощенного тоской и болью, и гневом сердца.

Наконец, видимо, покончив с беглым, пренебрежительным чтением реляции, наместник поднял на выстроившихся перед ним казаков холодноватые свои, точно свинцовые глаза и, немного помедлив, все тем же тоном притворного спокойствия спросил:

— Ну-с, господа челобитники! Так на кого это вы их императорскому величеству жаловаться-то приезжали?

У Маркела пересохло в горле. Но он, сделав усилие, твердо ответил:

— На вас, ваша высокопревосходительство.

— Да? — с плохо скрываемой ехидцей спросил, склонив на бок голову, генерал.

— Так точно... — уже с трудом выговорил Маркел.

— Так. Та-ак... — задумчиво проговорил генерал. И, покусывая короткий серебряный свой ус, он взял со стола реляцию Затем, не спуская глаз с еще больше побледневшего Маркела, он, вчетверо свернув до боли знакомый казакам александрийский лист, не спеша, с удивительным садистским спокойствием стал рвать его на мелкие части.

У Маркела запеклись губы. С трудом сдерживая себя от обуявшего его бешенства, он прикусил язык и полузакрыл глаза. Он уже не видел, а слышал только теперь или вернее, может быть, только чувствовал, как трещала в губернаторских пухлых пальцах разрываемая на мелкие клочки бумага.

Покончив с разорванным в клочья прошением, Шмидт, скомкав клочки в кулак, брезгливо швырнул их наотмашь в стоявшую в углу оцинкованную урну, а потом сказал:

— Ну-с, вот, господа станичники, круг замкнут. Больше вам на меня жаловаться итти теперь некуда. Все... А теперь, пока вы свободны, не позднее завтрашнего утра, приказываю вам покинуть столицу. Об остальном же будем разговаривать с вами, милостивые государи, дома.

Затем на резкий звонок наместника вошел уже знакомый спутникам офицер, и Шмидт, кивнув в сторону казаков, распорядился:

— Уберите этих мерзавцев.

Конец первой части.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Ответ. редактор *М. И. Ритман*.
Тех. редактор *С. Ищанов*.
Художник *А. Заковряшин*.
Корректор *М. Дулэпо*.

Сдано в набор 6/VIII 1940 г. Подписано к печати 5/X 1940 г.
Объем $14^{3}/_{4}$ п. л. 13,52 авт. листа.
Знаков в 1 печ.л. 39.000. Формат бумаги $60 \times 92^{1}/_{16}$. КИХЛ № 12.
УГ 3083
Тираж 10.120 экз.

Отпечатано в Книжно-журн. тип. Казполиграфтреста, г. Алма-Ата, Узбекская, 11.
Заказ № 1729.